

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

Выпуск 5

Политика и политическое



Москва

Центр стратегической конъюнктуры

2014

УДК 1:32:34
ББК 87:66:67
Ф56

Печатается по решению Ученого совета
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

РЕЦЕНЗЕНТЫ

доктор философских наук *М.А. Маслин*, доктор политических наук *Г.А. Дробот*

Ф56 Философия политики и права: Ежегодник научных работ.
Вып. 5. Политика и политическое / Под общ. ред. проф. Е.Н. Мошелкова и проф. О.Ю. Бойцовой; научные редакторы А.В. Никандров и К.И. Кийченко / МГУ имени М.В. Ломоносова. Философский факультет.
— М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. — 280 с.

ISBN 978–5–906233–93–6

Пятый выпуск ежегодника научных работ «Философия политики и права» посвящен осмыслению актуальных проблем современного политико-философского знания. В представленных статьях затрагивается широкий круг тем, связанных с концептуальным осмыслением категорий «политика» и «политическое», рассматриваются как общетеоретические вопросы, так и их актуализация в различных сферах современной общественной жизни. Значительное внимание уделяется анализу творческого наследия К. Шмитта и И. Ильина. В ежегоднике представлены статьи сотрудников философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и других учебных и научных центров России.

Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для всех интересующихся проблемами философии политики и права.

© Коллектив авторов, 2014

ISBN 978–5–906233–93–6

© Воробьев А.В. & ЦСК, оформление, 2014

Научное издание

Подписано в печать 08.08.2014. Формат 60x88/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 17,5. Уч.-изд. л. 19,7. Тираж 500 экз. Заказ № 106.

Оригинал-макет и обложка подготовлены *А.В. Воробьевым*, корректор *Е.В. Феоктистова*

Центр стратегической конъюнктуры 8(495) 772–03–76

centerconjunction@gmail.com 141202, МО, г. Пушкино, ул. Набережная, д. 35, корп. 6.

Типография ООО «Телер». 125299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12.

Лицензия на типографскую деятельность ПД № 0059

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
РАЗДЕЛ I. «Политика» и «политическое»: Проблема концептуализации	
МОЩЕЛКОВ Е.Н. Историческая эволюция философско- политического знания: от политики к политическому	7
МЮРБЕРГ И.И. Влияние «междисциплинарного тренда» в социальных науках конца XX века на становление современного понятия «политического»	21
МЧЕДЛОВА М.М. Новая гносеология для новой онтологии: изменения концептуальных моделей политического	34
БОЙЦОВА О.Ю. Политика как менеджмент. Проекты научного управления обществом в западной политической мысли начала XX века	51
НИКАНДРОВ А.В. Борьба идей в политической истории второй половины XX века: концепция конца идеологии и ее роль в идейно-политическом противостоянии коммунизма и атлантизма в эпоху холодной войны	65
ГОБОЗОВ И.А. Карл Поппер и «тоталитаризм»	89
СЫТИН А.Г. Смысл политики по Карлу Шмитту и по Ивану Ильину: опыт сравнительного анализа	96
АЛАСАНИЯ К.Ю. Понятие политического во французской философии эпохи постмодерна	107
БЕЛОЗЁРОВ В.К. Война и идеи Клаузевица в концепции политического Карла Шмитта	124
ФИЛИПЕНКО Е.В. Политическое время: основные характеристики	133

РАЗДЕЛ II. «Политика» и «политическое»
в современном мире

РАСТОРГУЕВ В.Н. Политическое действие и ответственность	142
СМОРГУНОВ Л.В. Политическое в сетевом обществе: поиск нетотализируемого порядка	153
МУХАРЯМОВ Н.М. О влиянии тенденций глобализации на прагматический строй языка политики.....	165
УСМАНОВ Р.Х. Глобализация и этнополитический процесс в современной России	184
ШАМШУРИН В.И. Политика и образование (на примере России)	194
АФНАСЬЕВ В.В. Государство как социальный институт	218
КИЙЧЕНКО К.И. Социокультурный анализ в политической науке: ценностные и методологические ориентиры	240
ВАСЛАВСКИЙ Я.И. Сравнительный анализ подходов к концепту конституции со стороны политологии и юридической науки.....	247
ЯКОВЛЕВ М.В. Демократизация как политический процесс: новые идеи и направления исследований	263
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.....	279

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятый выпуск ежегодника научных работ «Философия политики и права» посвящен анализу взаимодействия двух базовых категорий философско-политического знания — «политика» и «политическое». В статьях ежегодника рассматриваются проблемы концептуализации данной парной пары, показывается многозначность и многослойность мира политического, значимость философского анализа для адекватного понимания политических процессов и явлений. В ежегоднике рассматривается актуализация политики и политического в пространстве современной общественной жизни.

В первом разделе «**“Политика” и “политическое”**: **проблема концептуализации**» анализируются исторические и современные подходы к определению понятий «политика» и «политическое» в философско-политическом знании, а также рассматриваются важнейшие аспекты их содержательного наполнения.

В открывающей раздел статье *Е.Н. Моцелкова* «Историческая эволюция философско-политического знания: от политики к политическому» дается характеристика основных этапов становления важнейших научных дисциплин, изучающих политику, — философии права, истории философии права, политической философии и философии политики, политологии и философии политики и права, а также показывается их преемственность и перспектива развития в направлении формирования интегративных научных теорий, синтезирующих эвристических и методологических достижений и возможностей гуманитарных наук.

В статьях: *М.М. Мchedловой* «Новая гносеология для новой онтологии: изменения концептуальных моделей политического» и *Аласания К.Ю.* «Понятие политического во французской философии эпохи постмодернизма» анализируются инструменты познания политического в ситуации смены парадигм и ставится проблема изменения принципов научного осмысления политики в связи с «уходом универсальности» из теории и признанием плюральных оснований современного мира.

Анализу одного из ведущих направлений в концептуализации политического посвящена статья *О.Ю. Бойцовой* «Политика как менеджмент. Проекты научного управления обществом в западной политической мысли начала XX века», где рассматривается научная традиция, принципы и концептуальные основы трактовки политики как социального менеджмента и перевода политического действия в плоскость административного решения.

Значительное влияние на становление современного дискурса политического оказала концепция К. Шмитта: солидаризация с его позицией или оппонирование ей во многом определили пути концептуализации понятий «политика» и «политическое» в философии XX века. Данные процессы на-

шли отражение в статьях *И.И. Мюрберг* «Влияние “междисциплинарного тренда” в социальных науках конца XX века на становление современного понятия “политического”», *А.Г. Сытина* «Смысл политики по Карлу Шмитту и по Ивану Ильину: опыт сравнительного анализа» и *В.К. Белозёрова* «Война и идеи Клаузевица в концепции политического Карла Шмитта».

Проблема соотношения политики и идеологии, места и роли идеологических построений и оценок как при концептуализации политического, так и при оценке политических реалий ставится в статьях *И.А. Гобозова* «Карл Поппер и “тоталитаризм”» и *А.В. Никандрова* «Борьба идей в политической истории второй половины XX века: концепция конца идеологии и ее роль в идейно-политическом противостоянии коммунизма и атлантизма в эпоху холодной войны».

Завершает раздел рассмотрение философских подходов к описанию темпорального измерения политики в статье *Е.В. Филипенко* «Политическое время: основные характеристики».

Во втором разделе **«Политика и политическое в современном мире»** представлены материалы, посвященные анализу граней политики в эпоху социальных трансформаций XX–XXI вв.

В.Н. Расторгуев в статье «Политическое действие и ответственность» прослеживает взаимосвязь политической мысли и политического действия, анализирует риски, предельно актуализированные в современном мире радикализмом, и поднимает вопрос о социальной ответственности политики и политологии как науки.

Проблемы принципиальных изменений политической реальности в условиях глобализирующегося мира рассмотрены в статьях *Л.В. Сморгунова* «Политическое в сетевом обществе: поиск нетотализируемого порядка», *Н.М. Мухарямова* «О влиянии тенденций глобализации на прагматический строй языка политики» и *Р.Х. Усманова* «Глобализация и этнополитический процесс в современной России».

Аксиологические основания политики находятся в центре внимания в статьях *В.И. Шамигурина* «Политика и образование (на примере России)» и *К.И. Кийченко* «Социокультурный анализ в политической науке: ценностные и методологические ориентиры».

Рассмотрению политики в аспекте формирования и функционирования институтов государства посвящены статьи *В.В. Афанасьева* «Государство как социальный институт», *Я.И. Ваславского* «Сравнительный анализ подходов к концепту конституции со стороны политологии и юридической науки» и *М.В. Яковлева* «Демократизация как политический процесс: новые идеи и направления исследований».

РАЗДЕЛ I

«Политика» и «политическое»: Проблема концептуализации

МОЩЕЛКОВ Е.Н.

Историческая эволюция философско-политического знания: от политики к политическому

В историческом развитии научного знания взаимодействуют два главных процесса — интеграции и дифференциации наук. Изначально (со времен Античности) научное знание имело интегрированный характер. В нем доминировали, прежде всего, **философия** как наиболее общее знание об основаниях, существенных, фундаментальных характеристиках и принципах объективной реальности (бытия), познания этого бытия человеком и бытия самого человека как мыслящего и одухотворенного существа. Другой доминантой этого интегрированного научного знания античной эпохи была **юриспруденция**, которая изучала (и применяла на практике) сущностные характеристики и функции государства, систему социальных и поведенческих норм. Существование этих относительно самостоятельных сфер научного знания было обусловлено объективными потребностями становящегося общества и развитием государственных систем, необходимостью их познания и управления.

Эти две сферы научного знания интегрировали в себе все остальные сферы, и именно из них (философии и юриспруденции) или на их стыке в эпоху Нового времени начинает формироваться весь спектр отдельных гуманитарных (и социальных) и естественных наук. Из интегрированного античного научного знания появляется в конечном итоге современная система дифференцированных наук. Наиболее наглядным образом данный процесс нашел свое отражение в становлении университетского образования как в Европе, так и в России.

В данной статье этот процесс показывается на примере формирования таких научных дисциплин, как **философия права**, **история философии**

права, политическая философия / философия политики, политология / политическая наука, философия политики и права.

Конституирование указанных научных дисциплин происходило по мере выделения отдельного, самостоятельного объект-предметного поля каждой из них. Историческая эволюция этого процесса имеет три этапа.

Первый этап (XVII–XVIII вв.) связан с выделением из фундаментального научного базиса философии и юриспруденции **философии права и истории философии права.**

На втором этапе (XIX в.) окончательно оформляются **политическая философия / философия политики и политология / политическая наука.**

И наконец, **на третьем, современном этапе** (XX–XXI вв.) формируется **философия политики и права.**

Дадим краткую характеристику каждой из этих дисциплин, включающую описание, определение их объект-предметных полей, их эволюцию в контексте исторической дифференциации наук.

На первом этапе в XVII–XVIII вв. формируется **философия права** — самостоятельная научная дисциплина, изучающая наиболее общие (философские) принципы и основания права и правовых отношений. Спор о том, отраслью или разделом какой из двух наук — философской или юридической — является философия права, идет уже очень давно (изначально эти позиции связываются с двумя классическими мыслителями — Гегелем и Г. Гроцием), но неразрешенным он остается и по сей день.

Сам термин «философия права» начал активно употребляться только в XVIII веке, но философско-правовые идеи и теории восходят уже к античным философам. В относительно самостоятельную систему знания философия права начинает оформляться в философских учениях Просвещения и немецких идеалистов (Кант, Гегель). Здесь она трактуется как естественное право. Следует отметить, что классическая работа Гегеля «Философия права» (1821) имеет следующее полное название — «Естественное право и наука о государстве в очерках. Основы философии права». В этом труде, кстати, Гегель однозначно трактует философию права как неотъемлемую часть философии. Начиная с конца XVII в. философия права (главным образом, как теория естественного права) на систематической основе преподаваться в европейских (прежде всего, в германских) университетах. Весомый вклад в развитие философии права внесла в Германии историческая школа права, представители которой (Гуго, Савиньи, Пухта) критиковали естественно-правовую доктрину.

Именно как естественное право философия права начинает преподаваться в основном немецкими профессорами во второй половине XVIII века в Московском университете. Сильная традиция трактовки философии права с естественно-правовых позиций сохраняется в России в XIX и в начале XX в. (В.С. Соловьёв, П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, Л.И. Петражицкий, Е.Н. Трубецкой, И.А. Ильин и др.). Представители данной традиции отстаивали системообразующий характер моральных и нравственных

основ в праве. Особую позицию занимал Б.Н. Чичерин, который, признавая естественное право ядром философии права, вместе с тем выступал против смешения права и нравственности. В конце XIX века заметную роль в России играли и государствоведы, которые выводили философию права за рамки морально-этических норм (юридический позитивизм) (Н.М. Коркунов, А.Ф. Шершеневич, А.Д. Градовский, Д.И. Кавелин и др.).

Следует отметить, что теория естественного права и юридический позитивизм являются двумя важнейшими и наиболее мощными тенденциями развития философии права в XIX–XX вв. не только в России, но и за рубежом.

Определяя объект-предметное поле философии права, многие современные исследователи находят выход из неразрешенного спора о философской или юридической природе философии права в указании на то, что с самого начала она действует на «стыке» философии и юриспруденции, является симбиозом этих наук. Достаточно общим является мнение и о том, что философия права нужно понимать как междисциплинарную отрасль научного знания, что, безусловно, справедливо применительно к исторической эволюции данной дисциплины, которая в XVIII–XIX вв. действительно интегрировала новейшие достижения философии, правоведения и политологии для объяснения сущности правовых явлений и процессов в условиях, когда гуманитарное знание еще, в сущности, не было дифференцировано и когда для многих гуманитарных наук такие понятия, как «право», политика», «государство», «власть», были общими категориальными универсалиями.

В XVIII–XIX вв. конструкции философии права и философско-правовые интерпретации социальной реальности были актуальны и достоверны для определенного времени и определенных исторических условий. По мере изменения этих условий на место одним приходили другие интерпретации. Поэтому достаточно влиятельным (во всяком случае, в России) было суждение о том, что не может существовать единой и универсальной философии права, а наиболее продуктивно (особенно в образовательных целях) изучать историю этих меняющихся представлений и интерпретаций о праве, государстве, власти, т.е. изучать историю философии права. Не случайно, наверное, что в российских университетах в XIX веке не было курса «философия права» и тем более кафедр философии права, а преподавался (правда, с разными названиями) в качестве обязательного и важнейшего курс истории философии права.

Наряду с философией права формируется **история философии права** — научная дисциплина, возникшая первоначально как учебный курс в германских университетах в начале XVIII века. Содержание данного курса состояло из изложения исторической эволюции идей и учений о государстве, власти, политике, праве. Первые печатные труды по истории философии права в Западной Европе (в основном в Германии) выходят в свет в XIX веке — «Философия права через исторический взгляд» Штала (1832), трехтомная «История и система государственной науки» Бусса и Геппа (1839), «История

философии права, начиная с Гуго Гроция» Вернкёнига (1839), «Периоды истории философии права» Росбаха (1842). В это же время курс истории философии права читается и в России, профессором К.А. Неволиным в Киевском университете. В 1839–1840 гг. этот курс был опубликован в виде двухтомника под названием «Энциклопедия законоведения» (второй том этого труда имеет название «История философии законодательства»). Одновременно с этим в Петербургском университете курс «Историческая часть энциклопедии законоведения» читает П.Д. Калмыков (в 1845 г. выходит рукописное издание), а в Киевском университете — Н.И. Пилянкевич, названный им уже «История философии права» (печатный текст данного курса под указанным названием увидит свет только в 1870 г., хотя первая неудачная попытка опубликования относится к 1849 г.).

По Университетскому уставу 1863 г. на юридических факультетах были созданы кафедры энциклопедии права, за которыми было закреплено чтение в качестве обязательных курсов истории философии права. Такие систематизированные курсы в 60-е гг. XIX в. читали П.Г. Редкин (Петербургский университет) и Б.Н. Чичерин (Московский университет). В 1869 г. Чичерин выпустил в свет первый том своего фундаментального (впоследствии пятитомного) труда, который назвал «История политических учений».

Следует отметить, что на протяжении XIX века как в России, так и за рубежом вышло в свет огромное количество трудов (учебных университетских курсов), которые наряду с базовым («История философии права») имели и другие названия, общепризнанно являющиеся равнозначными («история политических учений», «история политических наук», «история общих учений о праве и государстве», «философские учения о праве и государстве» и др.). Авторами этих трудов (наряду с упомянутыми выше) были такие российские ученые, как Д.И. Каченовский, Ю.Г. Жуковский, А.С. Алексеев, К.Н. Ярош, С.А. Бершадский, Н.Н. Трубецкой, Н.М. Коркунов, В.Ф. Залесский, П.И. Новгородцев, Г.Ф. Шершеневич, А.С. Лаппо-Данилевский, А.Н. Фатеев, М.М. Ковалевский, В.Н. Сперанский, К.А. Кузнецов, В.Э. Вальденберг и др.

Зарубежными авторами по истории философии права (истории политических учений) в XIX — начале XX вв., книги которых хорошо знали в России, в том числе и по русским переводам, являлись Ф. Шгаль, Р. фон Моль, Р. Блэки, П. Жанэ, А. Гейер, И. Блунчли, Г. Кох, Ф. Полок, Л. Штейн, А. Лассон, А. Мишель, Р. Трейман и др.

Предметное поле истории философии права (истории политических учений) стало дискуссионной проблемой уже в XIX веке, но к общему суждению ученые не пришли и по сей день. Не в последнюю очередь это связано с тем, что данная дисциплина по своему содержанию и функциям относится к интеграционным («междисциплинарным») сферам научного знания. Наряду с ретроспективным изучением общих идей и учений о политике, праве, государстве и власти в ней мы находим синтез, по меньшей мере, *четырёх* уровней анализа: во 1-х, это выявление и изучение развития

нормативно-институциональных аспектов функционирования политико-государственных систем (сфера правовой науки); во 2-х, это определение и описание тенденций и форм развития политико-государственных институтов и отношений (сфера политической и социальной истории); в 3-х, это анализ природы государства, власти, властных отношений, выявление противоречий и механизмов развития (сфера политической науки); в 4-х, это оценка и прогнозирование развития политико-государственных систем, построение идеальных форм и моделей для такого развития (сфера философии).

Реализовать такие задачи заведомо не может научная дисциплина, ограниченная только рамками политологии (или теории политики) и тем более юридической науки; она с необходимостью должна анализировать философские, правовые, социологические аспекты процесса становления государственных и властных форм и отношений.

Поэтому история философии права (или ее более общепринятые в настоящее время названия — история политических учений, история политических и правовых учений) — это наука интегративная: не только политическая (и историческая) по названию, но и философская, правовая, теоретико-литературная и социальная.

В условиях процесса дифференциации научного знания, который наиболее активно проходил в гуманитарной науке в XIX — начале XX вв., история философии права оставалась одной из немногих интегративных скреп между целым рядом гуманитарных наук. Осуществлять эту функцию данной научной дисциплине позволяет то, что не только по названию, но главное — по реальному содержанию заложенного в ней идейного материала она представляет собой синтез истории, философии (философии права) и политической науки, периферийно затрагивая при этом и такие науки, как социология, психология, культурология, литературоведение.

Понятия «политическая», «правовая» в ее названии употребляются только в связи с тем, что именно они дают этой науке объектную идентичность, так как ее исследовательский предметный поиск направлен на философскую (наиболее общую) интерпретацию сложнейших взаимодействий политики, государства, права, на выявление сущего для его сопоставления с должным, с идеальными и наиболее совершенными моделями политического.

На втором этапе, уже в XIX веке, возникает как самостоятельная политическая наука или политология. В современном употреблении данные понятия считаются идентичными, хотя этимологическая разница существует. Заключается она в том, что «наука» — это объективное логически обоснованное знание о сущем, тогда как «логос» (от др.-греч. — слово, учение) предполагает еще и знание о должном. В разных национальных научных школах в соответствии с определенными традициями иногда при словопотреблении отдается предпочтение первому или второму понятию.

Объект-предметное поле политической науки (политологии) однозначно не определено и имеет ряд концептуальных моделей, среди которых

можно выделить три главные: 1) государство; 2) власть; 3) (политические) отношения. Иными словами, политология — это наука о государстве, либо политология — это наука о власти, либо политология — это наука о политических отношениях. Существуют и смешанные объект-предметные конструкции политической науки.

Вместе с тем, необходимо отметить, что уже давно идет спор о том, может ли изучение политических феноменов вообще быть научным. По сути, это непрекращающийся спор с Юмом, который еще в 1741 г. выступил с утверждением, что «политика может быть сведена к науке».

Формирование теоретических представлений о государстве, власти и политических отношениях, а также концептуальных разработок о влиянии, управлении этими феноменами общественной жизни относятся к самым ранним этапам истории человеческой цивилизации. Первые научные труды по данной проблематике появляются в период Античности (Платон, Аристотель, Цицерон и др.). В XVI в. крупный вклад в развитие политической науки сделали Н. Макиавелли, М. Лютер и Ж. Боден. В 1603 г. И. Альтузиус опубликовал сочинение «Упорядоченная методическая политика», которое можно считать первым опытом учебника по политической науке. Позже в XVII–XVIII вв. политическая наука получила свое развитие в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка, Ш.-Л. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, Э. Бёрка, Д.С. Милля, А. де Токвиля и др. На рубеже XIX–XX вв. огромное влияние на развитие политической науки оказали работы М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Моски, В. Парето, Б. Кроче и др.

В России с 1804 г. на протяжении определенного времени в университетах существовало отделение (факультет) нравственных и политических наук, присуждалась научная степень доктора политических наук. Позже на основе прогрессивного Университетского устава 1863 г. была даже предпринята попытка отделить в преподавании политические науки от юриспруденции. Данная попытка на деле оказалась робкой и непоследовательной, но и она, тем не менее, привела к появлению целого ряда трудов и учебных курсов, в которых проводился научный анализ политических проблем. Авторами таких работ были Б.Н. Чичерин, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, М.Я. Острогорский и др.

В США и Западной Европе развитие политической науки происходило более успешно и интенсивно, чем в России. Во второй половине XIX в. политическая наука начинает выделяться в самостоятельную учебную (университетскую) дисциплину. В 1857 г. в Колумбийском университете (США) создается кафедра истории и политической науки. В 1872 г. во Франции начинается функционировать специальная Свободная школа политической науки. В 1880 г. аналогичная школа создается в Колумбийском университете. В 1895 г. Школа экономики и политической науки создается при Лондонском университете. Позднее в этих и других странах создается целая сеть отдельных подразделений (факультетов), деятельность которых была направлена на преподавание политической науки, а также на реали-

зацию издательских и научных проектов в этой области. В конце XIX — начале XX в. получает признание и распространение и сам термин «политическая наука». Не в малой степени этому способствовал вышедший в свет в 1896 г. капитальный и ставший позже классическим труд Г. Моски «Элементы политической науки».

Произошедшие в конце XIX — первой половине XX века институциональные и структурные изменения в области политической науки были истолкованы некоторыми учеными как исходный рубеж для развития собственно политической науки, тогда как до этого следует говорить лишь о развитии политической мысли или политических идей. На самом деле это было не «рождение» политической науки, а конституирование ее места в новой дифференцированной системе гуманитарных наук, которая как раз и формируется на рубеже XIX и XX вв. В этой новой системе большое значение начинает придаваться разграничительным объект-предметным линиям, что для политологии означало разрыв интеграционных связей с философией и юриспруденцией, идейными и методологическими средствами которых политология продуктивно пользовалась на протяжении предшествующих веков.

В 1948 г. в Париже под эгидой ЮНЕСКО состоялся международный симпозиум по проблемам политической науки, на котором были приняты общие рекомендации по определению предметных рамок данной науки, а также по принципам и направлениям ее преподавания. Немного позднее экспертами, обобщившими материалы конгресса, было предложено четыре основных направления политологических исследований: 1) *политическая теория* (в том числе и история политических идей); 2) *политические институты* (конституция, центральное управление, региональное и местное управление, публичная администрация, экономические и социальные функции управления, сравнительное изучение политических институтов); 3) *партии, группы и общественное мнение* (политические партии, группы и ассоциации, участие граждан в управлении и администрации, общественное мнение); 4) *международные отношения* (международная политика, политика и международные организации, международное право). Тем самым в мировом политологическом сообществе было принято консолидированное для того времени решение о неких рамках исследовательского поля политической науки. Впоследствии эти рамки постоянно уточнялись и расширялись.

На конгрессе 1948 г. было принято решение употреблять термин «политическая наука» в единственном числе, включив тем самым в единое объект-предметное поле различные энергично развивающиеся в то время субдисциплины — политическую социологию, политическую философию, политическую географию и др. В 1949 г. под эгидой ЮНЕСКО была создана Международная ассоциация политической науки, а политология как самостоятельная научная и учебная дисциплина была введена в программы ведущих университетов США и Западной Европы.

Во второй половине XX века политическая наука существенно расширяет свой исследовательский диапазон, создаются новые направления и формы политологического анализа, к которому привлекается широкий набор методологических и методических подходов (включая математические). Достаточно энергично в этот период начинают развиваться такие направления политической науки, как политическая география, геополитика, хронополитика, политическая глобалистика и экополитология, политическая социология, политическая психология, этнополитология, сравнительная политология, политическая конфликтология, прикладная политология. В 70–90-е гг. выходят многотомные обобщающие труды по политологии: восьмитомное «Руководство по политической науке» под редакцией Ф. Гринштейна и Н. Полби (1975), четырехтомный «Трактат по политической науке» под редакцией М. Гравитц и Ж. Лека (1985) и др. В 1996 г. под редакцией Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна выходит в свет оксфордское издание «Новое справочное издание по политической науке», которое признается наиболее удачным энциклопедическим обзором современной мировой политологии (русский перевод 1999 г. под названием «Политическая наука: новые направления», научный редактор Е.Б. Шестопал). Среди ведущих имен современной политической науки следует также назвать А. Алезину, Ч.Р. Алкера, Г.А. Алмонда, Д.И. Альта, Д.И. Аптера, А.Б. Аткиесона, Б. Бэрри, Д. Берг-Шлоссера, Э.Г. Карминаса, Д.Л. Сингранелли, Р.Дж. Далтона, М. Догана, Г. Друри, П. Данливи, К. Гоулдмана, Р.И. Гудина, Б. Грофмана, Р. Хоффербергера, Р. Хакфельда, Д.И. Джексона, Р.О. Кеохейна, Х.-Д. Клингеманна, С. Липсета, П. Мэра, Д. Маджоне, К. Макгроу, Ж. де Мёра, У.И. Миллера, Б. Нельсон, К. Оффе, Ф.У. Паппи, Б. Пареха, Б.Г. Питерса, Ч. Рейджина, Б. Ротстайна, К. фон Байме, Б.Р. Вейнгаста, Л. Уайтхеда, В. Райта, А.М. Янга и др.

В современной России возрождение политологии как научной и образовательной дисциплины началось в конце 80-х — начале 90-х гг. прошлого века, когда в университетах открываются специализированные кафедры и отделения, учреждаются ученые степени кандидата и доктора политических наук, выходят в свет учебники и монографии по политологии (Т.А. Алексеева, М.А. Василик, К.С. Гаджиев, М.В. Ильин, М.А. Мельвиль, А.С. Панарин, В.П. Пугачев, А.И. Соловьев и др.). Позже в российских университетах открываются отдельные факультеты политологии (МГИМО, Высшая школа экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и др.).

В XIX–XX вв. возникает **Философия политики или Политическая философия** — философская наука (научно-образовательная дисциплина) о наиболее общих (философских) основаниях политики. К числу таких оснований следует отнести проблемы сущности политики как социального феномена, как специфического регулятора общественной жизни, соотношения сущего и должного, рационального и нерационального в политике. В своем современном состоянии данная наука (и особенно как университетская образователь-

ная дисциплина) в свое содержание включает онтологические, гносеологические, аксиологические, антропологические, социокультурные, эпистемологические, прагматологические и прогностические проблемы политики.

Философское осмысление политики относится к самым начальным этапам интеллектуальной истории человечества. В античных и средневековых философских системах данное направление философствования являлось составной и неотъемлемой частью единой и целостной метафизической картины мира. В трудах философов XVI — начала XIX вв. (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескьё, И. Кант, Г. Гегель, Дж.С. Милль и др.) политика становится непосредственным и очень важным предметом философского анализа. Дальнейшее развитие идеи политической философии нашли в XIX — начале XX вв. у таких мыслителей, как А. де Токвиль, К. Маркс, Г. Спенсер, В. Парето, Г. Моска, М. Вебер, А. Мишель, Л. Дюги и др.

В российских университетах в XIX — начале XX в. в качестве обязательных предметов преподавались энциклопедия права и история философии права, которые рассматривались как философское введение в юриспруденцию и содержали большой объем философско-политических проблем. В этих курсах в систематизированном и ретроспективном виде излагались проблемы государства, власти, политики и т.д. К российским мыслителям, которые внесли наибольший вклад в научную разработку данной проблематики, следует отнести Б.Н. Чичерина, П.Г. Редкина, В.С. Соловьёва, Л.И. Петражицкого, М.М. Ковалевского, П.И. Новгородцева, И.А. Ильина, Б.П. Вышеславцева, С.Л. Франка, С.И. Гессена, Н.А. Бердяева и др.

В XIX веке в процессе дифференциации социальных и гуманитарных наук постепенно начинает происходить выделение (институционализация) политико-философской проблематики из философского знания и формирование ее как относительно самостоятельной дисциплины. В связи с этим появляются и специальные названия (термины) для обозначения этой новой самостоятельной дисциплины; и в числе первых — термин *«политическая философия»*. Так, в частности, был назван двухтомный труд англичанина Г. Броугема, который вышел в свет в 1842–1843 гг.

В XX веке политическая философия превращается в фундированную отрасль политико-философского знания. Такие западные ученые, как К. Шмитт, Л. Штраус, Х. Арндт, И. Берлин, Дж. Ролз, О. Хёффе создают целый ряд научных трудов, которые для политической философии в настоящее время принято считать классическими. Ключевыми понятиями для политической философии XX века стали «свобода», «власть», «справедливость». Именно эта понятийная триада и определяет предметное поле, основные направления и проблемы политико-философской мысли последних десятилетий.

Во второй половине XX века для обозначения философского анализа политики начинает активно использоваться термин *«философия политики»*. Данный термин в научном контексте у нас в стране используется уже несколько десятилетий. Можно, например, вспомнить в этой связи о су-

уществовании еще в 70-е гг. прошлого века Секции философии политики и международных отношений в Философском обществе СССР, которая выпускала различные сборники научных работ по данной проблематике. В 1990-е и 2000-е гг. выходит ряд научных книг с искомым названием (А.С. Панарин, Э.А. Поздняков, И.А. Гобозов, А.Г. Дугин), а также разрабатывается ряд учебных курсов «Философия политики» на философских факультетах университетов.

В научной литературе термин «философия политики» часто пересекается с термином «политическая философия». Отношение к вопросу о соотношении этих терминов среди современных ученых различное. Одни не видят в них особых различий и употребляют их фактически как тождественные, другие (восходит к И. Берлину) такие различия находят в том, что «философию политики» рассматривают как часть философии, философского знания, а «политическую философию» относят к области политической науки. Хотя в некоторых, в том числе и справочных изданиях «политическая философия» относится к философскому знанию. Думается, что второй подход более продуктивен, поскольку приближает нас к интерпретации проблемы соотношения философии и политики. «Философия политики» может трактоваться как приложение философии к области политической жизни, тогда как «политическая философия» является саморефлексией политики, ее «внутренним» знанием о самой себе. Первая решает вопросы, которые ставит перед философией политика, тогда как вторая решает вопросы, которые ставит перед политикой философия. Но на эти разные вопросы могут быть даны одинаковые ответы. Поэтому «философия политики» и «политическая философия», в любом случае, — это сильно пересекающиеся, взаимосвязанные области научного знания, поскольку в их соотношении фиксируется не разница смыслов, а только разница детерминации мысли, направленности мысли.

Взаимодействие философии политики и политической философии создает поле для научного диалога философии и политики. Кто из этих сторон сегодня более активен в этом диалоге, сказать трудно. Ясно, что концептуализация политики, исследование ее фундаментальных, сущностных оснований, поиск целей и смысла политики были и остаются важнейшей и пока плохо разработанной философской проблематикой. Да и современная политика все реже ставит перед философией смысловые вопросы. Конечно, в данном случае имеется в виду не реальная политика (и политики), — отсюда ждать этих вопросов наивно, а политическая наука. Но представляется, что сегодня для многих молодых (и не только молодых) политологов, профессиональные интересы которых устойчиво ориентируются на технологии и приложения, метафизические проблемы являются малоинтересными и неперспективными.

В настоящее время размежевание предметных полей философии политики и политической философии (и теоретической политологии, «теории политики») окончательно еще не произошло, и не понятно, произойдет ли оно в обозримом будущем. Не исключено, что эти дисциплины в современном

гуманитарном знании будут и далее развиваться как две взаимосвязанные и взаимодополняющие парадигмы философского обобщения политики.

На третьем этапе уже в XXI веке появляется **философия политики и права** — новое направление социально-гуманитарного знания, связанное с синтезом двух развивающихся ранее относительно самостоятельно философских дисциплин — философии политики (политической философии) и философии права.

Объективной основой такого синтеза является то, что политика и право в действительности являются двумя важнейшими взаимосвязанными регуляторами современной общественной жизни. Вместе с тем, историческая эволюция дифференцированного знания, начавшаяся в Новое время и продолжающаяся по инерции по сей день, привела по методу абстракции к разведению **политики и права** по разным областям науки. Политика была отнесена к предметной области политических наук, право — к юриспруденции. Указанные науки достигли на протяжении многих десятилетий и даже столетий своего развития существенных достижений в изучении и понимании данных общественных феноменов. Но видимо, в этом процессе объективно существуют свои пределы, за которые эти науки выйти не в состоянии. Не случайно, кстати, каждая из этих наук (особенно политология и правоведение) до сих пор не имеют общепринятого предмета, единого понимания природы искомых феноменов. Многие современные учебники по политологии и праву начинаются с констатации, что в этих науках нет более многозначных и неопределенных понятий, чем «политика» и «право».

Это не случайно. Разные науки (политология и правоведение) отдельно друг от друга изучают политику и право как отдельные и самодостаточные сущности, тогда как в реальности они взаимно дополняют и взаимно обуславливают друг друга.

Политика и право как социальные регуляторы работают эффективно только тогда, когда существует ясное и точное знание того, к каким идеальным моделям общественных отношений нужно стремиться. Поэтому исследователь должен адекватно определить существующий порядок вещей (*сущее*), а затем создать идеальную модель (модели) этого порядка (*должное*). Именно в этом взаимном переплетении сущего и должного и лежит главная проблема современной общественной жизни и гуманитарной науки, но найти адекватные (идеальные) решения этой проблемы невозможно силами отдельных наук (политологии, юриспруденции, этики). Таким образом, объективно назрела необходимость в создании интегративной философской теории политики и права, которая была бы не **сложением** разных научных теорий (так называемая междисциплинарность), а **созданием** новой, другой теории.

Для становления такой теории можно выделить следующие первоначальные задачи.

1. Институционализация философии политики и права как нового направления университетского философского образования; определение ее

места, роли и эвристических функций в контексте вызовов современной цивилизации.

2. Осмысление основных этапов и направлений исторической эволюции философских интерпретаций политики и права, особенно в аспекте взаимодействия этих двух феноменов общественной жизни.

3. Анализ онтологических, гносеологических, аксиологических, антропологических, социокультурных и прогностических проблем философии политики.

4. Анализ онтологических, гносеологических, аксиологических, антропологических, культурологических и праксеологических проблем философии права.

5. Исследование философских проблем взаимодействия политики и права, к числу которых можно отнести такие как норма и нормативность в политике и праве; взаимовлияние и взаимоограничение политики и права в современном общественном развитии; взаимосвязь политического и правового факторов в минимизации и разрешении национальных, региональных и глобальных проблем современного общества.

В настоящее время развитие философии политики и права осуществляется учеными различных учебно-научных центров как в России, так и за рубежом, в том числе и на созданной в 2008 году на философском факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова специальной кафедре философии политики и права.

Описанный выше процесс исторической эволюции гуманитарного знания в рамках выделенных дисциплин можно представить в виде таблицы.

ТАБЛИЦА 1. *Этапы исторической эволюции гуманитарного знания*

	Первый этап (XVII–XVIII вв.)	Второй этап (XIX–XX вв.)	Третий этап (XXI в.)
Начало дифференциации гуманитарного знания	Философия права История философии права	Философия права История философии права (История политических и правовых учений)	Философия права История философии права (История политических и правовых учений)
«Пик» дифференциации гуманитарного знания		Политическая наука / Политология Философия политики / Политическая философия	Политическая наука / Политология Философия политики / Политическая философия
Интеграция гуманитарного знания («вторичный синтез»)			Философия политики и права

Представленные выше характеристики философско-политических и философско-правовых дисциплин демонстрируют определенную логику их исторического развития, детерминацию этого развития изменяющимися объективными общественными условиями.

На первом этапе (XVII–XVIII вв.) **философии права и истории философии права** возникают на стыке философии и юриспруденции для фундаментального истолкования кардинальных перемен в общественной жизни Западной Европы, связанных с возникновением плотной сети городов, дорожных и водных коммуникаций, новых производственных комплексов. Начинается промышленная революция, которая создает потребность в новых профессиях, основанных не только на прикладных, но и на теоретических знаниях. Люди должны были уже не только понимать реалии повседневной текущей жизни, но и глядеть в будущее, знать векторы развития. *Философия права позволила конкретному человеку понять его место и роль в национальном государстве и обществе.*

На втором этапе (XIX в.) оформляются **политическая философия / философия политики и политология / политическая наука** для фундаментального и прикладного объяснения новых процессов и явлений общественной жизни. На данном этапе мировой истории не только в рамках отдельных национальных государств, но и в наиболее развитой, значит, и влиятельной зоне мира происходит переход от феодально-сословного «неполитического» общества к капиталистической, классовой, политизированной системе.

В этой новой системе возникает множество новых политических учреждений, которые существенно децентрализуют государственную власть и создают систему новых политических отношений и явлений. Политическая жизнь становится наряду с частно-хозяйственной, религиозно-конфессиональной, культурно-бытовой жизнью самостоятельной сферой общества и относительно самостоятельной частью жизни конкретного человека, для которого политический интерес становится таким же важным и понятным, как, например, интерес имущественный. Во многих странах люди из самых разных социальных групп становятся непосредственными участниками политических процессов. Для реализации массовых политических интересов формируются политические движения, партии и организации.

Новые дисциплины призваны были помочь конкретному человеку понять и оценить его роль и место в новом и запутанном мире политики.

И наконец, на третьем, современном этапе (XX–XXI вв.) формируется **философия политики и права**. Главная задача данной дисциплины состоит в истолковании полифонии и многовекторности постиндустриального этапа мирового общественного развития, *в понимании места и роли конкретного человека не только в национальном государстве и обществе, но и в мире в целом.*

Анализ детерминационных оснований научного знания показывает также и главный вектор его исторической эволюции. Этот вектор состоит в формировании внутри дифференцированной научной системы тенденции к инте-

грации, научному синтезу. Этот новый вторичный (после Античного) научный синтез был обусловлен необходимостью объяснения новейших тенденций и явлений, которые возникли в реальном бытии в конце XIX — начале XX в. Во многом это было обусловлено и выдающимися достижениями самих дифференцированных наук, многие открытия которых уже невозможно было адекватно интерпретировать только в рамках этих наук.

Получилось так, что обратный интеграционный процесс начал происходить (хотя и до сих пор недостаточно активно) в области естественно-научного знания и практически не затрагивал область гуманитарного знания, где процесс дифференциации, вопреки требованиям жизни, наоборот, продолжился. В этом затянувшемся процессе научной дифференциации не только отдельные гуманитарные науки, но и отдельные научные дисциплины (и даже субдисциплины) оказались обособленными друг от друга. Это представляется особенно странным, поскольку отсутствие целостного характера научной интерпретации общественных процессов не соответствует не только объективным потребностям жизни, но и внутренним законам развития самих гуманитарных наук. Эти науки в преподавании и научных исследованиях отгородились друг от друга, но до сих пор не выработали собственного понимания предмета данной науки и испытывают большие трудности в определении базовых понятий, которые относились бы только к какой-то одной науке, но не относились к другой. Еще в середине 90-х годов прошлого века один из крупнейших современных политологов и социологов И. Валлерстайн отмечал «...размытость границ между отдельными дисциплинами социальных наук». «Традиционные категории экономики, политологии, истории, социологии и антропологии, — писал он, — во многих отношениях потеряли свои различительные черты как предметные области, как области методологии, как конкурирующие эпистемологии»¹. Но вопреки этому объективному процессу, гуманитарные (и не только гуманитарные науки) институционально эволюционируют прямо в противоположном направлении.

Выход из создавшегося положения — формирование интегративных научных теорий, в которых произошел бы синтез эвристических и методологических достижений и возможностей существующих гуманитарных наук. Одна из таких теорий — это философия политики и права, которая опирается, в частности, на более чем вековой (только в России) исторический опыт и достижения такой научной и образовательной дисциплины, как история философии права.

По сути, это есть путь от познания политики к познанию политического, от понимания повседневных реалий и взаимодействий к пониманию скрытых фундаментальных пружин и механизмов развития, т.е. от понимания сущего к постижению должного.

¹ Валлерстайн И. Письмо членам Международной социологической ассоциации // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 1995. № 3. С. 128.

Влияние «междисциплинарного тренда»
в социальных науках конца XX века на становление
современного понятия «политического»

Карл Шмитт как методолог политической теории

Фигура Карла Шмитта, воспринимавшаяся в период Второй мировой войны и последовавших за ней лет в качестве некоего воплощения одиозности («слишком глубокой и непреодолимой выглядела духовная пропасть, которая отделяла опального серого кардинала одной из стран Оси — публично, по крайней мере, неформально табуированной фигуры в ФРГ, — от либерального климата и политических настроений англоговорящего мира», — пишет на страницах журнала *New Left Review* Б. Тешке¹), — эта фигура, по прошествии десятилетий, неожиданно обрела статус классика современной политической мысли. Подобного возврата в поле высокой теории не могли предвидеть даже такие искушенные мыслители, как Ю. Хабермас, утверждавший в 1989 г., что политико-философские взгляды Шмитта не способны возыметь ту же «силу распространения в англосаксонском мире, которая досталась Ницше и Хайдеггеру»². В действительности же феномен *англо-американской* литературы о Шмитте демонстрирует, за некоторыми известными исключениями, все более раскованную «реабилитацию», актуализирующую шмиттовские понятия «чрезвычайного положения» и «политического», — и это в отличие от специфики рецепции Шмитта в немецком публичном пространстве (где, как подчеркивает Тешке, отношение к Шмитту до сих пор прочно привязано к определенным этическим запретам).

Одна из задач данной статьи — обратить внимание исследователей на те стороны шмиттовского наследия, которые находятся вне поля зрения наиболее расхожих трактовок, усматривающих суть шмиттовского вклада в политическую теорию в редукции политического отношения к дистрикции «друг-враг», «свой-чужой». Спору нет, этими и подобными положениями Шмитт дал достаточно оснований для причисления его к числу пророков и адептов неоконсервативной революции и заставил историков оспаривать случайный характер его сотрудничества с нацистами. Проблема, однако, в другом: присутствие в работах немецкого политического философа указанных мотивов, по нашему убеждению, никак не объясняет ни современной «моды» на Шмитта, ни того факта, что его небольшая по размеру работа «Понятие политического» породила устойчивую тенден-

цию полагать, что адекватным для нашего времени объектом теоретического исследования является не политика, а именно «политическое», — и это при том, что теоретически внятного и однозначного толкования последнего термина до сих пор не предложено. Возникшая таким образом «загадка Шмитта» осложняется тем, что в наше время понятием «политическое» пользуются все подряд, не утруждая себя вопросом: а чем, собственно, не устраивает современность традиционное слово «политика», что заставило немецкого теоретика изобретать альтернативу ему? И чем, в конце концов, руководствуются сегодняшние политики, оперирующие понятием «политического» одновременно с демонстративным нежеланием упоминать даже имени К. Шмитта?

Поставленные вопросы порождены, как мне представляется, объективным состоянием «шмиттоведения»: способность к рефлексивно-критическому восприятию «политического» демонстрируют далеко не все исследователи³; между тем, именно склонность к рефлексии открывает доступ к методологической составляющей наследия Шмитта. Думается, как раз здесь, в сфере методологии, следует искать разгадку актуальности взглядов Шмитта у читателей самых разных политических ориентаций. Начнем с утверждения, что даже заявки на *методологический* анализ бывает достаточно для уточнения общепринятого подхода. Вот, например, цитата из Шмитта:

«Все теории государства и политические идеи можно испытать в отношении их антропологии и затем подразделить в зависимости от того, предполагается ли в них, сознательно или бессознательно, «по природе злой» или «по природе добрый» человек. Различение имеет совершенно обобщенный характер, его не надо брать в специальном моральном или этическом смысле. Решающим здесь является проблематическое или непоблематическое понимание человека как предпосылки всех дальнейших политических расчетов, ответ на вопрос, является ли человек существом «опасным» или безопасным, рискованным или безвредным, нерискованным»⁴.

В контексте анализируемой работы требование придерживаться «проблематического» понимания человека может быть расценено исключительно как часть критики либеральных теорий, точнее, той разновидности либерализма, которая ратует за максимальную свободу человека от государства (напомним, что в основании теории минимального государства заложена либеральная вера: человек по натуре своей «хорош» — настолько, что решение большинства вопросов общественного бытия можно отнести в сферу спонтанно складывающихся отношений между людьми; иначе говоря, их можно изъять из сферы компетенции традиционных социалополитических институтов). Указывая на наивность подобных упований, Шмитт считает не менее наивными и противоположные по смыслу утверждения (человек по природе своей зол, порочен и т.д.). Это понимание заставляет его дистанцироваться от стратегии «лобового» противостояния либерализму ради поиска наиболее адекватного (с точки зрения наличного состояния политической теории) способа философствования, каковым и

становится для него «проблематическое понимание человека», понимание, отвергающее претензии на изобретение единого алгоритма «всех дальнейших политических расчетов». Опытном конкретизации такого понимания и становится для него пресловутая дистинкция «свой-чужой», в критику которой мы не будем углубляться. Важнее другое: если попытаться оценить эту последнюю в терминах собственной шмиттовской методологии, главной претензией окажется, по моему мнению, *недостаточная* проблематичность деления на своих и чужих, коль скоро этому делению придана функция основополагающего признака «политического отношения».

Две трактовки «политического»: Карл Шмитт против Ханны Арендт

Со времени публикации шмиттовского «Понятия политического» прошло почти столетие; за это время многие ранее сформулированные идеи философской антропологии стали частью широкого научного дискурса. Но первым автором, о котором следует упомянуть, говоря об истории шмиттовского «политического», является его извечный оппонент, знаменитая представительница политической философии XX века Ханна Арендт. Карл Шмитт и Ханна Арендт, пережившие, каждый по-своему, зарождение, расцвет и крах гитлеризма, в итоге оказались главными экспонентами порожденного Третьим рейхом идейного разлома в политической философии запада. Известная работа Арендт «О насилии» моментом своего появления отстает от шмиттовского «политического» почти на 50 лет. Написанная по следам студенческих волнений во Франции конца 70-х гг.,⁵ эта работа, вместе с тем, читается как ответ Шмитту. Образовавшийся между двумя публикациями временной лаг лишь подчеркивает возрастающую важность темы. Существующее между авторами практическое отношение политического и морального взаимонеприятия при перенесении его в теоретическую плоскость превратилось в подобие симбиотической связи. Это и есть дискурс — состояние, исключающее безоговорочную победу какой-либо из сторон. Для нас столкновение представленных точек зрения интересно не столько своим временным исходом (он общеизвестен и не нуждается в комментариях), а скорее как момент формирования неких *будущих* политических философий. История и современность развернуты здесь к нам ракурсом прерывания преемственности; это затрагивает сам способ понимания — понимания не только прошлого, но и того, что происходит здесь и сейчас. Так, применительно к ситуации борьбы с нацизмом и тоталитаризмом, этими историческими маркерами политики XX в., мы не сомневаемся в победе Арендт, выразительницы теоретического *этноса* своего времени. Что касается Шмитта, представителя побежденной стороны, то понесенное им поражение не перечеркнуло собой актуальности философского «последействия» найденного им альтернативного подхода к «политическому» как проблеме.

В философии Арендт насилие *de facto* лишено статуса политического понятия: все богатство соответствующих политических смыслов переносится автором на понятие власти⁶. В отличие от насилия, власть, согласно Арендт, есть та реальность человеческого бытия, необходимость которой в обосновании не нуждается. Иначе говоря, мы не можем представить себе общества вне отношений господства и подчинения и, в то же время, вполне допускаем возможность существования отношения господства / подчинения вне отягощенности их насилием. Далее. Не будучи зависима от применения насилия и не нуждаясь во внешнем обосновании, власть, однако, нуждается в легитимности. Легитимностью же своей власть обязана «изначальному объединению усилий»⁷. Арендт хочет сказать, что нормативное обеспечение власти имеет вид *практического согласия* значительного большинства населения на осуществление именно данной власти — согласия, выражаемого в участии (или в готовности участвовать) в функционировании *этой* власти. И хотя на практике реализация власти едва ли возможна вне присутствия какого-то числа несогласных с ней людей (а значит, отправление власти никогда не обходится без эпизодов насилия в отношении этих людей), *в принципе*, полагает она, как таковая власть не нуждается в подкреплении ее насилием. В обосновании этого тезиса Арендт указывает на террор, который, утверждает она, есть «форма правления, устанавливаемая тогда, когда насилие, разрушив всяческую власть, сохраняет за собой полный контроль. Часто отмечалось, что эффективность террора находится в почти полной зависимости от степени атомизации общества»⁸. Порождаемая террором ситуация «смуты», «безвременья» есть та крайность, которая, по мнению Арендт, ярче всего показывает, что *власть и насилие по сути не только не родственны друг другу, но являются антагонистами с точки зрения их политического содержания*.

В последней трети XX в. данный опыт категориального разведения власти и насилия, несомненно, сыграл очень важную роль, — роль разумного противовеса политико-философским построениям (среди них Арендт выделяла учения Сартра, Фанона и, в меньшей степени, Сореля), высоко вознесшим на волне спонтанных политических волнений романтизированную идею насилия и не ведавшим, в сколь плачевное состояние ввергает бездумный романтизм общество, сменившее состояние власти на состояние атомизации: «*атомизация* есть обесцвеченное, академичное слово, за которым скрываются подлинные ужасы»⁹. Нет сомнения, что и в будущем арендтовский образ насилия как безвластия, сигнализирующего о *дефиците общества*, останется востребованным в политике.

Между тем, уже в 1963 г., в «Теории партизана», Шмитт предположил арендтовской трактовке насилия серьезные соображения, способные поставить под сомнение здравость жесткого категориального разведения насилия и власти, не учитывающего диалектический характер их связи. Анализируя практику партизанских и террористических движений, он пришел к выводу, что то и другое — следствия «изгнания» понятия враж-

ды из принятого политического лексикона эпохи: это изгнание «было большим несчастьем, ибо благодаря... обереганиям войны европейскому человечеству удалось достичь редкого явления: отказа от криминализации противника в войне, следовательно, релятивизации вражды»¹⁰. Институт войны, утверждает Шмитт, от века выполнял функцию средства недопущения «абсолютной вражды». Последняя возникает меж людьми тогда, когда их лишают возможности перевести накопившиеся взаимные претензии в форму конфликта. В этом случае из ситуативно плохого «другой» в глазах оппонента превращается в абсолютно плохого. В понятии абсолютной вражды находит свое моральное оправдание террор как способ защиты от того, что невозможно улучшить. Таким образом, правомерность присутствия насилия в политике Шмитт объясняет здесь не чем иным, как императивом недопущения тех его проявлений, с которыми желала бороться и Арендт. Но если в ее трактовке террор вытесняет власть (последняя же «блага» по определению), то у Шмитта террор есть следствие ошибок самой власти, возжелавшей быть всеблагой.

Надо сказать, что в сегодняшней политико-философской литературе задача сравнительного анализа арендтовской концепции насилия с теориями ее идейных оппонентов является объектом усилий многих и многих аналитиков. Общий тренд исследований последних лет — принимать сторону оппонентов Арендт — Фанона, Сартра и др.¹¹ Как видно из перечисленных имен, в качестве оппонентов предпочитают рассматривать представителей позднейших левых течений. По нашему мнению, подобное ограничение предопределяет недостаточную углубленность представленной критики. В исследованиях, сосредоточивающих внимание не столько на новых, сколько на релевантных проблеме комментариях, главное внимание уже не к слабостям теории Арендт, а к той самокоррекции, которой подвергла она позже, в работе «О революции», собственную изначальную позицию¹².

В общем и целом, современный критический интерес к роли Ханны Арендт в деле разработки политической концепции насилия указывает на неудовлетворенную теоретическую потребность в более емком, философском освещении проблемы¹³. Именно эта неудовлетворенная потребность заставляет нас обращаться к наследию К. Шмитта.

Стремление «избавить» политическую философию (а с ней и саму политику) от насилия, пронизывающее философию Арендт, выдает преобладание в ее образе мысли моральной нетерпимости к этой «разновидности зла», а попытка понятийно изолировать насилие от власти выглядит чем-то вроде призыва к остракизму. Шмитт, как и Арендт, постулирует автономно политического. При этом, однако, понимание политического как системы властных отношений не может удовлетворять его из-за преобладания в нем статичного образа власти. Между тем, для Арендт именно статичность принятого понятия власти является возможностью абстрагироваться от феномена насилия и представить политическое с точки зрения его «позитивного» содержания. Подобный ход мысли совершенно чужд

Шмитту. Его интерес к политическому окрашен в цвета «десизионизма» (от английского decision) — принципа, полагающего ключевым моментом политической жизни ситуацию принятия решений и делающего главным персонажем любого политического устройства «суверена» как субъекта этого действия. По убеждению Шмитта, во всем совершающемся вокруг нас ровно столько политики, сколько есть в каждом конкретном контексте уникальных решений, являющихся ответом на возникающие чрезвычайные (нестандартные) ситуации. С этой точки зрения, развитие общества есть постоянное нахождение нового; как таковое оно является прерогативой «вождей», поскольку никакие универсальные принципы и правовые установления за рождение нового ответственны быть не могут. Политическое в его философско-антропологической — шмиттовской — интерпретации выступает как действующая причина динамичного изменения общества. Пытаться составить убедительное представление о развивающемся человечестве, исключая из этого представления феномен насилия, попросту немислимо. Потенциал насилия, по Шмитту, заложен в прирожденной способности каждого определяться в мире по признаку «свой-чужой», «друг-враг» и заключать союзы по этому же признаку — так сказать, «дружить против кого-то». Таким образом, насилие (актуальное либо потенциальное) присуще политике по определению: «...Группирование, ориентирующееся на серьезный оборот дел, является политическим всегда. И потому оно всегда есть наиважнейшее разделение людей на группы, а потому и политическое единство, если оно вообще наличествует, есть наиважнейшее “суверенное” единство в том смысле, что по самому понятию именно ему всегда необходимым образом должно принадлежать решение относительно самого важного случая, даже если он исключительный»¹⁴. Решение об исключительности, «чрезвычайности» ситуации, о котором говорит Шмитт, и есть акт легитимации насилия.

Здесь возникает интересный вопрос: если противоборство с «чужим» составляет неотъемлемое условие выхода из чрезвычайной ситуации, то какую из задач следует нам считать главной — разрешение имеющегося конкретного затруднения или утверждение собственной воли «поверх» любых противодействующих ей волей? И разные ли это задачи? Прямого ответа на этот трудный вопрос у Шмитта не найти. С одной стороны, он недвусмысленно дает понять, что решение вопроса о том, «в чем состоит его (народа, суверена. — *И.М.*) независимость и свобода», является прерогативой самого народа¹⁵, т.е. в принятии политических решений ключевым моментом является отстаивание собственной воли. С другой стороны, следуя Гоббсу, Шмитт кладет в основание социальных реакций человека страх, «страх перед чужим». В этой связи Т.А. Алексеева приводит любопытное суждение Дж. Маккоррика: у Шмитта главным принципом государства оказывается *protego ergo oblige* (защищаюсь, следовательно, подчиняюсь)¹⁶. Подобный ход мысли подразумевает, что утверждение суверенной воли участника конфликта (схватки) не так важно, как нахож-

дение выхода из чрезвычайной ситуации. Или же воля суверена сама по себе есть нечто развивающееся, и тогда она, в конечном счете, представляет собой продукт «эвентуальности борьбы»...

В ходе этих рассуждений понимание насилия, его присутствия в политике, усложняется настолько, что заставляет поставить под вопрос основополагающую роль дистинкции «друг-враг» в шмиттовской политической философии. Действительно, в чем смысл этой дистинкции? В возможности выведения политических убеждений (наиболее значимых для жизни как обществ, так и индивидов) из выяснения того, кто в каждой конкретной ситуации является другом, а кто врагом: «Такие слова, как “государство”, “республика”, “общество”, “класс” и, далее, “суверенитет”, “правовое государство”, “абсолютизм”, “диктатура”, “план”, “нейтральное государство” или “тотальное государство” и т.д., непонятны, если неизвестно, кто *in concreto* должен быть поражен, побежден, подвергнут отрицанию и опровергнут посредством именно такого слова»¹⁷. Далее. Показателем «серьезности» решения о том, кто друзья, а кто враги, является для Шмитта готовность вести войну — за «друзей» и против «врагов». Но здесь возникает один нюанс: «Понятия “друг”, “враг” и “борьба” свой реальный смысл получают благодаря тому, что они в особенности соотнесены и сохраняют особую связь с реальной возможностью физического убийства. Война... есть бытийственное отрицание чужого бытия»¹⁸.

Однако сведение предельного смысла политического отношения к физическому истреблению врага существенно девальвирует само «политическое». Ведь исторически в нем заложен гораздо более емкий смысл, определяемый стремлением к учету всего культурно-исторического богатства «практик» политического насилия. Шмитт же строит свою теорию лишь на одном, буржуазно-индивидуалистическом, понимании насилия: его *homo politicus* более всего страшится смерти — своей, но не чужой. Его готовность воевать — не то же самое, что решение рисковать собой ради убеждений или слагать голову «за други своя». Конечно, собственный риск в шмиттовском принципе готовности к насилию (этом критерии политического отношения) также заложен, но не отрефлексирован, как, например, у Гегеля, — думается, сознательно оттеснен на задний план. Ведь подобная рефлексия с неизбежностью поставила бы исследователя перед необходимостью соотнесения принципа физического выживания, например, со средневековой этикой чести. Иначе говоря, ему пришлось бы поставить содержательное наполнение понятия политического насилия в зависимость от исторически складывающихся ценностных ориентаций субъектов политики. Но это привело бы его к отказу от своего главного постулируемого принципа — принципа различения «друг-враг». Ради сохранения последнего Шмитт удовлетворялся натуралистическим-упрощенным представлением. В результате даже Гоббс оказался по сравнению с ним носителем более философичного понимания предпосылок политического¹⁹. Из двух доступных толкований касательно целей, имплицитных отношением «друг-

враг» (по Э. Юнгера, это «соревновательность», а по П. Адамсу — «порядок»), Шмитт решительно выбирает второе²⁰.

Дискурсивная природа «политического» и роль междисциплинарного тренда

Ранее мы уже говорили о возникшем за последние годы поветрии пользоваться «политическим» как данью очередной моде. Подходя к непосредственному анализу роли частных научных дисциплин в формировании понятия «политического», хотелось бы предварить его некоторыми замечаниями.

Прежде всего, представляется, что важным признаком теоретически корректного употребления этого термина является осознание его дискурсивного характера. Но что именно следует понимать под «дискурсивным» в контексте обсуждения *политического*? Обратимся к некоторым общим определениям дискурса, присутствующим в современных гуманитарных науках. «В отличие от функционального стиля, — пишет филолог Г.Г. Хазагеров, — дискурс обладает гомеостазом, источником которого является поддерживающее дискурс сообщество со своими коммуникативными и когнитивными ресурсами. Например, научное сообщество поддерживает научный дискурс и заинтересовано в продлении своего существования, реализуемого через этот дискурс. Что касается функционального научного стиля, то он описывается через сферу, «связанную с реализацией науки как формы общественного сознания»²¹. Сьюзен Лангер, американский философ сознания, на первый взгляд, вносит неопределенность в намеченный Хазагеровым принцип разграничения понятий. Лангер трактует процесс сознания как символическую трансформацию данных, поставляемых опытом. В этой связи она различает *дискурсивные* и *презентационные* символы. В процессе *дискурсивной* символизации на создание новых смыслов идут устойчивые и контекстуально инвариантные смысловые элементы; что же касается *презентационной* символизации, она осуществляется независимо от наличия в ее составе элементов с устойчивыми смыслами. Иными словами, процесс презентации невозможно помыслить как последовательное приращение знания о частях, его можно представить себе только как целое. Обращаясь к истории философии, Лангер пишет:

«Каждая эпоха в истории философии поглощена своими собственными идеями. Проблемы данной эпохи присущи ей не в силу очевидных практических причин — политических или социальных, здесь действуют более глубокие причины интеллектуального роста. Если мы обратим внимание на медленное формирование и накопление доктрин, отмечающих эту историю, то в ее пределах сможем увидеть определенные группировки идей, которые выделяются не по содержанию, а под воздействием более тонкого общего фактора, который может быть назван “техникой” (“technique”) обращения с ними»²².

Лангер отрицает роль социально-политических причин в формировании теоретико-философского «духа» конкретных исторических эпох — и с этим невозможно согласиться. В то же время нельзя не заметить, что, строго говоря, она не столько «не признает» наличия этой внешней составляющей, сколько абстрагируется от нее с целью выявления внутренней динамики исторического роста теорий, которая, по ее мнению, выражается в чередовании определенных типов собственно философских конструкций. Рассматривая в этой плоскости приведенные описания понятия дискурса, можно заметить, что процитированные исследователи, выступая от лица различных дисциплин, говорят здесь об одном и том же — о существовании разных «техник» обращения с идеями. Хазагеров описывает дискурс как то, в чем заинтересовано научное сообщество, развивающее дискурс за счет собственных коммуникативных и когнитивных ресурсов. Лангер обращает внимание на другое: способ оперирования идеями зависит от стадии их исторического «созревания». Чисто терминологически авторы расходятся: Лангер именует «презентационным» то, что Хазагеров обозначает как дискурсивное. Однако при этом оба, как кажется, описывают некое длящееся и вместе с тем ограниченное во времени состояние коллективного интеллектуального усилия, венцом которого должно быть достижение определенности, концептуальной «зрелости» того или иного концепта. В случае успешности такого усилия сам процесс видоизменяется, превращаясь, согласно Лангер, в «дискурсивную» символизацию: стадию (механического) складывания новых смыслов из твердых кирпичиков устоявшихся понятий. На этой стадии (ее, вопреки Лангер, хочется назвать не дискурсивной, а «постдискурсивной») исчезает объективная потребность в *поддерживающем* дискурсе научном сообществе: на место дискурса приходит то, что мы бы, вопреки Лангер, назвали бы классификационной стадией. Последняя предполагает совершенно иную социологическую картину: спонтанность коллективного научного поиска сменяется рутинной работой по скрупулезному заполнению классификационных клеточек. Отождествление именно этого типа научной работы с занятиями наукой вообще, по тонкому замечанию философа науки Р. Смита, грешит неучетом того факта, что любые классификационные деления сначала необходимо было создать — прежде чем приступить к работе по «заполнению граф»²³.

Наш интерес, естественно, направлен на анализ становления новых принципов понятийных классификаций, т.е. на первую, *дискурсивную* (а в терминологии Лангер, «презентационную») стадию. В рамках данной статьи описание ее дано как набросок, составленный из идей, добытых в рамках гуманитарных дисциплин (в нашем случае, филологии и философии сознания). Указания на продуктивность подобного синтеза имеются не только в приведенных утверждениях Лангер, но и в более известных суждениях, касающихся природы понятия «объективность» в социально-научном и социально-политическом знании: «Серьезная попытка “непред-

взятого” познания действительности привела бы только к хаосу “экзистенциальных суждений” о бесчисленном количестве индивидуальных восприятий... Порядок в этот хаос вносит *только* то обстоятельство, что интерес и *значение* имеет для нас в каждом случае лишь часть индивидуальной действительности, так как только она соотносится с *ценностными идеями культуры*, которые мы прилагаем к действительности»²⁴.

Веберовское наблюдение, согласно которому бесчисленное количество индивидуальных восприятий упорядочивается той их частью, которая отражает ценностные приоритеты культуры, послужит для нас смысловым переходом к утверждению, которое можно считать центральной гипотезой настоящей работы. Различение политики и «политического» (начало ему было положено Шмиттом, а на стыке XX и XXI веков «политическое» практически вытеснило из научного дискурса «политику») — это различение связано с исчерпанием социальной философией в целом традиционной ценностной парадигмы и началом поиска (как обществом Модерна, так и его идейно-политическими институтами) принципиально новых бытийных оснований.

Новации и культура как части дилеммы «политического»

Понятно, что попытки помыслить исторически обусловленную эволюцию ценностных парадигм сопряжены — в любой из сфер жизни общества и в любой из гуманитарных дисциплин — с фиксациями фактов возникновения *новых* объединяющих понятий-ценностей. При этом чем сильнее укоренена конкретная дисциплина в ткани культуры, тем больше вероятность, что таковая макроконцепция будет найдена ею среди уже существующих ценностей; тем больше вероятность того, что в изменившемся контексте новое значение, новое место в ценностной иерархии социума будет придано чему-то, что уже знакомо социуму и принято им. Высказанное предпочтение вполне согласуется с понятийной оппозицией: *культурные* — *акультурные* стратегии изучения Модерна, выдвинутой канадским политическим философом Ч. Тейлором. Теории акультурного типа (Тейлор констатирует господствующее положение теорий этого типа в современных исследованиях Модерна) сводят исторический мейнстрим современности к «такому типу развития, к которому способна проследовать любая традиционная культура»²⁵; соответственно, ими игнорируется как «несовременный» *культурный* тренд, для которого нормой человеческого общежития продолжает оставаться «картина множества культур, каждая из которых обладает своим языком и своим набором инструментов, определяющих специфику понимания данной культурой личности, социальных отношений, духовных состояний, добра и зла, добродетелей и пороков и пр.»²⁶. Такое понимание предполагает, что трактовка истории западной цивилизации на этапе Модерна должна иметь в качестве «фонового знания» (термин Тейлора) факт возникновения очередной новой культуры, отличающейся как от окружающих ее культур, так от собственного прошлого, — но никогда настолько, чтобы полностью обрубить нить историко-культурной преемственности²⁷.

По меркам современного политологического дискурса, *культурные* теории грешат тенденцией к самоизоляции культур, которая, как полагается, увеличивает риски конфликтного развития современного политического универсума. Однако, если сопоставить подобный методологический «изоляционизм» с принципами универсализма, какими их видят адепты *акультурного* подхода, нельзя не прийти к выводу о чрезмерности упований на универсализацию, характерных для сегодняшнего политологического мейнстрима. Как показывают наиболее болезненные события международной политики последних 10–20 лет (в их числе Косово, Сирия, Украина), приверженность мировой политической теории к принципу методологического универсализма демонстрирует все более выраженную тенденцию избирать своим практическим воплощением *новый колониализм* (последний обладает целым рядом признаков, не позволяющих считать новый колониализм продолжением как классического колониализма XVI–XX вв., так и неоколониализма середины XX в.).

Эта внешняя событийная канва является мощным стимулом к ревизии целого ряда типичных для позднего Модерна теоретико-методологических установок. Важной частью такой ревизии — если вести речь об истории политической мысли — следует считать поиски более адекватного нашему времени понимания понятия «политического», его содержания и его практической роли. В частности, для сегодняшней политической теории немалое значение имеет тот факт, что концепт «политическое» выказывает весьма прозрачное родство с утвердившейся в социально-гуманитарной сфере конца XX века методологической оппозицией «structure — agencу»²⁸. Прогрессом здесь можно считать возникновение релевантных проблеме озарений (надо сказать, они присущи ныне целому ряду социально-гуманитарных дисциплин), позволяющих конкретизировать проблему «structure — agencу» применительно к политической теории: содержание понятия «политическое» начинают анализировать в контексте оппозиции «институты — субъектность». И здесь на передний план выступают частные научные дисциплины, способные играть критическую роль в отношении излишне простых решений того типа, какие встречаются, например, у Т. Парсонса, который, как известно, считал исконную оппозицию «structure — agencу» псевдопроблемой: «Индивидуум характеризуется конкретной автономией или креативностью, а вовсе не “пассивностью” или “конформизмом”, ибо индивидуальность и творчество в значительной степени суть феномены институционализации ожиданий»²⁹. Они, добавляет Парсонс, являются творениями культуры. Работы Парсонса посвящены созданию концептуальных опосредований между индивидуальной автономией человека и жизнедеятельностью общества как структуры. «Ни один индивид сам по себе не в состоянии создать систему культуры. Основные воплощенные в типовых образцах характеристики культурных систем изменяются лишь на протяжении жизни многих поколений, им всегда следуют относительно большие группы, и они нико-

гда не могут относиться лишь к одному или нескольким индивидам. Индивид научается им в основном пассивно, хотя и может привнести в них незначительные созидательные (или деструктивные) изменения»³⁰.

Подобно Т. Гоббсу, которого он считал своим философским учителем, Парсонс конструирует свою концепцию социально-политической сферы в виде ответа на вопрос: «Как возможно общество?» (если естественное состояние — это «война всех против всех»). В этом он — типичный представитель классической традиции политической философии. Этой традиции первым бросил вызов Ж.-Ж. Руссо, гениально реинтерпретировав ее в проблемном развороте: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах»³¹. Начиная с Руссо, политическая теория начинает ставить противоположный по смыслу вопрос: как возможна индивидуальная свобода (субъектность), если индивид признается пассивным реципиентом институциональных установлений? Сегодняшний способ постановки проблемы определяют такие идеи, как «структурация»³² Э. Гидденса, представляющая собой развернутую попытку выйти за рамки дуализма «институты — субъектность». Думается, дальнейшие поиски «политического» следует (в обозримом будущем) вести в рамках именно этого исследовательского проекта. В указанном смысле перспективы междисциплинарного тренда остаются многообещающими.

¹ *Teschke B.* Decisions and Indecisions: Political and Intellectual Reception of Karl Schmitt // *New Left Review*. 2011. № 67. January-February. P. 2.

² *Habermas J.* The Horrors of Autonomy: Carl Schmitt in English // *Habermas J.* The New Conservatism: Cultural Criticisms and the Historians' Debate. Cambridge, 1989. P. 135.

³ См., напр.: *Родин Д.* Как нам завещал товарищ Кант... // АПН / Проект Института национальной стратегии. 29.06.2006 [www.apn.ru/special/article21699.htm]. От расхожих способов обращения с наследием Шмитта следует отличать серьезные теоретические трактовки, примером которых служит недавняя статья Ю. Хабермаса в сборнике «Власть религии в публичной сфере» (*The Power of Religion in the Public Sphere: Judith Butler, Jürgen Habermas, Charles Taylor, Cornel West / Ed.: E. Mendieta, J. VanAntwerpen, C. Calhoun.* N.-Y., 2011), посвященная критике шмиттовского понимания «политического» как оплота политической теологии, увековечивающей метасоциальные коннотации при любой разновидности государственной власти.

⁴ *Шмитт К.* Понятие политического // *Вопросы социологии*. 1992. № 1. С. 62.

⁵ «Героями дня» там были такие теоретики, как Ж.-П. Сартр и Ф. Фанон.

⁶ «Суть всякого правления составляет власть, а отнюдь не насилие. Насилие по самой своей природе есть не более чем орудие; как всякое средство, оно неизменно нуждается в наличии некой направляющей цели, служащей к тому же его оправданием. А то, что само по себе нуждается в оправдании или обосновании, не может являться сущностью чего бы то ни было» (*Арендт Х.* О насилии // *Мораль в политике*. М., 2004. С. 330).

⁷ *Арендт Х.* О насилии // *Мораль в политике*. М., 2004. С. 331.

⁸ *Арендт Х.* О насилии // *Мораль в политике*. М., 2004. С. 334–335.

⁹ *Arendt H.* Reflections on Violence // *The New York Review of Books*. 1969/ Volume 12. Number 4. February 27.

¹⁰ *Шмитт К.* Теория партизана. М., 2007. С. 137.

¹¹ См., напр.: *Frazier E., Hutchings K.* On Politics and Violence: Arendt Contra Fanon // *Contemporary Political Theory*. February 2008. P. 90–108; *Gordon R.* A Response to Hannah Arendt's Critique of Sartre's Views on Violence // *Sartre Studies International*. Vol. 7. 2001.

¹² См. статью Х. Финли (*Finlay Ch. J.* Hannah Arendt's Critique of Violence // *Thesis Eleven*. Vol. 97. 2009. № 1. P. 26–45), в которой доказывается преемственность между идеями Ж. Соля и В. Беньямина, с одной стороны, и Х. Аренд — с другой.

- ¹³ В этом отношении показательна статья: *Breen K.G. Violence and power: a critique of Hannah Arendt on the "political"* // *Philosophy & Social Criticism* 33.3. 2007. P. 343–372.
- ¹⁴ *Шмитт К. Понятие политического* // *Вопросы социологии.* 1992. № 1. С. 53.
- ¹⁵ *Шмитт К. Понятие политического* // *Вопросы социологии.* 1992. № 1. С. 55.
- ¹⁶ См.: *Алексеева Т.А. Карл Шмитт: автономия политического* // *Проблема политического. Очерки политической философии XX века.* М., 2009. С. 35.
- ¹⁷ *Шмитт К. Понятие политического* // *Вопросы социологии.* 1992. № 1. С. 44.
- ¹⁸ *Шмитт К. Понятие политического* // *Вопросы социологии.* 1992. № 1. С. 46.
- ¹⁹ «Человеческую жизнь, — отмечал Гоббс, — можно сравнить с состязанием в беге, и хотя это сравнение не может считаться правильным во всех отношениях, оно все же достаточно для того чтобы дать нам наглядное представление почти обо всех страстях... надо только представить себе, что единственная цель и единственная награда каждого из участников этого состязания — оказаться впереди своих конкурентов» (*Гоббс Т. Человеческая природа.* // *Гоббс Т. Избранные произведения в двух томах.* Т. 1. М., 1964. С. 490 (курсив мой — И.М.)).
- ²⁰ См.: *Алексеева Т.А. Карл Шмитт: автономия политического* // *Проблема политического. Очерки политической философии XX века.* М., 2009. С. 41.
- ²¹ *Хазазеров Г.Г. Дискурс и гомеостаз* // *Две возможности дискурсивной стилистики* [www.khazagerov.com/styles/139-duo.html].
- ²² *Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства.* М., 2000. С. 51.
- ²³ См.: *Smith R. Being Human: Historical Knowledge and the Creation of Human Nature.* N-Y., 2007.
- ²⁴ *Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания* // *Вебер М. Избранные произведения.* М., 1990. С. 376.
- ²⁵ *Taylor Ch. Modernity and the Rise of the Public Sphere* // *The Tanner Lectures on Human Values.* Stanford, 1991–1992. P. 205.
- ²⁶ *Taylor Ch. Modernity and the Rise of the Public Sphere* // *The Tanner Lectures on Human Values.* Stanford, 1991–1992. P. 206.
- ²⁷ Подробней об этом см. в моей статье: *Мюрберг И.И. Ч. Тейлор о методологическом статусе понятия «культура» в интерпретативной истории Модерна* // *Вопросы философии.* 2010. № 11. С. 25–36.
- ²⁸ По причине труднопереводимости слова *agency* (относительно его в русском профессиональном языке еще не выработано единого термина), позволю себе оставить данную опозицию без перевода на русский язык. Общее представление о проблеме поможет дать перечисление наиболее известных исследователей, так или иначе причастных к обсуждению проблемы: «structure — agency». Это Г. Зиммель, П. Бурдьё, Т. Парсонс и др.
- ²⁹ *Parsons T. Theories of Society: foundations of modern sociological theory.* N-Y., 1961. P. 38.
- ³⁰ *Parsons T. The Concept of Society: The Components and Their Interrelations* // *Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives.* Englewood Cliffs (NJ), 1966. P. 2.
- ³¹ *Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права.* Трактаты. М., 1998. С. 4.
- ³² См.: *Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации.* М., 2003.

Новая гносеология для новой онтологии:
изменения концептуальных моделей политического

Потребность в новых методологических и гносеологических подходах становится основным акцентом философских и политических дискуссий. Выдвижение на первый план религиозных и этнических оснований солидарностей на фоне элиминации традиционных гражданских и политических форм актуализирует вопрос об эффективности способов политического устройства и государственных управленческих стратегий. Происходящие качественные изменения социальной и политической реальности инициировали более широкий эпистемологический контекст их интерпретации сквозь призму новых объяснений политики, потребовали новой логики интерпретаций и нового действенного познавательного инструментария, способного обеспечить адекватность и результативность научного поиска.

По мнению И. Валлерстайна, понятие «глобализация», пришедшее в 1980 году на смену циркулировавшему в общественном дискурсе с начала 70-х годов понятию «кризис», суть «...модное словечко, звучавшее более оптимистично... Лишь начиная с 2008 года... мы услышали разговоры о кризисе, еще более тревожные, чем в 1970-е гг., но все такие же невнятные»¹. Глобализационная парадигма была такой же попыткой осмыслить и понять «становящийся новый мир», как и кризисные гносеологические координаты. «Невнятность разговоров» проявляется и в интуитивном схватывании качественного видоизменения реальности, в «конце знакомого мира», и в рефлексивном осмыслении новых феноменов и свойств социальности, и в устаревании традиционного понятийного аппарата, и в насущной потребности новых смыслов и референтов понятий. «Социальные, политические, экономические мутации образуют новые понятийные конструкции, структура звеньев которых в каждом отдельном случае вроде бы ясна, но общий смысл — темен, а механизм действия нередко обескураживает. Осмысление глобальной трансформации мира является сейчас едва ли не основным интеллектуальным занятием гуманитарного научного сообщества»².

Недостаточность писательского потенциала концепции глобализации, определяемая идеологическими рамками неолиберальной парадигмы, высвечивается в невозможности интерпретации новых форм конфликтности, в маркетизации основных смыслообразующих референций и политических институтов, в противоречиях между навязанным универсализмом и культурным многообразием. «Мир “объединен” помимо воли людей, без

выражения ими согласия на такое единство, поэтому более явными становятся конфликты между культурами, религиями, представлениями об истории, взглядами на текущие события»³. Разрушение единства национального государства и национального общества, образование новых силовых и конкурентных соотношений, конфликтов и пересечений между национально-государственными единствами и акторами, с одной стороны, и транснациональными акторами, идентичностями, социальными пространствами, ситуациями и процессами, — с другой⁴. Джон Ральстон Соул подчеркивает, что идеология, или дискурс глобализации, которая онтологически обуславливает существование глобализации как социального факта, постепенно угасает, сталкиваясь с эскалацией национализма, этнического и религиозного фундаментализма, национальных геополитик⁵. Джастин Розенберг констатирует провал многих глобализационных теорий, их интеллектуальное банкротство как дескриптивных и экспликативных идеологических конструкций мирового порядка⁶.

Качественно новый характер конфликтности в обществе, актуализация крайних форм политических идеологий и практик, переустройство параметров социальности и властных конструкций указывают на изменение референциальных значений философско-политических универсалий демократии, свободы, равенства, прав человека в качестве несущих конструкций политического бытия, рефлексивных схем и идеологических интенций. «Третья волна» принесла с собой «собственные представления о мире, со своими собственными способами использования времени, пространства, логики, причинности»⁷, однако и они начали опровергаться. Причем в первую очередь опровергаются «предположения, что данный принцип есть окончательное, абсолютное определение»⁸. Существует множество парадигм, но одни из них более действенны, чем другие. «Однако их действенность и полезность не остаются неизменными с течением времени, и поэтому сторонникам доминирующих парадигм не следует почитать на лаврах. Они должны ответственно относиться к любым интеллектуальным вызовам, и в случае серьезной критики переосмысливать свои фундаментальные основы»⁹. По мнению И. Валлерстайна, «мы должны признать специфический характер произведенного Европой переустройства мира, ибо только в этом случае мы сможем преодолеть его последствия и прийти к более универсалистской трактовке человеческих возможностей, к трактовке, в рамках которой можно будет не уклоняться от решения сложной и противоречивой проблемы соподчинения стремлений к истине и благу»¹⁰. Это озвучено и в заявлении Ю. Хабермаса, утверждающего, что «западноевропейский путь развития, специфический рационализм которого признавался некогда моделью для всего остального мира, представляется сегодня скорее исключением, чем правилом, то есть неким “девиантным маршрутом”»¹¹.

Симультантность современной социально-политической реальности преопределяет формирование «общества риска» как типа глобальной социаль-

ности, пришедшего на смену относительно стабильному миру технологического модерна¹², а «коммерциализация и глобализация организованного насилия размывает государственную монополию, неся за собой новые риски»¹³. Происходящие изменения социальных институтов и их функций позволяют Ульриху Беку настаивать на том, что «понятие риска стирает бывшее когда-то четким разграничением познаваемого и непознаваемого, истины и лжи, добра и зла. Единственная неделимая истина дробится на тысячи относительных истин, которые зависят от близости к риску и от серьезности опасности, исходящей от него... риск объединяет познаваемое и непознаваемое в одну смысловую вероятность»¹⁴. Такая ситуация видоизменяет иерархию традиционных ценностных приоритетов, в том числе, фиксировавшихся в политических институтах и солидарностях: приоритетом становится безопасность, вытесняя с лидирующих позиций свободу и равенство. «В эпоху, когда теряется вера в Бога, класс, нацию, правительство, осознаваемый и признаваемый глобальный характер угроз превращается в источник взаимосвязей, в поле которых вдруг плавают и изменяются константы и референции политического мира, казавшиеся прежде незыблемыми»¹⁵.

Поэтому гуманитарное знание в этой области вступает в интеллектуальное и политически-имплекативное противоречие с доминировавшей идеологией, во многом определяемой параметрами неоллиберального дискурса. Если, согласно последней, в современном мире происходят изменения, которые не обязательно подчиняются неким закономерностям и зависят от воли людей, а основной стратегией для развития незападных социокультурных образований является модернизация, под которой понимают часто направляемый выбором людей переход от традиционных форм бытия к современным, то гуманитарная наука фиксирует, что мировое развитие идет не к унификации культур, не к механическому повторению локального опыта Западной истории, а к культурному, социальному и политическому разнообразию. Существующий разброс мнений по поводу положительного или отрицательного воздействия традиций на современный мир опосредован не только гносеологическими, но и идеологическими предпочтениями авторов, однако общим знаменателем является признание необходимости совокупности культурных норм и ценностей, обеспечивающих существования общества. В онтологической проекции данный вопрос можно рассмотреть через призму соотношения универсализма и партикуляризма, во многом являющимся ключевым при определении политических нарративов и стратегий: гражданского общества, модернизации, глобализации, мультикультурализма, диалога цивилизаций, а также моделей миропорядка с определением центров социальной и политической силы. При этом в зависимости от исходного признания конфигурации взаимоотношения партикулярного и универсального выстраиваются конкретные политические проекции и практики.

Достаточно сложно сегодня говорить о построении универсальной теории, хотя и здесь можно зафиксировать противоречия: с одной стороны —

«универсальность выглядит ныне все более ограниченной на фоне рождения новой исторической формации науки, которая, впрочем, при всей своей новизне не может отказаться от многих универсалий, выработанных в “науке Запада” за последние столетия»¹⁶. Другой стороной выступает плюрализация действительности, индуцирующая проблематичность предложения универсально-применимой концептуальной схемы, упорядочивающего и объясняющего реальности исходя из единых принципов. «Плюрализм — реальность нынешней социокультурной жизни во всех ее проявлениях. В современном мире идей действительность предстает как некое множество, которое нельзя непротиворечиво упорядочить на основе общих правил и подходов»¹⁷. Не-универсальное восприятие плюрализма объясняется частично доминированием в нем горизонтальных связей и зависимости, в то время как с универсальностью связывается властная, всегда более приметная вертикальность¹⁸. Осознание в гуманитарной рефлексии плюрализации действительности порождает различные операциональные познавательные схемы и новые смыслы старых понятий, приспособляемых к необходимости объяснения качественно-нового состояния реальности и знания. Так, М. Хардт и А. Негри предлагают понятие и концепцию «множества» как для объяснения реальности, так и для анализа политической онтологии и феноменологии современности. Множество представляет собой внутренне разнообразный, сложный социальный субъект, строение и деятельность которого базируется не на идентичности или единстве (и тем более на отсутствии различий), а на том, что в нем есть общего, «множество — это плюральность, не поддающаяся упрощению; единичные социальные различия, присущие множеству, всегда должны находить свое выражение и не должны нивелироваться до состояния одинаковости, единства, общей идентичности или нейтральности»¹⁹. Данный подход к политической реальности позволяет исследователям сделать вывод об имманентно присущей множеству демократичности. Однако механизмом взаимоотношений и взаимодействий между множественными акторами является война как в онтологическом смысле Т. Гоббса, так и в прагматических смыслах гражданской войны.

С другой стороны, элиминация из концептуального осмысления плюралистической парадигмы предлагает иной ракурс рассмотрения заявленной проблемы, а именно, согласно мнению У. Бека, в основе дискурса, в том числе политического, о мировом рынке лежит негативная утопия. По мере включения в мировой рынок практически всех регионов и ниш происходит становление единого мира — но не как признания многообразия, взаимной открытости, т.е. плюралистически-космополитической природы представления о себе и других, а наоборот, как признания сущности современности как единого товарного мира. «В этом мире локальные культуры и идентичности утрачивают корни и заменяются символами товарного мира, взятыми из рекламного и имиджного дизайна мультинациональных концернов. Бытие становится **дизайном**, причем повсеместно»²⁰. Подобное

продуцирование универсальных культурных смыслов, определяющих человеческую сущность через его покупательную способность, в политической реальности приводит к противоречивым следствиям: возникает возможность объединяющих механизмов и выстраивания аналогичных политических и гражданских связей и алгоритмов; с другой стороны, это приводит к размыванию традиционных политических институций, а также к возникновению различных политических стратегий, основанных, прежде всего, на примордиальных интенциях. Невозможность «потребления» предлагаемых смыслов, разделение мира по возможности покупать «культурные продукты» имплицитно аффекает традиционные устойчивые социокультурные рефрены, зачастую в деструктивных формах. В гуманитарном знании для снятия данного парадокса предлагается парадигма локальности или транслокальности, позволяющая примирить оппозиционность универсальности и фрагментарности современности.

В подобном контексте методологически эффективным может рассматриваться принцип дополнительности В. Гейзенберга, перенесенный в область общественно-политических наук: «Одно и то же событие мы можем охватить с помощью двух различных способов рассмотрения. Оба способа взаимно исключают друг друга, но также дополняют друг друга, и лишь сопряжение двух противоречащих друг другу способов рассмотрения полностью исчерпывает наглядную суть явлений»²¹. Именно «эффект неожиданных результатов» в данной конфигурации познавательных процедур сможет принести плоды эффективной интерпретации качественно новых феноменов, применяя эвристический потенциал различных методологических подходов²², поскольку «при использовании принципа дополнительности появляется не просто объемное видение объекта исследования, но появляются новые логические цепи, формулы, теоремы и аксиомы, которые в отдельных традиционных областях науки не могли появиться»²³. Данный принцип также может быть методологически востребован при исследовании социокультурного многообразия²⁴. Именно принцип дополнительности призван ориентировать на раскрытие постоянного взаимовлияния культур, регулярного взаимодействия информацией, во многом предопределяя возможность современных политических диалоговых стратегий на различных уровнях социально-политического универсума. Принцип дополнительности также корректно сочетается с признанием плюральных оснований современных политических реалий, подвергая сомнению и пересмотру не только неолиберальную, но и любые иные «центричные» и экстремистские идеологии.

Проблема ухода «универсальности» из мышления, теоретических построений и объяснительных схем пересекается с уходом универсальных идеологий из политического процесса. Причем данная тенденция проявляется в двух ипостасях. С одной стороны — уход идеологий как таковых из политического пространства в качестве сознательного саморазвития политики, смыслообразующего и структурирующего политику вектора,

особенно в том ее понимании, которое предполагает ее рассмотрение как совокупности рационально выработанных идей. Идеология как набор рациональных идей дрейфует на периферию общественного сознания, а ее место занимают технологии. Как следствие политика может быть определена как социальный феномен, формирующийся в процессе перемещения явлений сознания в практическую плоскость. «Распределение и использование ресурсов в большей мере проявляются через символические средства» — и поэтому «прямое использование силы в политике невелико»²⁵. Символический характер принуждения обуславливает и социальные границы политического пространства. В условиях современности трансформация нормативно-символической сферы привела к тому, что главным системообразующим конструктом в матрице стал имидж, распространение и потребление которого становится условием гражданской идентификации и источником формирования подвижных политических общностей. Иначе говоря, люди обретают гражданский статус и политическую идентичность как потребители информации в виде имиджей (а также других рекламных продуктов): «идеологи уступают место технологам»²⁶.

С другой стороны — «мы находимся сегодня в конце “идеологизированной” истории, в конце той эпохи, на протяжении которой массам казалось, что они могут воплотить ту или иную глобальную идею. Поиск всеобъемлющей социологической парадигмы давно ушел в прошлое, а стремление к “цивилизованности” и “демократии” не заменяет и не заменит идей того масштаба, о которых писали Георг Гегель и Карл Маркс, — идей, которые люди пытались воплотить в жизнь на протяжении целых столетий»²⁷.

Эффективность и плодотворность обществоведческих изысканий во многом зависит от умения своевременно и адекватно реагировать на новые реалии, от постоянной готовности «переделывать теорию»²⁸. Более того, по мнению Э. Кульпина, подтверждающего критерий фальсифицируемости, «теория представляется научной постольку, поскольку она может быть опровергнута, а существенный элемент прогресса — доказательство неправильности той или иной теории»²⁹.

Особенно эвристический потенциал гуманитарного знания необходим в эпоху качественных трансформаций социального для объяснения и интерпретации возникающих явлений и процессов, однако сама суть гуманитарной интерпретации осложняет в данной ситуации познавательные процедуры. Во-первых, проблему возникновения новых понятий и новых граней смыслов традиционных понятий, столь остро стоящую сегодня перед социальным знанием, можно рассмотреть и как естественное запаздывание возникновения категорий гуманитарных дисциплин, поскольку концептуализация феномена происходит гораздо позже его возникновения и «именно с помощью апостериорного познания могут быть осознаны реальные взаимосвязи»³⁰. Однако апостериорность гуманитарного знания вступает в противоречие с постоянными и быстрыми изменениями, во многом начинающимися становиться фундаментальной характеристикой со-

временности. Данное противоречие ставит под сомнение инструментальность рационального знания, что дает основание Э. Тоффлеру сравнить современное знание с «чердаком тетушки Эмили», набитым устаревшими фактами, идеями, теориями и образами. «Ускоряя перемены, мы также ускоряем темпы, с которыми знание превращается в утиль. Если постоянно и безжалостно не обновлять опыт работы, он ставится менее ценным. Базы данных оказываются устаревшими уже в тот момент, когда мы заканчиваем их комплектование»³¹. Такая ситуация подвергает сомнению и традиционный инструментарий научного познания, долгое время бывший эвристически оправданным и позволявшим достигать как приращения знания, так и адекватности познавательных процедур, в конечном счете приводившим к концептуальным положениям, адекватно интерпретированным социально-политические процессы и феномены.

Сегодняшние трансформации и изменения в мире настолько многочисленны, быстротечны и всеобъемлющи, что даже «указатели поставлены на колеса и имеют дурную привычку исчезать из вида, прежде чем вы успеете прочитать то, что на них написано, осмыслить прочитанное и поступить соответственно»³². В социальном знании подобными указателями выступают понятия, определяющие предметные поля концептуальных построений, ибо «термин есть этикетка над явлением. Если этикетки перепутаны — то путаница в понимании является совершеннейшей неизбежностью»³³. Поэтому проблема референциальных значений основополагающих политических категорий, прежде всего универсалий, во многом определяет как направленность научного поиска, так и выработку конкретной политики, способной учитывать современные реалии³⁴.

Во-вторых, все понятия, отражающие социальную действительность, многозначны, их содержания вариативны и даже смыслы обладают широким спектром оттенков, зависящим и от уровня развития знания, и от мировоззренческих и гносеологических установок автора, и от потребностей науки, и от доминирующих идеологических и политических предпочтений и запросов. «Поэтому апостериорность познавательной позиции прокладывает себе путь социально опосредованным образом... При этом немаловажную роль играют идеологические мотивы... понятия как средство осознания и разрешения конфликтов»³⁵. Именно данное обстоятельство порождает ситуацию, когда конкуренция различных социальных групп и порождаемых ими идеологических и политических практик приводит к созданию наиболее удовлетворяющих ее запросов историй. Подобная субъективность исследователя объясняет «сегодняшнее сосуществование множества “историй” — и, по утверждению Поппера, среди них нет ни одной настоящей»³⁶.

В подобной ситуации «беспокойная» жизнь, которой живут понятия, отражая развитие науки и эволюцию общественных явлений, делается еще беспокойнее и неопределеннее. С одной стороны — устаревание традиционно действенных понятийных массивов в качественно новых условиях

социально-политической действительности, с другой — смещение исследований в сторону сиюминутных интерпретаций. Смыслы понятия начинают варьироваться не только у тех или иных авторов, но и в различных областях общественного сознания, в идеологиях и технологических манипуляциях. Наглядным примером служит понятие демократии, представляющее собой едва ли не основную несущую конструкцию политического метанарратива Модерна. Демократию, по мнению Джона Данна³⁷, можно рассматривать в трех фундаментальных проекциях — как понятие, как концепцию и как комплекс методик, претендующих на право называться словом «демократия» и воплощать эту концепцию. Возникнув в качестве понятия, обозначавшего способ политической организации общества, концепция демократии предполагала как нормативный аспект, так и инструментальную нагруженность. Однако сегодня «нет ни малейшего повода рассматривать демократию как политическую систему, обладающую неоспоримой ценностью и четким практическим содержанием»³⁸. Вместо ожидавшегося неуклонного расширения пространства либеральных демократий, в современном мире происходит умножение демократий «двух»³⁹, всевозможных гибридных режимов, сочетающих демократические и авторитарные практики и лишь имитирующих некоторые ее формальные институты, что, в совокупности с акцентацией социокультурной самобытности, неизменно выступает фактором социально-политической дестабилизации. Так, россияне не связывают успешную реализацию «модернизационного проекта» ни с идеей демократии, ни с дальнейшим развитием демократических институтов. В перечне идей, которые могли бы стать основополагающими для модернизационного прорыва, идея демократического обновления общества занимает последнее место с 7% голосов поддержки⁴⁰. Россияне, не имея ничего против демократии, базовых прав и свобод, скептически оценивают их инструментальный потенциал, возможность практического использования демократических принципов и институтов в обновлении страны, в обеспечении динамичного социально-экономического развития. Ценности демократии воспринимаются в качестве хоть и важных, но вторичных по отношению к ценностям социальной справедливости, общественного порядка и экономической эффективности. Всего 2% российских граждан утверждают «Россия — демократическая страна», 23% — скорее да, 75% — нет и скорее нет (2011 г.)⁴¹. Дискуссии по поводу эффективности прямого заимствования западноевропейского политического устройства имеют долгую историю, но, в любом случае, понимание политической модернизации созвучно идеологиям и практикам проекта Модерна. Можно констатировать, что идеология модернизации оказалась более устойчивой по сравнению с ее философско-методологическим фундаментом, что свидетельствует о ее адекватности основным императивам западной модели общества, поскольку идеология модернизации, а также основанные на ней политические практики связаны с просвещенческими нормативными смыслами. Именно данное обстоятельство предо-

пределяет монологичность классической концепции модернизации и основанных на ней политических практик⁴².

В данном контексте демократия становится так называемым «une terme vide»⁴³, «пустым понятием», характерным для символического политического дискурса постмодерна⁴⁴. Парадигма постмодерна⁴⁵ вообще отнесла демократию к разряду кочующих в общественном дискурсе глобальных спекулятивных категорий мировой политики, участвующих в формировании геополитического капитала западной культуры.

Такая же неопределенная ситуация и с понятием «глобализация», во многом обладающим пересекающимся предметным полем «глобальность». Являясь наименее определенными и ясными они находятся в четкой контрадикторности со своей общепринятостью. Предметные поля, описываемые данными понятиями, рискуют полностью утратить свои границы. Повсеместная применимость данных понятий, номинация этими понятиями вообще практически всех феноменов, относящихся к человеческому бытию, наделяет их все более и более размытыми смыслами. По мнению И.В. Следзевского, многозначность термина «глобализация» начинает размывать ясность его понятийного содержания и определенность самой идеи глобального мира⁴⁶. Согласно доводам М.А. Чешкова, «содержание рассматриваемого понятия становится настолько различным, что можно говорить о беспределности данного понятия, что, впрочем, еще более свойственно данному термину... Представление о глобализации стало все более многозначным»⁴⁷.

Как следствие, особое значение приобретает ответ на вопрос: как возможно эффективно использовать различные употребления традиционных понятий и соответствующих им интерпретативных схем для адекватного описания современных трансформаций, насколько видоизменяется — расширяется или сужается предметное поля понятий, задающих смыслообразующие познавательные координаты, в том числе и при познании политической реальности.

Постоянное воспроизводство в качестве социальных ориентиров давно реализованных, ««овещественных» ценностей обнаруживает фундаментальный кризис классической политической эпистемы Запада, строившейся на таких дихотомиях, как субъект-объект, цивилизованность-варварство, сознательное-бессознательное»⁴⁸. По мнению Георгия Дерлугьяна, опыт социальной науки XX века показывает непродуктивность постановки вопросов в абстрактной антиномии «или-или». «Одной логикой проблема не решается. Надо глубоко влезть в историческую эмпирику, покопаться в деталях, но при этом ни в коем случае не терять из виду общей картины... Для этого приходится регулярно возвращаться к теории, спорить с доказательствами в руках, а не с одними только эффектными фразами и ссылками на авторитеты...»⁴⁹.

Следуя логике И. Валлерстайна, «мы должны признать специфический характер произведенного Европой переустройства мира, ибо только в этом

случае мы сможем преодолеть его последствия и прийти к более универсалистской трактовке человеческих возможностей, к трактовке, в рамках которой можно будет не уклоняться от решения сложной и противоречивой проблемы соподчинения стремлений к истине и благу»⁵⁰. Неадекватность выстраивания в современных условиях всеобщих закономерностей в концептуальном пространстве и в политической реальности сквозь призму локального (западного) опыта проявляется и в противоречиях между политическим метанарративом Модерна и плюрализмом постмодерна. Последнее требует признания в качестве принципов организации знания и выстраивания объяснительно-интерпретативных схем следующих параметров:

- ключевая роль субъекта познания, формирующего свой объект, и его деятельности;
- принципиальная гетерогенность мира, его растущая сложность;
- принципиальная множественность моделей познания;
- «комплексы» как основная организующая единица научного знания;
- принципиальная несамодостаточность научной формы познания, которая становится продуктивной лишь в диалоге с другими его формами — ненаучными и вненаучными — от философии и теологии до образного и обыденного сознания⁵¹.

Подобный симбиоз научных и иных форм знания является ключевой посылкой знаменитой работы И. Валлерстайна «Конец знакомого мира», провозгласившей конец традиционной рациональности. «Стоящий перед нами вопрос заключается в том, является ли текущий момент каким-то особенным в свете постоянной конкуренции парадигм и их отражения в структурах знания? Я полагаю, что является. Но думаю также, что его особенности можно увидеть, лишь преодолев узкие специализации, выйдя за границы социологии и даже за пределы общественных наук. Я считаю, что мы переживаем момент, когда декартова схема, которая легитимизировала всю нашу университетскую систему и тем самым всю структуру специализаций, впервые с конца XVIII века серьезно ставится под сомнение. Мне кажется, что в ближайшие пятьдесят лет ее пересмотр приведет к масштабной институциональной реструктуризации. Пожалуй, пришла пора, когда нам всем следует обратиться к основным эпистемологическим вопросам, подлежащим обсуждению, — то есть отвлечься от наших узких специализаций в пользу проблем, волнующих всех ученых»⁵².

Современное знание, особенно в его глобальной проекции, не только включает в себя опытное (эмпирическое) знание, в том числе повседневный опыт человека, множество технологических разработок и научных направлений, но и обладает связывающей их в единое целое общей структурой. Атрибутами данной структуры выступают: наличие общих принципов, на основе которых выстраиваются релевантность значений и типизации объектов глобального знания; быстрое формирование общего пространства, в котором переплетаются и интегрируются различные области глобального знания; установление порядка, ранжирование в общей

системе значений сфер релевантностей глобального знания. Не случайно, принимая во внимание его новые параметры, И.В. Следзевский предлагает в качестве термина для его обозначения понятие «глобальное знание»⁵³.

Кризис методологических парадигм, в совокупности с фундаментальным противоречием современного глобального мира между формирующимся «обществом знания» (М. Кастельс) и потерей им сциентистского характера, девальвирует как научный инструментарий, долгое время бывший эвристически оправданным, так и критерии истинности. «Человечеству оказалось достаточно трех десятилетий, для того чтобы отношение к науке от восторженного сменилось на сдержанное, а система безусловных научных приоритетов фактически сократилась до двух: медицины и фармакологии»⁵⁴.

Одним из ключевых мыслительных инструментов теории познания является аналогия, причем его использование предполагает достаточную меру осторожности. При этом результат при корректно примененной аналогии способствует и вычленению закономерностей, и расширению границ познания. Однако в современных условиях, когда изменения в окружающем мире оборачивают старые сходства несходствами, «некогда закономерные сравнения уже не работают... чем быстрее происходят изменения, тем короче жизнь аналогий. Таким образом, изменение в одной глубинной основе — времени воздействует на базовый инструмент, заменяемый к другой, знанию»⁵⁵.

Проблема критериев истинности, стоящая в центре эпистемологии и теории познания, в условиях современной неопределенности также начинает требовать иного подхода, вследствие происходящих смещений. Э. Тоффлер предлагает шесть основных фильтров, которые используются для оценки достоверности: консенсус, непротиворечивость, авторитетность, откровение, долговечность и наука⁵⁶. Причем все эти фильтры применяются в политических стратегиях и во многом формируют политическое поведение населения. В зависимости от выбора варьируется и ответ на вопрос: «Во что люди верят?» — поиск ответа на который является приоритетным для политических аналитиков и маркетологов.

В данной классификации, консенсус представляется правдой леммигов, не предполагающей собственного мыслительного процесса, поскольку для следования за толпой этого не нужно. Непротиворечивость, основываясь на утверждении, что истинность факта подтверждается его непротиворечивостью другому факту, считающемуся истинным, позволяет выстроить различные схемы в политике и бизнесе, исключаяющие иное мнение. Авторитетность, чаще всего персонализированная, — экономическая, политическая, религиозная, медийная, — почти всегда основана на видимости, авторитете авторитета. Откровение представляет собой мистический акт и не допускает сомнения, а следовательно, — диверсификации и принятия плюрализма. Фильтр долговечности предполагает, что проверка истинности основана на возрасте самой истины, поэтому «новация» предполагает сомнительность истины. Наука представляется единст-

венным критерием, зависящим от четкой проверки, поскольку представляет собой процесс проверки идей, отвечающих требованиям: верификации, фальсификации, наблюдения и эксперимента. «Это делает науку единственным из шести фильтров, последовательно противостоящим любого рода фанатизму, — религиозному, политическому, националистическому, расистскому и так далее. Именно фанатичная убежденность порождает терроризм, преследования инакомыслящих, инквизицию, бомбистов-самоубийц и другие ужасы. Именно эту фанатичную убежденность наука вытесняет пониманием того факта, что даже наиболее признанные научные истины являются в лучшем случае неполными и преходящими, а следовательно, ненадежными»⁵⁷. Именно подобные качества науки позволили, по мнению Э. Тоффлера, сыграть фундаментальную роль в переходе от традиционного общества к современному, основанному на изменениях. Научную революцию включает в пятерку великих цивилизационных революций (*антропическую, сельскохозяйственную, урбанистическую, осевую (духовную), научную*) и японский профессор Ш. Ито, настаивая на посылке, что все культурные ареалы переживают «пять эпох глобальных трансформаций»⁵⁸.

Однако ключевой тенденцией сегодня являются отмеченные сдвиги в истинности, делающие неопределенным будущее политики и экономики. Различные политические, экономические, религиозные акторы абсолютизируют тот или иной «критерий-фильтр». Более того, культуры и общества обладают собственным «профилем доверчивости», основанным на предпочтительности определенных критериев. Именно выбор критерия истинности будет определять вектор политического, экономического и социокультурного развития общества.

Еще один аспект в изменении требования к достоверности знания и выдвигаемых на его основе интерпретаций, гипотез, теорий, представляется особенно интересным и значимым. Речь идет о все большем смещении от традиционных критериев в сторону экспертных оценок, которые во многом становятся критерием, определяющим истинность и достоверность знания. Доверие к экспертным мнениям становится первостепенным по важности условием достоверности знаний, особенно имеющих глобальные координаты анализа, выводов и прогнозов. «По тому, кто и как — от имени какого экспертного сообщества, в каком профессиональном антураже — создает это знание, судят прежде всего о его соответствии глобальным проблемам и его необходимой типизации. На доверии к экспертным мнениям в значительной мере строится и сам процесс формирования глобального знания, особенно в частных случаях пересечения его разнообразных проблемных областей и профессиональных компетенций»⁵⁹.

Одним из факторов и катализаторов, толкающих к необходимости переосмысления социально-политической субстанции современного мира, является акцентация социокультурной доминанты. Современные тенденции развития социально-политической реальности, которые в совокупно-

сти можно охарактеризовать как глобальный социально-политический и социокультурный сдвиг, потребовали видоизменения концептуально-понятийного поля и научного аппарата современных социально-политических теорий, требуя включения в анализ внешних, неэкономических факторов: культурных, цивилизационных, социальных и антропологических характеристик общества. Во многом именно социокультурная составляющая становится главной интенцией политических практик и дискуссий относительно видоизменения референтов понятий и смыслов социальности, а также параметров методологических схем и выбора критериев истинности как в осмыслении, так и в политических стратегиях.

Резкое обострение межнациональных и межкультурных конфликтов впервые в истории вызвано не агрессивностью ведущих военных держав мира и их борьбой между собой, а характером их локальных проблем, обретающим глобальную «размерность»⁶⁰. Весьма симптоматично, что в общественно-политических и научных дискуссиях правомерно проявляется интерес к исследованию роли социокультурных факторов, соотношению традиционных и современных цивилизационных ориентиров, связанных с глобальными процессами сегодняшнего дня. В политической практике это приводит к возникновению новых форм детерминации политического определения и политической субъектности, когда этническое или религиозное основание становится необходимым и достаточным условием для политических деяний. Речь идет не только о деструктивных формах, таких как экстремизм и терроризм, но и об алгоритмах публичной политики. Вектор развития европейской публичной политики «нация-государство», через свое отрицание, воспроизводится и в политических алгоритмах, приводящих к сецессии (Баски, Каталония, Падания, дискуссии в Бельгии, референдум в Судане). Причем смыслонаделяющим вектором и одновременно легитимирующим фактором выступают не референции «третьей волны», а плюральные основания социокультурного многообразия. При этом основной методологической проблемой выступает правомерность аффирмативности множества способов бытийности, а также квантификации и глубины различий, лежащих в основе данного множества. «В современных условиях культурных плюрализм носит статус онтологического плюрализма, означающего невозможность выработать интегрирующую форму, некую культурную усредненность»⁶¹, во многом иницируя поиски объяснительных конструкций применительно к социально-политическому контексту. Вызов «плюрализма» и актуализации различий выражается в мультиплицировании частных интересов и, как следствие, актуализирует необходимость поиска общего знаменателя для их согласования. Во многом результативность данного поиска зависит от выбора научных ориентиров и методологических подходов как в плоскости собственно гуманитарной рефлексии, так и в проекции социально-политических тенденций.

Включение социокультурной компоненты в интерпретацию политической реальности, рассмотрение социокультурного фактора как одного из

атрибутивных⁶² не только заставляет осмысливать современную политику в иных категориях, но и актуализирует новые методологические и идеологические построения и дискуссии. Существование в общественно-политических дискурсах многообразия интерпретаций и оценок, тем или иным образом затрагивающих социокультурные интенции, свидетельствует как об осознании нового качества политической ткани, так и о насущной потребности предложения адекватной объяснительной парадигмы. Явный разброс в суждениях и подходах свидетельствует о качественной новизне современной ситуации, высвечивая отмеченные методологические и эпистемологические трудности, а также практическую проблему нахождения своего места в новом, нестационарном мире, затрагивает все уровни человеческой организации: от личности до цивилизации, заставляя предпринимать попытки поиска оптимальных стратегий выживания в изменяющихся координатах. Таким образом, происходит инверсия политики и неполитических сфер общества, являющаяся одним из констатируемых трендов современных трансформаций.

С точки зрения инкорпорирования социокультурной составляющей в гносеологические схемы можно вычленил следующие ключевые тенденции глобального социально-политического развития: во-первых, всеохватность и комплексность изменений, трансформация всех параметров социальных структур. Процесс трансформации проникает во все микроструктуры общества, делая проницаемыми до того герметичные социальные образования. Во-вторых, раскрепощение «глубинных» (примордиальных) феноменов. Процесс интернационализации ценностей и ценностных ориентаций приводит к тому, что регулятивно-нормативная функция общества существенно трансформируется, и прежде подавлявшиеся гражданским обществом и несоциализировавшиеся «примордиальные» феномены занимают все более важное место в глобальных процессах и институтах. Третьей тенденцией выступает переход от современного к постсовременному типу рациональности с его акцентом на мозаичность и внутреннюю непривязанность восприятия и конструирования социальной реальности⁶³.

Признание трансформации в качестве основного принципа современности имплицитно признает глубину и качественность изменений знания как такового, критериев истинности, референтных значений универсалий, интерпретаций и понимания политики и смыслообразующих параметров социокультурного бытия. «Мы вступаем в период испытаний. Его последствия неопределенны. Мы не знаем, какой тип исторической системы придет на смену ныне существующему. Но мы наверняка знаем, что та своеобразная система, современниками которой мы являемся... не способна более функционировать»⁶⁴. Данные положения предопределяют поиск новых объяснительных схем политического процесса, а также нового познавательного инструментария, одним из ключевых отличий которого становится признание определяющей роли социокультурного фактора. Современные качественные трансформации социально-политической ре-

альности акцентировали проблемы переосмысления всего философско-политического метанарратива Модерна в русле кризиса традиционной методологии, изменения традиционных референтных значений понятий политико-гуманитарного дискурса, поисков нового познавательного инструментария. Размывание линейного смыслового континуума политических концептов свидетельствует о нелинейности их референтов, тогда как интерпретации последних имеют широкую вариативную шкалу, на крайних полюсах которой находятся традиционные понимания и требования современности, определившие включение в концептуальное поле политических теорий социокультурных и цивилизационных параметров.

¹ *Валлерстайн И.* Динамика (незавершенного) глобального кризиса: тридцать лет спустя // *UNION magazin*. 2009. № 1. С. 5.

² *Неклесса А.И.* A la carte // *Полис: Политические исследования*. 2001. № 3. С. 34.

³ *Бек У.* Инсценировка глобальных рисков // *UNION magazin*. 2009. № 1. С. 24.

⁴ См.: *Бек У.* Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. М., 2001. С. 45.

⁵ *Saul, J.R., Fidel, J.L.* Mort de la globalisation. Paris, 2007. Vol. I. P. 429.

⁶ *Rosenberg, J.* «Globalization Theory: A Post Mortem» // *International Politics*. 2005. № 42. P. 2–47.

⁷ *Тоффлер Э.* Третья волна. М., 1999. С. 34.

⁸ *Гегель Г.В.Ф.* История философии // *Гегель Г.В.Ф.* Сочинения. М.-Л., 1932. Т. IX. С. 40.

⁹ *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира // *Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева*. М., 2004. С. 220.

¹⁰ *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира // *Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева*. М., 2004. С. 247.

¹¹ *Хабермас Ю.* Против «воинствующего атеизма» «Постсекулярное» общество — что это такое? // www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuushego-ateizma.

¹² *Бек У.* Молчание слов и политическая динамика в глобальном обществе риска. М., 2001. С. 51.

¹³ *Avant D.* Market of Force: The Consequences of privatizing security. Cambridge, 2005. P. 326.

¹⁴ *Бек У.* Инсценировка глобальных рисков // *UNION magazin*. 2009. № 1. С. 19.

¹⁵ *Beck U.* La société du risque: sur la voie d'une autre modernité. Paris, 2004. P. 92.

¹⁶ *Чешков М.* Болезнь серьезнее, чем кажется // *Pro et Contra*. 2000. Т. 5. С. 199.

¹⁷ *Кирабаев Н.С.* Кризис современности и современные проблемы философской методологии // *Диалог цивилизаций и посткризисный мир / Под ред. Н.С. Кирабаева, Ю.М. Почты, В.Г. Иванова*. М., 2010. С. 12.

¹⁸ *Гречко П.К.* Диалог цивилизация: опыт онтометодологического осмысления // *Диалог цивилизаций и посткризисный мир / Под ред. Н.С. Кирабаева, Ю.М. Почты, В.Г. Иванова*. М., 2010. С. 115.

¹⁹ *Хардт М., Негри А.* Множество: война и демократия в эпоху империи / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2006. С. 135.

²⁰ *Бек У.* Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. М.: *Прогресс-Традиция*, 2001. С. 82.

²¹ *Гейзенберг В.* Физика и философия: часть и целое. М., 1989. С. 205–206.

²² Данный принцип плодотворно используется российскими учеными В.В. Лапкиным и В.И. Пантинным, сочетающими два на первый взгляд противоположных способа анализа российских и общемировых процессов: рассмотрение их как волнового развитие (волны Кондратьева, волны российской модернизации) и как поступательное развитие с переходами в качественно новые состояния.

²³ *Кульпин Э.* Бифуркация Запад — Восток: Введение в социоестественную историю. М., 1996. С. 96.

²⁴ Это было предложено еще великим физиком Нильсом Бором, когда в своей речи на Международном конгрессе по антропологии и этнологии в 1938 г., предостерегая от опасности не-

- дооценки культур разных обществ, он подчеркивал, что «разные человеческие культуры дополняют друг друга» (*Бор Н.* Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. С. 49).
- ²⁵ *Соловьев А.* Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. 2001. № 2. С. 5–6.
- ²⁶ См.: *Соловьев А.* Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. 2001. № 2. С. 18–19.
- ²⁷ *Белл Д.* Демократия и правда: великая дилемма нашего времени // Демократия и модернизация. К дискуссии о вызовах XXI века / Ред. В.Л. Иноземцев. М., 2010. С. 14.
- ²⁸ *Дерлугьян Г.* Идеальная эволюция столетия крайностей // Эксперт. 27.12.2010–16.02. 2011. № 1 [735]. С. 9.
- ²⁹ *Кульпин Э.* Бифуркация Запад — Восток: Введение в социоестественную историю. М., 1996. С. 28.
- ³⁰ *Лукач Д.* К онтологии общественного бытия. Прологомены. М., 1991. С. 371.
- ³¹ *Торфлер Э., Торфлер Х.* Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь. М., 2008. С. 167.
- ³² *Бауман З.* Глобализация. Последствия для общества и человека. М., 2004. С. 113–114.
- ³³ *Солоневич И.* Народная монархия. Минск, 1998. С. 124.
- ³⁴ В рамках историко-философской традиции проблема универсалий связывает в единый семантический узел такие фундаментальные философские проблемы, как: проблема соотношения единичного и общего, абстрактного и конкретного, взаимосвязи денотата понятия с его десигнатом, онтологического статуса идеального конструкта. В рамках любого из философских подходов понятие универсалии применимо к социально-политическим категориям, таким как: пространство, время, власть, государство, суверенитет, демократия, идентичность, религия, культура и т.д.
- ³⁵ *Лукач Д.* К онтологии общественного бытия. Прологомены. М., 1991. С. 371–372.
- ³⁶ *Нефедов С.* Постижение истории // Эксперт. 27.12.2010–16.01.2011. № 1 [735]. С. 17.
- ³⁷ См.: *Dunn J.* Setting the People Free. The Story of Democracy. N.-Y., 2005.
- ³⁸ *Данн Дж.* Демократия как фантом, мечта и реальность // Демократия и модернизация. К дискуссии о вызовах XXI века / Ред. В.Л. Иноземцев. М., 2010. С. 27.
- ³⁹ *Делягин М.Г.* Ценностный кризис: Почему формальная демократия не работает // Полис: Политические исследования. 2008. № 1. С. 109–121.
- ⁴⁰ См.: Готово ли российское общество к модернизации / Под ред. Горшкова М.К., Крумма Р., Тихоновой Н.Е. М., 2010.
- ⁴¹ См.: Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических замеров / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. М., 2011.
- ⁴² Во многом монолизм политических стратегий Просвещения — цивилизации, секуляризации, модернизации, либерализации и др. объясняется тем, что в основе их философских рациональных оснований и категорий лежат Абсолюты: Право вообще, Разум вообще и проч. Абсолютность в политическом контексте означает неразменность, несменяемость наверху иерархии ценностей независимо от смены ситуаций. В русле данной логики находится и концепция С. Хантингтона о волнах демократизации. Волна демократизации — это группа переходов от недемократических режимов к демократическим, происходящим в определенный период времени, и количество которых значительно превышает количество переходов в обратном направлении в данный период. К данной волне обычно относится также либерализация или частичная демократизация в тех политических системах, которые не становятся полностью демократическими (См.: *Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. С. 24).
- ⁴³ *Bernardi B.* La démocratie. Paris, 1999. P. 13.
- ⁴⁴ «Пустые понятия» суть понятия, не содержащие элементов объема: 1) в силу сложившихся обстоятельств или законов природы (фактически пустые понятия); 2) в силу логической противоречивости его содержания (логически пустые понятия). (*Войшивилло Е. К.* Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ. М., 1989. С. 45.)
- ⁴⁵ *Canet R.I., Duchastel J.* La nation en débat: entre modernité et postmodernité. Outremont, 2003. P. 101.
- ⁴⁶ *Следзевский И.В.* «Пограничье без границ». Глобальная неопределенность мира и ее отражение в знании и культуре // Социокультурное пограничье как феномен мировых и рос-

сийских трансформаций: Междисциплинарное исследование / Отв. ред. И.В. Следзевский, А.Н. Мосейко. М., 2008. С. 9–99.

⁴⁷ *Чешков М.А.* Двойная спираль глобализации (опыт теоретического конструирования реальности). М., 2007. С. 22.

⁴⁸ *Мартьянов В. С.* Постмодерн — реванш «проклятой стороны модерна» // Полис: Политические исследования. 2005. № 2. С. 147.

⁴⁹ *Дерлугьян Г.* Идейная эволюция столетия крайностей // Эксперт. 27.12.2010–16.02. 2011. № 1 [735]. С. 9.

⁵⁰ *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира // Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. М., 2004. С. 247.

⁵¹ *Чешков М.* Болезнь серьезнее, чем кажется // Pro et Contra. 2000. Т. 5. С. 201.

⁵² *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира // Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. М., 2004. С. 219.

⁵³ Об этом см.: *Следзевский И.В.* «Пограничье без границ». Глобальная неопределенность мира и ее отражение в знании и культуре // Социокультурное пограничье как феномен мировых и российских трансформаций: Междисциплинарное исследование / Отв. ред. И.В. Следзевский, А.Н. Мосейко. М., 2008. С. 31.

⁵⁴ *Водопьянова Е.* Концепция европейского исследовательского пространства как зеркало науки Старого Света // Свободная мысль. 2006. № 11–12 (1571). С. 17.

⁵⁵ *Тоффлер Э., Тоффлер Х.* Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь. М., 2008. С. 168.

⁵⁶ См. подробнее: *Тоффлер Э., Тоффлер Х.* Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь. М., 2008. С. 182–190.

⁵⁷ *Тоффлер Э., Тоффлер Х.* Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь. М., 2008. С. 187.

⁵⁸ *Ито Ш.* О диалоге цивилизаций и сферах межкультурных отношений // Синтез цивилизации и культуры. Международный альманах. М., 2003. С. 123.

⁵⁹ *Следзевский И.В.* «Пограничье без границ». Глобальная неопределенность мира и ее отражение в знании и культуре // Социокультурное пограничье как феномен мировых и российских трансформаций: Междисциплинарное исследование / Отв. ред. И.В. Следзевский, А.Н. Мосейко. М., 2008. С. 33.

⁶⁰ *Назарчук А. В.* Этика глобализирующегося общества. М., 2002. С. 125–148.

⁶¹ *Кирабаев Н.С.* Кризис современности и современные проблемы философской методологии // Диалог цивилизаций и посткризисный мир / Под ред. Н.С. Кирабаева, Ю.М. Почты, В.Г. Иванова. М., 2010. С. 13.

⁶² Так, например, недоучет социокультурного фактора, прежде всего религиозного, влияния религии на поступки политиков и рядовых граждан, — признается Мадлен Олбрайт в качестве одного из основных факторов неудач внешнеполитической стратегии США. Она настаивает на неразрывности связи политики и религии. Об этом см.: *Олбрайт М.* Религия и мировая политика. М., 2007.

⁶³ См.: *McGrew, A. G., Held, D.* Globalization theory: approaches and controversies. Cambridge, 2007. P. 273.

⁶⁴ *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира // Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. М., 2004. С. 103.

Политика как менеджмент
Проекты научного управления обществом
в западной политической мысли начала XX века

Во время трансформаций общества, затрагивающих его глубинные основы, становится особенно очевидной потребность в уточнении научного аппарата, с помощью которого описываются и объясняются социальные факты и процессы. Применительно к политической науке речь идет, в первую очередь, о переосмыслении базовых понятий — «политика» и «политическое». На протяжении XX в. мы можем весьма отчетливо наблюдать несколько волн подобного пересмотра, среди которых выделяются две особенно мощных. Первая приходится на начало века. Она связана с крушением традиционной картины мира вследствие вступления западноевропейского общества в эпоху мировых войн и революций, обладающих экономическими, политическими и социальными последствиями глобального масштаба. Вторая относится к 60–80-м гг. XX века — в этот период набрали силу тенденции, неумолимо влекущие человечество в постиндустриализм и утверждающие стандарты «информационного» общества. Скорее всего, справедливо говорить об очередном всплеске «ревизионной активности» на рубеже XX–XXI вв. — в пользу такого предположения свидетельствуют не прекращающиеся в наши дни дискуссии о том, что же следует понимать под политикой и насколько оправданным является использование термина «политическое».

Для того чтобы оценить современное состояние проблемы и выработать обоснованную позицию, необходимо обратиться к «истокам» — к началу двадцатого столетия, когда отчетливо заявили о себе те модели трактовки политики, которые во многом определяют политико-философский дискурс наших дней. Особое место среди них занимают сциентистски ориентированные подходы, которые в это время из мечтаний о разумном властелине окончательно превратились в проекты научного управления обществом и приобрели директивный характер. При этом важно отметить, что требования, содержащиеся в подобных теориях, были направлены как на познавательные процессы, так и на реальную политику. Кратко их суть можно сформулировать следующим образом: познание политики должно стать наукой, а сама политика — деятельностью в полном соответствии с наукой о политике. При этом под «наукой» (с небольшими отклонениями в различных моделях) понимался тот идеал познания, который был сформулирован в позитивизме XIX века.

Как известно, именно благодаря позитивизму укрепилось представление о науке как единственной легитимной форме познания, позволяющей

получить истинное знание о мире, и были выработаны нормативные стандарты, которым должна отвечать любая дисциплина, претендующая на статус научности. В качестве главных позиций программного характера выступали следующие требования:

(а) производить *достоверное* и *объективное* знание, что возможно лишь в том случае, если исследование строится на эмпирической основе, т.е. оперирует только фактами, установленными опытным путем, и устанавливает истинность утверждений на основе эмпирических процедур вне зависимости от субъективных оценок;

(б) содержать *абсолютно значимое* знание, для чего необходимо отбирать только те положения, истинность которых доказана, и объединять их в логически стройную, непротиворечивую систему;

(в) формулировать полученное знание в виде *общезначимых законов*, дающих релевантное объяснение процессам и явлениям предметной области исследования;

(г) обладать *прикладным характером и прогностической силой*, которые позволяют, опираясь на познанные законы объективной реальности, находить оптимальные решения конкретных практических проблем и выявлять тенденции дальнейшего развития.

Важно, что данная программа была универсальной — она распространялась как на естественные, так и на социальные дисциплины. Поскольку же на рубеже XIX–XX вв. обществознание со всей очевидностью отличалось от точных наук аморфностью и субъективизмом, приведение политического знания в соответствие с данными требованиями выступало в качестве важнейшей задачи для всех гуманитарных наук. Не было исключением и политическое познание, в котором первым шагом на данном пути стал отказ от обсуждения возможных вариантов совершенного правления и обращение к изучению тех процессов, которые реально протекают в обществе.

Согласно сциентистским подходам в политической мысли рубежа веков, только такая наука, — наука как рациональная форма фиксирования общезначимого знания, позволяющего эффективно решать теоретические и практические задачи, — могла и должна служить фундаментом политики. Соответственно, научная политика приобретала черты рациональности, общезначимости и эффективности, т.е., по сути, становилась социальным менеджментом. Безусловно, подобное понимание политики не было общепринятым в начале XX в., не является оно таковым и в наши дни. Однако нельзя игнорировать тот факт, что она опирается на солидную интеллектуальную традицию, которая сама по себе заслуживает специального рассмотрения. И прежде всего, нужно определить место данной традиции в общем дискурсе политики.

* * *

При анализе политической мысли можно принимать самые различные критерии классификации. В нашем случае релевантным представляется различение трактовок сущности политики в зависимости от того, на каком

подходе основывается объяснительная модель — «конфронтационном» или «консенсусном».

Первый связан с пониманием политики как борьбы за власть, которую ведут между собой относительно автономные социальные группы. Важно отметить, что в остальном теоретические положения и методологические принципы представленных в данном «пуле» концепций могут различаться, причем весьма существенно, — как, к примеру, теория групп интересов А. Бентли и теория политического К. Шмитта¹. Для нашего ракурса рассмотрения проблемы важно то, что все они усматривают сущность политики в социальном противостоянии, в результате которого интересы одной части общества оказываются доминирующими, подавляя или, в более мягкой версии, оттесняя на задний план интересы остальных.

В отличие от такой трактовки, «консенсусный» подход основывается на убеждении, что политика — это деятельность по защите общих интересов. Точности ради следует подчеркнуть, что и в данного рода теориях признается наличие межгрупповых противоречий и присутствует тезис о борьбе за власть, но главным специфицирующим признаком политики выступает стремление к общему благу, которое носит надгрупповой и надиндивидуальный характер. Представление о политике как менеджменте, т.е. поиске, разработке и реализации оптимальных способов решения социальных проблем в интересах всего общества, концептуально оформилось именно в рамках данного подхода.

В основе представления о политике как социальном управлении лежит тезис о наличии базисного социального консенсуса. Этот существенный тезис объединяет самые различные теории, хотя ответы на вопрос о том, как и почему возникает подобный консенсус, в них варьируются. Нелишне подчеркнуть, что практически каждое из решений проблемы укоренено в истории мысли и имеет очевидную перспективу в философско-политическом дискурсе наших дней. Не имея возможности проследивать историческую судьбу каждого из них, ограничимся «точечной» иллюстрацией, ни в коей мере не претендующей ни на исчерпывающий характер, ни на оптимальную репрезентативность.

Представляется, что среди наиболее «востребованных» версий почетное место занимают натуралистические (органические) и ценностно-культурологические объяснения фундамента социального единства. В натуралистическом подходе народ выступает как единый организм. Именно организмический характер сочленения отдельных индивидов и превращения их в совершенно автономную, неразрывную, «живую» целостность, обуславливает единство народа — и социальное, и духовное, и политическое. Важно также, что следствием подобной трактовки является абсолютная легитимизация требования лояльности к верховной власти. Объясняется необходимостью подчинения самой ее природой: правитель или правящая элита выступают как орган, выполняющий жизненно важные для «социального тела» функции, как часть, которую невозможно отделить от целого, не погубив его.

Если говорить о традиции данного подхода, то в качестве одного из ярчайших исторических свидетельств может служить образ, приведенный в

«Семи Партидах» Альфонсо X Кастильского: народ — это тело, а монарх — его голова, сердце и душа². Ту же идею, правда, в несколько скорректированном виде, можно встретить и в конце XIX — начале XX в., — к примеру, в биоорганицизме А. Шеффле, Р. Вормса или П.Ф. Лилиенфельда, или в школе «психологии народов» М. Лацаруса, Г. Штейнгаля или В. Вундта.

Причем наиболее близок к идее Альфонсо X биоорганицизм, поскольку в прямом, а не в метафорическом смысле считает общество организмом. В качестве такового общество является целостным образованием, не подлежащим расчленению ни в аналитических, ни в социально-политических целях. Его функционирование, подобно всему живому, подчинено биологическим законам, и может исследоваться только при помощи социальной анатомии и физиологии. Эти идеи Шеффле защищает в работе «Строение и жизнь социальных тел», где рассматривает общество как органическое единство, а социальные процессы — как обмен веществ. В свою очередь, Вормс и Лилиенфельд много рассуждают о социально-природных аналогиях, пытаясь определить жизненные задачи каждого из социальных институтов³. Интересно, что Лилиенфельд отводит правительству роль головного мозга, практически транслируя тезис кастильского монарха (правда, в «урезанном» виде — в отличие от «Семи Партид», у него в качестве сердца выступает биржа, а о душе речи не идет).

Иной облик натуралистическая идея приобретает у Вильгельма Вундта: его десятитомная «Психология народов» утверждает единство народа не на биологической, а на психологической основе⁴. В качестве целостности выступает надындивидуальное психическое образование — «народный дух», или «дух целого». Эта реальность едина, неделима, обладает автономным бытием и собственными законами жизненного развития. Важно, что «народный дух» носит организмический характер, поскольку является природной, а не социальной реальностью, и культура конкретного народа выступает лишь его «оболочкой», внешним проявлением. Все социальные и политические институты, согласно Вундту, имеют глубинные корни, лежащие в свойственной ему психической целостности. Данная целостность и служит и основанием возможности базового консенсуса в понимании общего блага, и принципом легитимации политики как деятельности по его достижению.

Что касается ценностно-культурологического подхода, то в качестве исторического примера можно сослаться на определение народа, данное Аврелием Августином в труде «О граде Божием». Согласно ему, народом следует считать «собрание разумной толпы», объединенной «общностью вещей, которые любит»⁵, т.е. совокупность людей, разделяющих общие ценности. Наличие этих ценностей и является фундаментом социального единства и основой базисного консенсуса. В начале XX в. мы можем видеть данную идею — в измененном практически до неузнаваемости виде — в учении о локальных культурах О. Шпенглера. По его мысли, специфика каждой культуры связана с определенными конституирующими ее ценностями, которые фиксируются в едином прасимволе. Задаваемые совокуп-

ностью ценностей («общностью вещей, которые любят», по Августину) целостность и внутреннее единство каждой отдельной культуры и ее же автономия от других культур — важнейшие тезисы, позволяющие «узнать» эту идею в шпенглеровской версии. Важно также подчеркнуть, что в теориях, объединяемых в рамках данного подхода, акцент ставится именно на *специфику* определенной социальной общности.

На другом полюсе находятся концепции *универсалистского* толка. В них также постулируется базовый социальный консенсус, но, в отличие от только что рассмотренных учений, основывается он не на принципе специфики, а на идее общности. В качестве фундамента общечеловеческого единства обычно выступает либо *универсальность объективных законов*, которым подчиняется социальное бытие, либо общность логических структур человеческого сознания, т.е. *универсальность рациональности*, единой для всех, обладающих разумом. Как правило, эти два основания находятся во взаимосвязи, и конкретные решения различаются тем, какой из них помещают в центр внимания.

Универсалистский консенсусный подход, собственно, и стал «колыбелью менеджеризма». Он позволил легитимировать политические решения, обосновав возможность как самих общезначимых решений, так и критериев того, какие именно решения являются правильными, положив в основу консенсуса intersубъективную инвариантность рациональности. Ведь если структуры разума и, соответственно, правила логической обработки эмпирического материала у всех людей одинаковы, то, имея одни и те же факты, рационально мыслящие индивиды должны прийти к единому выводу о том, какой из вариантов решения конкретной проблемы является наиболее эффективным, а значит, и оптимальным. В итоге в деле определения политического курса фокус перемещается в плоскость отработки релевантного инструментария — методов и приемов получения информации и обеспечения ее беспристрастного объективного анализа. Поиск же подобного инструментария незамедлительно приводит к модели науки, о которой шла речь выше.

Итак, научный подход к постижению политической жизни и к практике политического управления становится гарантом достижения реального консенсуса в ситуации выработки политического курса и принятия конкретных политических решений, поскольку он позволяет дать объективную оценку их рациональности и эффективности. С этой оценкой неизбежно должны согласиться все люди, независимо от их личных или групповых пристрастий, — просто постольку, поскольку они являются разумными существами и не могут не принять истинность суждений, доказанную строго научными методами. Именно это позволяет политике стать менеджментом — деятельностью по выработке оптимальных решений социальных проблем и их реализации на практике, легитимированной наукой и поэтому опирающейся на базовый социальный консенсус.

Но на рубеже XIX–XX вв. данная возможность представлялась едва ли не эфемерной, поскольку степень научности в познании политики оценивалась весьма и весьма невысоко. Однако это не лишало представителей сциентист-

ского крыла политических мыслителей оптимизма. Проблема превращалась в задачу: если науки о политике, которая могла бы стать основой политического правления и позволила рационализировать действия всех участников политического процесса, не существует — значит, ее необходимо создать.

В начале двадцатого столетия идея рационального управления обществом вдохновила многих мыслителей на создание новой науки о политике. В этой связи обычно (и по праву) вспоминают социологов — таких как Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Питирим Сорокин. В рамках настоящей статьи представляется интересным рассмотреть два проекта, не часто попадающих в сферу внимания исследователей. Их создатели — Гаэтано Моска и Чарльз Эдвард Мерриам, трудам которых «не повезло» в отечественном дискурсе — на русский язык они переведены лишь фрагментарно, а всестороннее изучение их наследия пока остается задачей на будущее. Оба автора преследуют одну и ту же цель и при этом существенным образом отличаются друг от друга: представитель древней европейской интеллектуальной традиции, идущей от Аристотеля через Полибия, Макиавелли и Монтескье⁶, — и один из отцов-основателей американской политической мысли; консерватор, убежденный противник демократии, — и яростный ее защитник, либерал; сторонник автономии политической науки, — и интегратор социального знания. Различия между ними действительно велики, и тем более примечательным является общность в трактовке политики как социального менеджмента.

* * *

Итальянский правовед и политик Гаэтано Моска предпринял одну из первых в Европе попыток привести политическое познание в соответствие с императивами сциентизма.

Науку о политике возможно создать потому, что «социальные явления не случайны по своей природе и не следствие сверхъестественной и всемогущей воли, а проистекают из постоянных психологических закономерностей, которые обуславливают действия человеческих масс» и присущи всем человеческим обществам⁷. Однако пока еще рано говорить о том, что изучение политики носит научный характер: «Политическая наука... еще даже не вступила в период подлинно научного развития... похоже, она еще не в состоянии предложить комплекс бесспорных истин, признанных всеми, кто посвящен в эту дисциплину, и еще в гораздо меньшей степени научным методом»⁸. Что же мешает политической науке «вывести представление о законах или постоянных тенденциях, которые определяют политическое устройство человеческого общества»⁹? Ответ Моски — умозрительные схемы, мифологические представления, суеверия и субъективизм. От всего этого, в полном соответствии с позитивистской эвристической программой, он требует освободить политическую науку и основанную на ней политическую деятельность. Методы исследования, настаивает Моска, должны иметь «наиболее объективный и универсальный характер» и стремиться «найти законы, с помощью которых объясняется существование всего на-

блюдаемого в мире разнообразия форм политического устройства»¹⁰. Политические исследования, по его убеждению, должны строиться на эмпирическом фундаменте, опираться на максимально возможное количество фактов, на основе которых следует формировать истинные суждения.

Такую характеристику политической науки, как универсальность, Моска подчеркивал особо. По его мнению, она достигается благодаря исключению всякой субъективности, — начиная от личных предпочтений ученого и заканчивая теми идеями, которые носят хронологический или структурно ограниченный характер, т.е. распространены в ту или иную эпоху или разделяются представителями отдельных национальностей или социальных групп. Именно наличие комплекса универсальных, не подвергаемых сомнению истин придает политическому познанию характер науки. «Наука, — писал он, — всегда является результатом системы наблюдений, проделанных в отношении явлений определенного рода благодаря специальным усилиям и с помощью соответствующих методов и обобщенных таким способом, чтобы можно было установить бесспорные истины...»¹¹

Достижение политическим познанием статуса науки — не самоцель. Результаты подобного исследования должны давать реальную картину политического процесса. В своем двухтомном труде «Основы политической науки», известном в английском переводе как «Правящий класс»¹², он определял политическую науку как исследование системы политической власти в обществе с целью определить устойчивые тенденции, определяющие ее устройство. Задача состоит прежде всего в анализе налично данной ситуации, а именно, в изучении состава, организации, способа формирования и потенциала того класса, который в данном конкретном обществе имеет политическую власть. Его, как известно, Моска называл «политическим классом», а более узкий слой, непосредственно ответственный за политическое управление, — «правлящим классом».

Концепция правящего класса относится к числу наиболее изученных элементов учения Моски, вошедших во все учебники политологии, поэтому нет необходимости еще раз на ней останавливаться детально. Целесообразно лишь подчеркнуть ряд важных для настоящей статьи аспектов.

Первый связан с оценкой роли рациональности в политике и связи рациональности и общего интереса, в частности. Правительство, с его точки зрения, — «наиболее интеллектуально возвышенная организация в стране, разум, способный подняться до понимания больших общих интересов и найти наилучший путь к их реализации»¹³. Таким образом, способность к организации и самоорганизации, которая выступает в качестве конституирующей основы элиты, напрямую связана с рациональной способностью выбирать наиболее эффективные управленческие решения, — т.е. с сознательным подчинением политической деятельности научно обоснованным принципам, и, конечно же, с ориентацией на использование открытых наукой законов политического поведения индивидов и масс.

Второй аспект — значение политической науки в деле достижения соци-

ального консенсуса. В работе «История политических доктрин» (1932), рассуждая об искусстве управления, Моска подчеркивал, что следствием применения истин и законов, открытых политической наукой, будет рациональное использование всех элементов общества, имеющих политическую ценность. Тем самым научная политика оказывается инструментом в руках правящей элиты, который позволяет обуздать эгоистические устремления индивидов и групп и объединить их ради общего блага в рамках институтов государства. Подобное управление основано на логике *эквилибра*, направленного на достижение согласия политических сил посредством сдержек и противовесов, а также использования различных политических технологий, в том числе и тех, которые апеллируют к иррациональным и бессознательным элементам психики представителей управляемого класса. В этой связи нельзя не упомянуть, что одним из наиболее эффективных инструментов Моска считал «политическую формулу», — ту юридическую и моральную базу, которая вырабатывается элитой с целью легитимации организации, структуры и характеристик власти в конкретном обществе. Именно политическая формула намечает важнейшие содержательные параметры базового социального консенсуса. Таким образом, универсальные законы политического поведения становятся средством примирения интересов различных групп и инструментом достижения единства общества.

Третий важный аспект касается связи науки и социального реформирования. Цель научного правления — совмещение «максимума порядка с максимумом свободы»¹⁴. «Люди из правительства», считал Моска, при разработке и принятии решений могут и должны руководствоваться «методами и результатами социальных наук, в особенности политической науки. И поскольку она учит осторожности в процедуре, осмотрительности в предположениях, придирчивости в оценке результатов, политическая наука — синоним умеренной политики, благожелательной к реформам, но постепенным, враждебной слишком внезапным и крутым переменам»¹⁵. Именно развитие политической науки, утверждал Моска, приведет к тому, что «будет найден способ неспешно трансформировать общество, не допуская упадка и избегая насильственных кризисов, которые часто сопровождают упадок»¹⁶. В соответствии с этим он отдавал предпочтение смешанным формам правления, полагая, что преобладание какой-то одной политической силы неизбежно ведет к деспотическому типу господства, независимо от того, монархического или республиканского он толка, — т.е. опирается ли он на суверенитет народа или на божественное право монарха на единоличную власть. Деспотический же тип не позволяет принимать эффективных решений, поскольку связан с блокированием процессов обновления элиты и, соответственно, с накоплением в правящем классе доли людей, объективно не обладающих качествами, необходимыми для управления, — способностью к рациональному мышлению и принятию эффективных решений.

И еще один важный аспект, о котором нельзя не упомянуть. Именно наука выступает «предохранителем», препятствующим деградации элиты,

поскольку ее непосредственная задача состоит в исследовании того, насколько данный конкретный класс в данном конкретном обществе способен выполнять управленческую функцию.

* * *

В США задача целенаправленного превращения политики в социальный менеджмент на основе систематического эмпирического изучения политических процессов впервые была поставлена Чикагской школой политических исследований. Ее основатель Чарльз Эдвард Мерриам попытался не только теоретически обосновать необходимость нового подхода к политике, но и реализовать эти принципы на практике. Впервые Мерриам выдвинул требование перехода к полезному, практически значимому политическому исследованию в 1921 г., выступая с докладом перед членами Американской ассоциации политической науки (ААПН), президентом которой он тогда являлся¹⁷. В целом это была программа сциентизации политического познания, согласно которой исследование должно стать наукой, но не самодостаточным познанием ради познания, а основой эффективного решения практических социальных вопросов. Достижение данной цели возможно только на основе «взаимного оплодотворения» политики и науки.

Обоснование такого подхода Мерриам обнародовал в работе «Новые аспекты политики» (1925)¹⁸. Он исходил из того, что политические процессы, как и природные, протекают в устойчивых формах, т.е. закономерны, упорядочены и воспроизводимы. Важно подчеркнуть, что в рамках данной аксиоматики центральное место отводится рациональности: она является обязательной составляющей человеческой природы и, в силу этого, определяет специфику социальных процессов, позволяет познать законы социальных взаимодействий и смоделировать такие политические институты, которые в наибольшей степени соответствовали бы требованиям данных законов. Итак, политические процессы протекают в неизменных формах, обусловленных природой индивида, и эти формы подлежат рациональному познанию и рациональному упорядочиванию. И именно поэтому возможны (и необходимы) не только политическая наука, но и научная политика, — выработка оптимальных решений и их наиболее эффективная реализация на основе познанных законов социально-политического взаимодействия. Эти законы, как полагал Ч. Мерриам, и призвана раскрыть политическая наука при помощи строгих методов, позволяющих получить эмпирически подтвержденные, репликативные результаты.

Что касается задачи придания политическим исследованиям научного характера, позволяющего «заменить мнение достоверными фактами и наблюдаемыми связями, а необоснованные верования — опытом»¹⁹, рецепты Мерриама соответствуют позитивистской программе. Политическое познание должно быть ориентировано на изучение реальности и получение истинного знания о ней, т.е. на определение механизмов и детерминант политических процессов. Необходимо обеспечить объективность и достоверность политических знаний, для чего необходимы беспристрастность научного исследова-

ния, соблюдение ценностного нейтралитета, исключение ценностного подхода и нормативного компонента при изучении политических феноменов.

Для этого, во-первых, необходимо освободить политическую теорию от идеологии и добиться того, чтобы политологи не обслуживали какие-либо социальные группы. Во-вторых, следует ввести в политическое исследование строгие методы (в первую очередь, статистические), перейти к более точному измерению фактов и на этой основе обеспечить максимально полный сбор политической информации. Настаивая на эмпирико-экспериментальном характере политологического инструментария, Мерриам предлагал широко использовать наблюдение, описание и метод эксперимента с помощью контролируемых политических групп. Идущие в политике процессы, утверждал он, «можно подвергнуть предельно тщательному наблюдению с целью регистрации касающихся их наиболее важных фактов, что и может составить основу политической мудрости, как и науки о политике»²⁰. В-третьих, нужно «наилучшим образом усвоить и использовать все то, что внесли в современные мышление и практику другие науки»²¹ — новизну предлагаемого подхода к политическим исследованиям Мерриам видел в междисциплинарности, в объединении усилий гуманитарных и естественных наук.

Все это выведет политическую науку на принципиально иной уровень. «То, к чему мы на самом деле стремимся, — писал Мерриам, — это понимание политических следствий и тропизмов, познание основополагающих политических традиций, свойств и нравов человечества, их действий и противодействий, их соотношения с группами и ситуациями, из которых они проистекают и которые их определенным образом обуславливают. Такой анализ, если его успешно осуществить, может обеспечить глубокое знание политического процесса и его принципиальных основ, знание, каким мы еще не обладали»²².

Полученное таким образом знание позволит выявить детерминанты политики, изучить механизмы властвования и подчинения, установить зависимость политических действий от биологических и социальных факторов (инстинктов, эмоций, интересов, ценностей, «основных привычек, черт, предрасположенностей индивидов, от которых зависит политическое действие...»²³) и научиться влиять на политическое поведение индивидов и масс. Осуществление этой программы, по мнению Мерриама, должно привести к высвобождению политических возможностей в человеческой природе, минимизации негативных последствий политических действий и оптимизации жизни общества.

Мерриам был исполнен энтузиазма в отношении перспектив такого подхода и рисовал впечатляющие картины того, как научная политика «будет создавать и контролировать обычаи», «использовать механизмы воспитания и еврики в целях политической и социальной организации и контроля»²⁴. «Можно, — пишет он, к примеру, — проанализировать типы консерватора и радикала и, осмелюсь сказать, даже воспитать нужное количество тех или других с помощью соответствующего обращения и воздействия, — физического, психического или экономического»²⁵. Одним словом, только исследо-

вав и поняв человеческую природу, возможно будет путем «разумного регулирования и применения научных категорий ко все более важным силам социального и политического контроля»²⁶ добиться превращения политики в рациональное и эффективное управление обществом.

Как можно видеть, в этом случае перед нами также сочетание идей научной рациональности и политической управляемости при достижении общего блага. Необходимо подчеркнуть, что Мерриам — яркий представитель консенсусной парадигмы. Он убежден, что в основе политики лежит фундаментальное социальное согласие. Это согласие возникает по двум причинам. Первая из них связана с функциональной необходимостью: социум появляется только тогда, когда разрозненность индивидов сменяется их общностью, которая носит целостный характер. А эта целостность невозможна без базового консенсуса — ведь при его отсутствии невозможны ни распределение ресурсов, ни управление. Вторая причина носит психологический характер. В природе человека заложена склонность как к управлению, так и к подчинению, она выражена в различной степени у разных индивидов, однако в целом образуется баланс между теми, кто стремится к власти, и теми, кто готов признать их волю. Данный баланс и лежит в основе фундаментального согласия. В силу указанных причин, полагал Мерриам, и становится возможным не только оптимальное распределение социальных ролей, но и создание формальных и неформальных структур, через которые реализуется власть.

Понимание власти как основы социальной интеграции неизбежно актуализирует проблему баланса интересов, причем не только в теоретическом, но и в сугубо практическом плане. Политическая наука, по Мерриаму, не только изучает условия консенсуса и пути его формирования. Она разрабатывает модели легитимации власти и определяет, предлагает эффективные способы воздействия, позволяющие добиться поддержки политики государства со стороны населения²⁷. Прикладная роль политических исследований, собственно, и заключается в целенаправленном формировании гражданской позиции и в детальной разработке механизмов управления.

К разработке основ политического менеджмента Мерриам относится с повышенным вниманием, изучая вопросы организации и планирования управленческой деятельности, методов принятия решений и их реализации, распределения ресурсов, отбора персонала и пр. Особенно важным представлялось ему исследование механизмов «кризисного» управления, с помощью которых можно было бы предотвратить случаи гражданского неповиновения и эффективно разрешить конфликты в том случае, если подобная ситуация все же возникла²⁸.

Задачу обеспечения поддержки государственной политики со стороны граждан Мерриам также ставил и в теоретическом, и в практическом плане. В теоретическом аспекте данную задачу следовало решать на основе данных анализа политических предпочтений избирателей и принципов легитимации власти (этому были посвящены исследования Чикагской шко-

лы), в практическом — путем стимулирования политической активности населения при помощи системы гражданского воспитания²⁹.

Внедрение в реальную политику научных основ должно привести к раскрытию творческих возможностей человека и, в конечном счете, к установлению нового типа политических отношений, при которых можно будет «смягчить ужасы войны, избежать разрушительных революций, свести к минимуму потери от разорительных межгрупповых конфликтов, реализовать потенциальные возможности сотрудничества и человеческого созидания»³⁰. Политика же окончательно превратится в управление, причем контроль за направлением политического курса будет осуществляться большинством членов общества в соответствии с определенными процедурами. Именно такую систему политической организации Мерриам и считал подлинной демократией. Только политическая наука способна вооружить и политиков, и рядовых граждан строго обоснованными, достоверными, прикладными знаниями, которые позволят решить эти задачи.

* * *

Несмотря на различия, обе теории, — Моски и Мерриама, — едины в понимании того, что политика должна быть социальной инженерией, в основание которой положена позитивная наука, т.е. служить рациональным проектом управления обществом. Разработка данной идеи, связанная как с дальнейшей детализацией, так и с парированием критических выпадов со стороны оппонентов, стала одним из важнейших стимулов развития политической теории XX века. К середине столетия отчетливо стала проявляться диверсификация подходов. Не имея возможности в рамках настоящей статьи проводить их анализ, ограничимся указанием на несколько значимых трендов.

Во-первых, в контексте анализа поведения политических акторов и решения проблемы создания оптимальных политических институтов развивался экономический подход и происходило уточнение понятия рациональности и исследование принципов рационального принятия решений. Среди наиболее ярких направлений можно указать на теорию рационального выбора и соприродную ей в философском плане либеральную философию Дж. Ролза.

Во-вторых, на гребне технократической волны сформировался «менеджеризм» — причем и как научное направление, и как идеология. Он сочленен с представлением о гибели идеологий и принятием принципа деидеологизации, которые обусловлены универсальностью технологий и наличием неоспоримых критериев оптимальности принимаемых решений. Результатом стало новое представление о политическом классе — меритократическая идея технотружничества, объединяющей знание и власть.

В-третьих, при развитии идеи базисного социального согласия в центре внимания находилась задача обоснования возможностей социальной инженерии и (как своего рода «реверс») обозначения пределов допустимого при воздействии на индивида и массы. В связи с этим надо особо выделить проработку темы общечеловеческих ценностей и универсально зна-

чимых прав человека как легитимирующих оснований консенсусного подхода в политике. Это нашло проявление, в частности, в теории и практике мультикультурализма, принципиальная возможность которого виделась именно в наличии универсальной ценностной «рамки», в границах которой возможно разнообразие социальных практик. Аналогичная идея лежала и в основе разработки теорий гражданского общества, в которых плюрализм в частной сфере сочетался с принципом общезначимости права. Что же касается «оборотной стороны», то упоминания заслуживает критический анализ теории и практики политического манипулирования.

И наконец, нельзя не сказать о подлинном расцвете теорий демократии, которые на протяжении всего столетия пытались различными способами обосновать идею утраты государством характера аппарата подавления и реконцептуализировать в качестве гаранта общего блага и представителя интереса всех граждан. Как правило, решение данной задачи лежало именно в том ключе, который был выбран в качестве темы данной статьи, — в трактовке политики как менеджмента и в переводе политического действия в плоскость административного решения. Таким образом, в качестве основополагающей консенсусной стратегии выступал подход, усматривающий основную задачу в совершенствовании технологии правления, — например, в необходимости более полного учета интересов и позиций меньшинства или в отработке алгоритмов выбора оптимального, т.е. наиболее эффективного, решения.

Как мы видели, все эти сюжеты были намечены в начале XX века, в том числе в теориях Г. Моски и Ч. Мерриам. Безусловно, значительный научный интерес представляет рассмотрение того, к чему, — и в теории, и на практике — привело стремление превратить политику в научное управление обществом. Данная тема заслуживает специального исследования и ждет своих разработчиков.

¹ См.: *Бентли А.* Процесс государственного управления. Изучение общественных давлений. М., 2012; *Шмидт К.* Понятие политического. М., 2012.

² *Las Siete Partidas*. II.1.7. — Цит. по: *Мареу А.* Понятия «власть» и «народ» в интеллектуальной традиции средневековой Кастилии // *Ergo Journal*. [www.ergojournal.ru/?p=1372]. Всеобъемлющая кодификация права, получившая название «Семь Партид», была составлена в 1256–1263 гг. и многие века служила источником права в испаноязычных государствах. См. также: Семь Партид короля Альфонсо X Мудрого // *Древнее право*. Ivs antiquvum. 2005. № 1 (15); № 2 (16).

³ См.: *Schäffle A.* Bau und Leben des sozialen Körpers. Bd 1–4. Tübingen, 1873; *Вормс Р.* Общественный организм. СПб., 1897; *Вормс Р.* Биологические принципы в социальной эволюции. Киев, 1913; *Lilienfeld P.* Zur Verteidigung der organischen Methode in der Soziologie. Mitau, 1898; *П.Л.* Мысли о социальной науке будущего. СПб., 1872. Т. 1. (Лилиенфельд П.Ф. издал данную работу под псевдонимом П.Л.).

⁴ *Wundt W.* Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Bd. 1–10. Leipzig, 1900–1920. На рус. яз. см.: *Вундт В.* Проблемы психологии народов. М., 2010.

⁵ *Августин Аврелий.* О граде Божием. XIX, 24. — Цит. по: *Августин Аврелий (Блаженный).* Творения. О граде Божием. СПб.; Киев, 1998. Кн. XIV–XXII. С. 365.

⁶ См.: *Рахимир П.Ю.* Идеи и люди. Политическая мысль первой половины XX века. Пермь, 2001. С. 5–39.

⁷ *Моска Г.* Метод в политической науке // *Личность. Культура. Общество*. 2001. Т. 3. № 3. С. 149.

⁸ Моска Г. Метод в политической науке // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. 3. № 3. С. 154.

⁹ Моска Г. Метод в политической науке // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. 3. № 3. С. 154.

¹⁰ Моска Г. Метод в политической науке // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. 3. № 3. С. 155.

¹¹ Моска Г. Метод в политической науке // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. 3. № 3. С. 152.

¹² Mosca G. Elementi di scienza politica. V. 1–2. Roma, 1896 (впоследствии труд неоднократно переиздавался); Mosca G. The Ruling Class. N.-Y., 1939. На русском языке публиковались фрагменты текста. См.: Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. 1994. № 10, 12; Моска Г. Элементы политической науки // Социологические исследования. 1995. № 4; Моска Г. Метод в политической науке // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. 3. № 3.

¹³ Mosca G. Teorica dei governi e del governo parlamentare. Milano, 1968. — Цит. по: Рахимур П.Ю. Идеи и люди. Политическая мысль первой половины XX века. Пермь: ЗУИЭП, 2011. С. 13–14.

¹⁴ Цит. по: Рахимур П.Ю. Идеи и люди. Политическая мысль первой половины XX века. Пермь: ЗУИЭП, 2011. С. 35.

¹⁵ Цит. по: Рахимур П.Ю. Идеи и люди. Политическая мысль первой половины XX века. Пермь: ЗУИЭП, 2011. С. 16.

¹⁶ Цит. по: Рахимур П.Ю. Идеи и люди. Политическая мысль первой половины XX века. Пермь: ЗУИЭП, 2011. С. 24.

¹⁷ См.: Merriam C.E. The Present State of the Study of Politics // American Political Science Review. 1921. Vol. 15.

¹⁸ Merriam C.E. New Aspects of Politics. Chicago, 1925. Ряд фрагментов данной работы был опубликован на русском языке (см.: Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5; Мерриам Ч. Новые аспекты политики / Пер. Т.Н. Самсоновой // Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. 2: Зарубежная политическая мысль. XX в.).

¹⁹ Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5. С. 181.

²⁰ Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5. С. 170.

²¹ Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5. С. 164.

²² Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5. С. 176–177.

²³ Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5. С. 171.

²⁴ Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5. С. 181.

²⁵ Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5. С. 176.

²⁶ Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5. С. 166.

²⁷ В связи с этим следует особо подчеркнуть, что для Мерриам задачи научного управления и обеспечения политической лояльности тесно взаимосвязаны. Об этом свидетельствует, к примеру, тот факт, что в работе «Гражданское образование в Соединенных Штатах» (1934) он, через запятую перечисляя самое существенное для их решения, указывает на важность «пропаганды, организации масс и манипулирования ими, выработки системы символов, самого процесса обучения гражданственности» (Merriam C.E. Civic Education in the United States. N.-Y., 1934. P. 125).

²⁸ Перевод решения данной задачи в практическую плоскость был связан с совершенствованием работы органов государственной власти, и Мерриам, работая в Комитете Браунлоу (Committee on Administrative Management), много сил посвятил разработке конкретных рекомендаций, нацеленных на повышение уровня компетентности госслужащих. Задачей этой структуры, учрежденной в 1936 г., была выработка рекомендаций для институтов исполнительной власти. Руководил комитетом Луис Браунлоу (1879–1963).

²⁹ И в этой связи нельзя не упомянуть тот факт, что в 20-х гг. Мерриам разработал и осуществил в Чикагском университете проект «Становление граждан» («The making of citizens»), результаты которого позже он обобщил в ряде книг. См.: Merriam C.E. The making of citizens: A comparative study of methods of civic training. Chicago, 1931; Merriam C.E. Civic education in the United States. N.-Y., 1934.

³⁰ Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 5. С. 180.

Борьба идей в политической истории второй половины
XX века: концепция конца идеологии и ее роль
в идейно-политическом противостоянии коммунизма
и атлантизма в эпоху холодной войны

Понятие идеологии первоначально имело отчасти негативный смысл: так, Наполеон говорил об «идеологах» как о доктринерах, то есть философах, оторванных от реальной политической жизни и рассуждающих о политике с высоты теоретических концепций; критикующих реальный политический порядок исходя из своих догм, которые, по мнению реального политика, являются не более чем предубеждениями¹. С развитием политического представительства и партий с их доктринами и программами идеологии приобрели большую политическую силу. «Идеология, — пишет один из авторов Итальянской энциклопедии XX века, — представляет собой систему абсолютно серьезную, более того, научную. Она исходит из реальности, хотя и интерпретирует ее с фантазией; не ограничиваясь зарисовкой всеобщего идеала, указывает стратегию для его достижения, формулируя определенную цель, возможно далекую, но в принципе достижимую. Истина состоит в том, что идеология есть мотор для действия: действия, защищающего существующий порядок, но куда как чаще призванного его разрушить, заменив каким-либо другим. Именно эта энергия делает идеологию политической силой: этот призыв к обществу будущего, содержащийся в каждой идеологии, всегда имеет политическое содержание»². Следуя такому пониманию идеологии, нельзя не согласиться с утверждением о том, что идеологии будут существовать, покуда существует общество и политика: так, Норберто Боббио в работе «Правые и левые» (1994) сказал: «...Идеологии отнюдь не исчезли, более того, они живы как никогда. На смену идеологиям прошлого пришли другие — новые или претендующие называться новыми. Древо идеологий всегда зелено»³. Однако были в истории западной политической мысли времена, когда некоторые ученые полагали, что время идеологий прошло, и «надобность» в них отпала. В 50-е и до конца 60-х годов XX века такие теории были достаточно распространены и влиятельны в политической мысли, — так же, как и в 90-е годы XX века многие ученые и политические мыслители оказались под сильным влиянием концепции «конца истории» Френсиса Фукуямы⁴. Тогда, как и в 50-х годах, многим казалось, что идеологии *теперь* (и в дальнейшем) более востребованы не будут...

Спустя около десяти лет после окончания Второй мировой войны в западноевропейском и прежде всего в англосаксонском интеллектуальном

мире приобрела влияние концепция деидеологизации индустриального общества и конца идеологий, ставшая, собственно, одним (если не наиболее влиятельным, во всяком случае в 50-е и 60-е годы XX века) из идеологических направлений, то есть опять-таки *идеологией* некоторых партий и политиков прежде всего англосаксонского мира, в основном правоконсервативной политической ориентации. Среди американских ученых (прежде всего представителей политической теории и политической философии), разрабатывающих и обосновывающих концепцию конца идеологии, — Даниэл Белл (сборник эссе «Конец идеологии: Об иссякании политических идей в 50-е годы»⁵, 1960 г.), Сеймур Мартин Липсет (книга «Политический человек», 1960 г.), Эдвард Шилз (статья «Конец идеологии?», 1955 г.), Збигнев Бжезинский (книга «Идеология и власть в советской политике», 1962 г.), Генри Стюарт Хьюз (статья «Конец политической идеологии», 1951 г.). К *деидеологическому движению* принадлежали и некоторые западноевропейские политические мыслители, такие как Ральф Дарендорф, Реймон Арон, Эрнст Фишер, Лешек Колаковски, Эрнст Тоич и другие. Своего рода завершением и оформлением дискуссий о конце идеологии (или во мн.ч. — *идеологий*) стал сборник «Дебаты о конце идеологии», вышедший в 1968 г. в Нью-Йорке⁶. Основным рефреном этой книги является *догмат* о «внеидеологичности» (или даже об «антиидеологичности») так называемого «государства всеобщего благосостояния», — убеждение, разделяемое всеми учеными, влившимися в движение «конца идеологии».

Общий смысл, или девиз «движения за деидеологизацию», выражен Д. Беллом в вышеназванной работе 1960 г.: «Сегодня среди интеллигенции в общих чертах достигнуто некоторое согласие: получили признание государство всеобщего благоденствия, желательность децентрализации власти, смешанная экономика и политический плюрализм. В этом смысле идеологическая эпоха закончилась»⁷. С.М. Липсет еще более категоричен в своей убежденности в том, что эпоха идеологий закончилась, время красных флагов и парадов прошло; и, предрекая завершение политической деятельности «идеологизированных» интеллектуалов, в вышеназванной работе утверждает, что теперь в западном мире «решены коренные проблемы индустриальной революции: рабочие достигли полного гражданства в производственной и политической жизни, консерваторов перестало отталкивать государство благосостояния; демократическая левая признала, что безудержный рост государственной мощи скорее наносит ущерб свободе, чем способствует решению экономических задач. И это торжество демократической социальной революции на Западе означает конец политической деятельности для тех интеллектуалов, которые воодушевились идеологическими и политическими мотивами»⁸. Общество перестает нуждаться в интеллектуалах (политически активных представителях культуры) и требует их замены *экспертами*, не вмешивающихся в политику. Либерализм и социализм перестают быть «оппонентами», соединившись на уровне практики в Welfare State, а на уровне доктрины — в теориях постиндустриального общества; для идеоло-

гии как секулярной религии (Арон) более нет ни оснований, ни предмета веры, ибо то, во что верили, — всеобщее благосостояние, — снизошло на землю и воплотилось на Западе. Если у постиндустриального общества и остались проблемы, — то исключительно технического рода, и привлечение к их решению столь «неуместного» *инструмента*, как идеологии, и столь неудобных для новой политики *акторов*, как интеллектуалы, — по меньшей мере нелепо; артефакты идеологической эпохи должны занять почетное место в музеях, соответствующие идеи — стать предметом заботы историков политических идей, концепций и доктрин, а интеллектуалы обречены постепенно *исчезнуть*.

Истоки концепций, обосновывавших необходимость деидеологизации или констатировавших ее как состоявшийся факт, восходят к Конту и его теории позитивной стадии, приходящей на смену метафизической, но непосредственную опору имеют в концепциях Карла Манхейма и Карла Поппера. Работа Карла Манхейма 1929 года «Идеология и утопия» подвергает идеологии критике (и равным образом утопии, как будущие идеологии, то есть системно и научно разработанные утопии) на том основании, что они «выдают часть за целое», позиционируя свое содержание как абсолютную истину. Интерпретации, таким образом, придается глобальный характер и принудительная сила для реализации ее интенций (собственно, партии придают им эту силу: Манхейм убежден, и с полным на то основанием, что все влиятельные идеологии партийны).

В 30-е годы работал над проблемой тоталитарных идеологий и Карл Поппер. Результатом его исследований стали два важнейших труда — «Нищета историцизма» (1944) и «Открытое общество и его враги» (1945), послужившие интеллектуальной базой для критики идеологий. Главная опасность идеологий — это их «интеллектуальная тотальность», ведущая к политической тоталитарности. Идеологии — проекты глобальные, их цели — не улучшение чего-либо в обществе, но создание совершенного общества, достижение идеала, вызывающего надежды, но не имеющего отношения к какой-либо конкретике. Глобальная цель — и в этом все тоталитарные идеологии одинаковы — вполне позволяет прибегать к любым средствам ради достижения идеала. Поппер *требует* отказа от холистических проектов. Безусловно, теоретические построения Поппера были во многом ангажированными, а ряд суждений — предвзятыми: так, нельзя не согласиться с И.А. Гобозовым, определяющим тоталитаризм как «идеологический миф» и утверждающим, что Поппер «сочинил понятие тоталитаризма и, отталкиваясь от него, конструирует на свой лад социальную действительность. Ему надо доказать “гуманность открытого общества” и “тоталитарность закрытого общества”, под которым он подразумевает фашизм в Германии и советский строй»⁹.

Концепции, объединенные призывами к деидеологизации, вызваны во многом реакцией на события Второй мировой войны. При всей их ценности в отношении исследования сущности и роли идеологий, многие из

этих работ излишне ригористичны, а некоторые выдают желаемое за действительное. Все это направление в целом имеет определенные черты идеологии: так, Аласдер Макинтайр удачно называл эту парадигму «идеологией конца идеологий», а канадский философ Роберт Алан Хабер в статье «Конец идеологии как идеология» (1966) разоблачил сугубо идеологическую направленность концепций «идеологов конца идеологии»¹⁰. Однако эта идеологичность не случайна: как известно, проблема сущности и роли идеологии и ее решение в виде тезиса о конце (закате, затухании, умирании, в самом мягком варианте — утрате влияния) идеологий являлось ответом на усиление влияния коммунистических партий и лавинообразное распространение марксистских идей в послевоенной Западной Европе. Отсюда явная (декларируемая) и неявная направленность теоретического движения деидеологизации против марксизма и компартий, провозглашение «кризиса марксизма» и соответственно «расцвета теорий либеральной демократии»; отсюда же и стремление представить марксизм как догматическую систему, совершенно лишённую научности; как одну из идеологий, потерявших силу. С другой стороны, приверженцы теорий «конца идеологии» стремились показать идеологии как своего рода мифологические системы, время которых прошло: «Существенной характеристикой концепции “деидеологизации” служит отрицание научного статуса идеологии. Строго говоря, Белл, Липсет, Бжезинский и другие не приводят каких-либо доказательств, способных поставить под сомнение научный характер марксизма. Они предпочитают оставить в стороне, “снять” сам вопрос об отношении идеологии к научному познанию общества... В откровенно позитивистском духе они сводят проблему идеологии лишь к выяснению механизма ее функционирования и результирующему эффекту, пребывая по ту сторону вопроса о ее сущности, научном статусе, соотношении идей с действительностью»¹¹. По сути дела, теоретики деидеологизации, объявив тождество идеологии и марксизма (так, как они понимали марксизм, — то есть именно *в качестве идеологии компартий*, или как систему догм, наподобие церковных догматических корпусов, «сумм марксистской теологии»), отказывались даже от постановки задачи научного изучения идеологии; в итоге сущность идеологии как таковой (вне связи с Марксом и компартиями) выводилась из сферы научных интересов¹². Болгарский философ Васил Иванов возмущался по этому поводу: «Как следовало бы предполагать, первым и основным вопросом в теории “деидеологизации” должен быть вопрос о сущности идеологии. Однако почти все ее самые видные представители... как бы это парадоксально ни звучало, не стремятся выяснить этот вопрос. У них нет четкого и определенного понятия об идеологии... Не будет преувеличением сказать, что, в отличие от сторонников “социологии знания”, деидеологизаторы не прилагают никаких усилий для выяснения сущности идеологии, чтобы на ее основе аргументированно доказать “правильность” своего тезиса. Большинство из них воспринимают идеологию как нечто данное... приписывают ей все-

возможные пороки... а затем уже объявляют о закате идеологической эпохи»¹³. Объявление о конце идеологий было поэтому не констатацией определенного факта реальной политической жизни, а лозунгом, практически не скрывающим потаенные желания «деидеологизаторов», девизом четко понимающей и преследующей свои интересы политической группы; причем этот лозунг был выдвинут в процессе острого политико-идеологического противостояния, когда за внешне благодушной «констатацией» «победы *внеидеологического либерализма*» скрывается «драматическая обстановка целенаправленных идейных схваток, в которых искомая деидеологизация мыслилась ее сторонниками как близкий итог борьбы с коммунистическим мировоззрением»¹⁴.

Теоретики деидеологизации стремились элиминировать любую связь идеологии с системами ценностей классов и социальных групп, свести идеологии к социальным и политическим *технологиям*, разрабатываемым той или иной группой вне всякой связи с ценностями¹⁵ и носящим исключительно инструментальный характер. Понятно, что в таком случае теряет всякий смысл понятие идеологической борьбы, идеологического противостояния. Так, некогда широко известный политический противник и теоретический оппонент коммунистов Эрнст Фишер, примыкающий к движению деидеологизации и утверждающий, что «всякая идеология есть зло», так как превращает идеи в «погребенные догмы», в статье 1965 г. «Марксизм и идеология», вызвавшей в свое время весьма бурные общеевропейские дискуссии с участием Эрика Хобсбаума и Дьердя Лукача¹⁶, провозглашает два постулата: «...О том, что “идеологии — это крепости”, которые превращают идеи в догмы и не дают возможности свободно развивать какие-либо новые идеи; о том, далее, что в характеристике тех или иных идей пора покончить с эпитетами “буржуазный”, “пролетарский” и т.д., оставив в употреблении только “истинный” или “ложный”; о том, наконец, что пора и марксизм из идеологически-закрепощенной, “закрытой” для новых идей системы сделать системой “открытой”»¹⁷. Спора нет, определенная степень догматизма и доктринерства не была чужда теоретикам и идеологам марксизма, однако то же и в той же мере было характерно и для их оппонентов: под видом «расколдовывания» марксизма авторы теорий деидеологизации предприняли во многом удачную попытку заместить в сознании левой интеллигенции марксистские построения (вовсе не закрытые от критики) совершенно иными догмами и доктринами.

Борьба с идеологией, призывы к «раскрепощению» и «дедогматизации» марксизма, а также призывы покончить с «идеологическим энтузиазмом» (выражение Э. Шилза), — все эти лозунги скрывали по сути стремление определенных сил расчистить идеологическое поле, — причем явно не для того, чтобы оставить его открытым, *внедогматичным* и демифологизированным, но именно для того, чтобы сделать это поле вполне «подготовленным» для вторжения культурно-эстетической агрессии атлантизма¹⁸. Поэтому следует отличать критику марксизма и коммунизма, пусть и

самую жесткую и бескомпромиссную, но не отвергающую диалог представителей различных мировоззрений и политических сил, — от того, что принято называть «антикоммунизмом», — то есть ангажированную позицию заведомого отрицания, неприятия всего, что связано с компартиями, учениями Маркса, Ленина и теоретиков марксизма-ленинизма последующих годов; с практикой коммунистического движения, в особенности второй половины XX века.

Антикоммунизм не сводился к некоей «антимарксистской индоктринации», к идейному противостоянию ради собственно идейного противостояния¹⁹, он имел более практические цели и действовал под эгидой и исключительно в интересах США и политической элиты атлантизма; что же касается догм и доктрин, нет смысла приписывать коммунистам эксклюзивное право на догматическое мировоззрение и мессианские проекты. Если «мессианство пролетариата и коммунизма» было обосновано как минимум огромным *корпусом текстов*, то американские доктрины превосходства, вроде «политико-философской» концепции «американского века» Генри Льюса (американский интервенционизм как господствующая тенденция мира второй половины XX века) не имели каких-либо серьезных обоснований в области теории! По замечанию Луиса Харца, американизм «был доктриной, возведенной в ранг религиозной идеи»²⁰, — так что, как представляется, невозможно сказать, где здесь начинается социально-политическая доктрина, а где — религия.

Ложная альтернатива: или американское покровительство, или завоевание Сталиным (выраженное в знаменитом «лозунге» — *НКВД или Coca-Cola*), навязанная Западной Европе, была мифологемой, с помощью которой атлантисты с успехом противостояли не только коммунизму и тем, кто ему симпатизировал или хотя бы критиковал буржуазную систему ценностей, но и — и в этом даже с большим успехом — тем интеллектуалам, которые соглашались принять американскую военно-экономическую помощь, но отвергали при этом американскую культуру и социально-политические модели Америки. «Американцы в ходе холодной войны, — пишет А.С. Панарин, — организовали настоящий погром “враждебной культуры интеллектуалов”, спорящих с буржуазной системой ценностей. Почему западноевропейский истеблишмент согласился с этим американским “похищением Европы”? Потому что он не поверил в перспективы европейского “центризма”, а поверил — точнее, поддался — шантажирующей дилемме: либо советизация Европы, либо ее американизация»²¹. Реймон Арон, будучи одним из этих подавленных, вплоть до середины 60-х гг. разделял эти идеологические штампы о благой миссии Америки и невозможности спасения Европы без нее, заявляя, что «для антисталиниста не существует иного пути, кроме принятия американского лидерства»²² и не обнаруживая, что «железная истина» — быть антисталинистом значит принимать безоговорочно лидерство США — не имеет никаких оснований ни в теории, ни в практике.

О превратностях навязанного европейской интеллигенции выбора между коммунизмом и демократией и о трансформациях самой идеи демократии в процессе ее «обработки» американскими идеологами говорил Франсуа Фюре, в 1959 г. вышедший из компартии: «Идеологический крестовый поход, предпринятый Соединенными Штатами, впервые в этом веке столкнул лоб в лоб коммунизм и демократию, но сделал это ценой такого выхолащивания демократической идеи, что Европа перестала узнавать в ней свое детище. В то время, когда защиту свободы против Сталина надо было оплачивать согласием на американский культ свободного предпринимательства, могли ли они легко принять такую альтернативу?»²³.

Исходя из вышесказанного, *идейное движение*, пропагандирующее «конец идеологии», с полной уверенностью можно охарактеризовать как движение, поставившее целью противостояние усилению присутствия марксизма и компартий в Западной Европе и отчасти в США (превентивно) начиная с послевоенных лет; причем своим рождением это направление политико-теоретической мысли обязано обеспокоенностью американской политической элиты чрезмерным, по ее мнению, влиянием коммунизма в послевоенной Западной Европе и необходимостью противопоставить столь опасной тенденции ряд мер в области культуры, — прежде всего в сфере научно-политической и идейно-теоретической. Прежде чем перейти к американским методам «взятия крепостей идеологии», необходимо заострить внимание на степень распространения и достижения влияния марксистских идей в послевоенной Западной Европе, прежде всего в Италии и во Франции.

Послевоенный период в Италии и Франции характеризуется подъемом политической активности масс, бурными дискуссиями о демократии в политической среде. Как итальянцы, так и французы были исполнены надежд на построение демократического общества, их чаяния были устремлены в будущее. Дофашистская модель государства, пропагандируемая классическими либералами, уже не была актуальна, так как «политика как сфера руководства обществом и государством перестала быть исключительно прерогативой привилегированных групп, элит и олигархий, и становилась объектом оспаривания и демократической борьбы между различными силами»²⁴. Собственно, именно интеллектуалы будут оспаривать у политиков право быть протагонистами демократической борьбы, увлекая за собой общественное мнение.

После войны европейские компартии приобретают сильнейшее влияние в политике, марксизм начинает свое триумфальное шествие по Европе: можно сказать, что с точки зрения политико-социальных теорий, вторая половина XX века прошла «под знаменем марксизма». Так, об эволюции влияния марксизма и компартии во Франции Перри Андерсон говорит следующее: «ФКП [Французская компартия], превратившаяся в массовую партию, численность которой в последние годы Народного фронта перевалила за 300 тыс. членов, с 1941 г. стала решающей народной силой Со-

противления и вышла из войны невероятно окрепнувшей. После 1945 г. ее организационное влияние на французский рабочий класс стало непревзойдаемым. В результате быстро возросла ее привлекательность в глазах интеллигенции, которая начала вступать в ее ряды»²⁵. Об итальянской компартии (ИКП) и колоссальном росте ее влияния после войны П. Андерсон пишет так: «Исключительный масштаб и скорость распространения марксизма в Италии после освобождения, включая рост не только ИКП, но также и ИСП [социалистическая партия], а также распространение марксизма в широких кругах интеллигенции, не имели аналогов ни в одной другой стране Европы»²⁶, — и подводит итог: «В сочетании с признанием исторического материализма во Франции в послевоенный период распространение марксизма впервые за всю историю нынешнего столетия создало условия для того, чтобы после 1945 г. главная ось марксистской культуры сместилась из германской в романскую зону Европы»²⁷.

О степени влияния в политике послевоенной Италии весьма ценно также свидетельство политика и политического мыслителя Джорджа Фроста Кеннана: «Коммунистическая партия там насчитывает более 2 миллионов членов и имеет 19 процентов мест в парламенте. Она контролирует ключевые позиции в рабочем движении. Располагая столь сильными позициями, она в состоянии серьезно противодействовать любым мерам, направленным на установление некоммунистического будущего страны»²⁸.

Французские и итальянские коммунисты начинают борьбу за культуру: из общего принципа марксистского принципа партийности культуры как мировоззрения господствующего класса теоретики компартий делают практические выводы в отношении руководства культурой, понимая партийность вполне конкретно, как «институциональную процедуру формирования культуры на основе установленных определенным образом культурных директив»²⁹, то есть как руководство к действию. Логика марксизма очевидна: раз культура партийна по определению, то и руководить ей надлежит партии, выражающей интересы прогрессивного рабочего класса, то есть компартии, — и так культура будет прогрессивной.

Марксистские программы завоевания культуры, своим интеллектуальным основанием во многом обязанные теории гегемонии Антонио Грамши, менее всего соответствовали проектам *американской гегемонии* в Западной Европе (и в перспективе — в мире), которые разрабатывались и внедрялись с конца 40-х годов XX века, ознаменовывая начало распространения американских ценностей, — начало «американского века»³⁰. Американские идеологи, «*вожди атлантизма*», связанные с разработкой доктрины глобальной гегемонии США, подготавливали «закат» вовсе не для своих идеологических проектов, но для доктрин и проектов развития своих соперников в послевоенном блоковом противостоянии, — то есть для коммунистов и мирового коммунистического движения под эгидой компартии СССР, — и именно поэтому «наряду с прямым вмешательством в избирательные кампании, как в Италии и во Франции в 1948 году, американские стратеги разработали долгосрочные про-

екты культурного и интеллектуального воздействия на элиты этих стран. Цель работы над умом и сознанием европейской интеллигенции была двоякая. Во-первых, требовалось сделать левых “некоммунистическими”, то есть сдвинуть их ближе к центру, поскольку избавиться от левых взглядов не представлялось возможным. Во-вторых, необходимо было “оторвать” их от Советского Союза, сделать антисоветскими³¹. Главным инструментом американских стратегов в плане воздействия на западноевропейских интеллектуалов стала особая организация, своеобразное «НАТО в культуре», — Конгресс за свободу культуры (Congress for Cultural Freedom), при финансировании и под эгидой ЦРУ успешно действовавший с 1950 по 1967 годы, пропагандируя американские ценности и американский образ жизни, противодействуя влиянию на интеллектуалов коммунистических идей, доктрин и организаций³².

Основная цель Конгресса в сфере культуры в целом заключалась в распространении влияния американской культуры в Западной Европе³³, — прежде всего в Италии и Франции; для этого предполагалось пропагандирование привлекательности американского образа жизни, а также, если угодно, американского образа мысли, представляемого внеидеологичным и прагматичным, с одной стороны, и респектабельным, влиятельным во всех сферах науки и культуры, — с другой. Дискредитация советского образа жизни, Советского Союза, марксизма и практики компартий, — все эти задачи не могли быть решены без привлечения определенных идеологических и теоретико-политических разработок, без привлечения на свою сторону политической теории. Мелвин Ласки³⁴, один из руководителей Конгресса за свободу культуры («культурный комиссар США»), выразил это так: «Невозможно бороться с Марксом только лишь при помощи Кока-Коль». Итальянский историк политических баталий Италии второй половины XX века Массимо Мastrogregори, который приводит эти слова, иронично их же и расшифровывает: «Вот в чем суть проблемы: сражаться с Марксом следовало соответствующим концептуальным оружием, достаточно утонченным для этой цели, тогда как Кока-Кола должна вести совсем другие баталии»³⁵. Используя выражение Эрнста Топича, «партийному ангажементу»³⁶ американские «идеологические комиссары» противопоставляли «антипартийный ангажемент».

За 17 лет своей работы, вплоть до раскрытия источников финансирования и соответствующего скандала в 1967 г., когда все именитые интеллектуалы порвали с финансируемым ЦРУ «культурным отделом НАТО», Конгресс провел значительную работу в полном согласии со своими целями, так что его «достижения» были весьма серьезными: «На пике своей активности Конгресс за свободу культуры имел отделения в 35 странах, его персонал насчитывал десятки работников, он издавал более 20 престижных журналов, владел новостными и телевизионными службами, организовывал престижные международные конференции, выступления музыкантов и выставки художников, награждал их призами»³⁷, — рассказывает Френсис Сондерс в своей книге, посвященной роли Конгресса за свободу

культуры как структуры, организованной и финансируемой ЦРУ, на идеологических фронтах холодной войны. «Комиссары по культуре» из США щедро оплачивали услуги представителей культуры, сотрудничающих с Конгрессом: именно в те времена и не в последнюю очередь благодаря этой организации была создана система скрытого финансирования подобных структур. «Для сокрытия финансирования и участия в деятельности Конгресса за свободу культуры, — пишет В.Ю. Крашенинникова, известный российский ученый и общественно-политический деятель, руководитель Центра международной журналистики и исследований МИА «Россия сегодня», — ЦРУ создало разветвленную систему фондов, служивших каналами для проведения средств. Эта система позволяла ЦРУ финансировать неограниченное количество тайных программ в отношении молодежных групп, профсоюзов, университетов, издательских домов и других организаций с начала 1950-х годов. Популярной стала шутка: если какая-нибудь американская благотворительная или культурная организация внесла слова “независимая” или “частная” в свои документы, она, скорее всего, является прикрытием ЦРУ»³⁸. Также и Л.Н. Москвичев иронично отмечает, что «защитники “свободы культуры”, рекламировавшие свою независимость от каких-либо правительственных и иных “бюрократических” органов, на деле слепо следовали за малейшими изгибами американской политики и меняли свою оценку и подходы в прямой зависимости от того, какие изменения происходили в правительственных офисах»³⁹.

Одним из важнейших мероприятий идеологического плана, проведенных под эгидой Конгресса за свободу культуры, стала международная конференция «Будущее свободы» (*L'Avvenire della Libertà, The Future of Freedom*), проходившая 12–17 сентября 1955 г. в Милане⁴⁰. Именно на этой конференции был выдвинут лозунг «конца идеологий» и озвучен призыв к деидеологизации как своего рода «идеологическому разоружению» (призывались к этому, что очевидно, исключительно коммунисты); в ее аудиториях были представлены разработки приверженцев теории конца идеологии, о которых было сказано выше, — разработки, выполненные американскими и западноевропейскими учеными на полях Конгресса за свободу культуры. «Конец эпохи идеологий» — это, повторим, — не констатация факта общественно-политической жизни, а нечто вроде политического заявления, *событие желаемое, преподнесенное как свершившееся*. Конечно, при этом не следует забывать, что все политико-идеологические разработки, осуществляемые под эгидой Конгресса за свободу культуры, следовали «генеральной линии» политических «*вождей атлантизма*»; и в этом плане совсем не случайно в том же 1955 году, но приблизительно на полгода до миланской конференции, вышел в свет «установочный труд», — результат коллективной работы американских экономистов, политологов и политиков, — «*Политическая экономия американской внешней политики*»⁴¹. Во второй его части, — «*Prescription*» (первая называется соответственно — «*Diagnosis*»), — в четкой, систематической и развернутой форме

впервые представлена стратегия послевоенной американской внешней политики (прежде всего в сферах экономики и финансов), выстроенная в русле новой концепции американской мировой миссии, целью которой ставилось достижение финансово-политической гегемонии США⁴².

Одним из крупнейших интеллектуалов, поддерживающих идеи и направленность Конгресса за свободу культуры и принимающих активное участие в его деятельности, стал правый интеллектуал-атлантист, выступающий категорически против влияния в среде левых западноевропейских интеллектуалов марксизма и компартий, — Реймон Арон. Антикommунизм, жесткая критика политики СССР и в особенности Сталина, — принципиальная позиция французского правого интеллектуала; Арон осознает и открыто утверждает необходимость борьбы против идей коммунизма, с одной стороны, и критики основанной, по его мнению, на «марксистских догмах» (в интерпретации Сталина) политики Советского Союза, — с другой. «Арон отлично понимает, — говорит А.Б. Гофман, — антикоммунистическую направленность концепции “деидеологизации”. Последняя, заявляет он, “вовсе не разоружает Запад перед лицом коммунизма... но дает ему наилучшее оружие»⁴³. Цель Арона — разоблачить «марксистскую мифологию», показать, что для сильного и влиятельного коммунистического движения в Западной Европе нет никаких оснований в политической реальности; что интеллектуалы, следующие «марксистской парадигме», ослеплены мифами; — и этим мифам следует противопоставить интеллектуальное же оружие. Речь идет, таким образом, об интеллектуальном сопротивлении «марксизму и советизму»: «В 1950 году, когда в Берлине произошло рождение “Конгресса...”, мобилизация сил интеллектуального сопротивления против Советского Союза значила гораздо больше, чем мобилизация против него вооруженных сил»⁴⁴. В этой уверенности Арон не одинок: многие влиятельные философы разделяли его точку зрения: так, Фридрих фон Хайек начиная с середины 40-х годов «все более и более втягивался в сражение идей. Для Хайека интеллектуальная угроза была столь же велика, как и военная»⁴⁵. С этим австрийским экономистом и политическим философом Реймон Арон познакомился в начале 40-х гг. в Лондоне, где помимо участия в голлистском антифашистском движении «Сражающаяся Франция» Арон общался с Хайеком, обсуждая будущую конституцию Общества «Монт-Пелерин»⁴⁶ (основано в 1947 г.); столь же интенсивное интеллектуальное общение связывало Арона с Карлом Манхеймом и Людвигом фон Мизесом.

Миланская конференция 1955 г. была одной из первых идеологических битв холодной войны, «неприятная коммунизма»⁴⁷ объединило в ее аудиториях американских и некоторых европейских интеллектуалов⁴⁸. Идея назвать конференцию «Будущее свободы» принадлежит активному деятелю Конгресса за свободу культуры Майклу Поланьи⁴⁹; страна для проведения мероприятия также была выбрана совсем не случайно: около того времени в Италии разворачивались в высшей степени бурные дискуссии, в которых

участвовали виднейшие интеллектуалы компартии (включая самого ее лидера Пальмиро Тольятти) и интеллектуал-оппонент коммунистов Норберто Боббио⁵⁰; накал идейной борьбы по силе не уступал дебатам французских интеллектуалов, сотрясавших мир культуры и политики в то же самое время (правда, при этом оппонирование Н. Боббио не носило антикоммунистической направленности: дискуссия проходила при взаимном уважении сторон и мнений).

О представительности миланской конференции можно судить по тому факту, что на открытии ее и в пленарном заседании участвовали Реймон Арон, Майкл Поланьи, Фридрих фон Хайек; с докладами выступили Джон Кеннет Гэлбрейт и Ханна Арендт⁵¹, Э. Шилз, С.М. Липсет и Д. Белл; сама конференция проводилась в Национальном музее науки и технологии Леонардо да Винчи... Общая направленность и характер докладов на конференции были подчинены принципу деидеологизации, понимаемому как требование «идеологического разоружения» для западных коммунистов; марксистская идеология при этом представлялась как сплошное доктринерство и догматизм, оправдывающий фанатичное следование «священным догматам» Маркса и Ленина. «Почти каждое выступление, — говорит в этой связи Эдвард Шилз (в статье «Конец идеологии?»), — так или иначе представляло собой критику доктринерства, фанатизма, идеологической одержимости. Почти каждое выступление выражало ту идею, что человечество, если оно хочет возделывать и улучшать свой собственный сад, должно освободиться от навязчивых взглядов и фантазий, от тревожлений идеологов и фанатиков»⁵².

Как раз к миланской конференции была приурочена книга Р. Арона «Опиум интеллектуалов» (*L'opium des intellectuels*. — Paris, 1955), написанная под влиянием идей Конгресса за свободу культуры в 1952–1954 гг. и в процессе острых дебатов о марксизме, коммунизме, о Советском Союзе и Сталине с левыми интеллектуалами Сартром, Мерло-Понти и Камю (причем Жан-Поль Сартр и Альбер Камю в достаточно резкой форме отстранились от Конгресса и его идей). Эта работа Арона⁵³, быстро вошедшая в корпус *классики антикоммунизма*, выполнена всецело в духе идей Конгресса и представляет собой как раз-таки то рафинированное интеллектуальное оружие, о необходимости *разработки* которого говорил Мелвин Ласки. Критика Ароном «сталинской догматики», — своего рода светского варианта религии, как он утверждал, — не лишена оригинальности и известного блеска; в антимарксистской, антикоммунистической и антисталинской направленности ароновского «Опиума» присутствует много интересных и конструктивных моментов. Однако при всех достоинствах работы нельзя не заметить ее самой специфичной особенности: начиная уже с самого названия и заканчивая некоторыми приемами, автор преподносит свое произведение не столько как критику, разоблачение, книгу дискуссионную и вызывающую интеллектуальных соперников на диспут, — сколько как товар, хорошо сделанный (и, отметим, неплохо раз-

рекламированный). Сведение марксизма и коммунизма к догматической системе, а компартии — к своего рода церкви, — помимо своеобразной, оригинальной метафоры, — в первую очередь рекламный трюк, красивая упаковка для товара, — *интеллектуальной Кока-Колы*.

Французского интеллектуаластораживает тот факт, что марксизм-ленинизм — “первая удавшаяся религия интеллектуалов”, “идеология, ставшая эквивалентом религии”, — хотя и «превзойден в научном плане; но в плане идеологическом, в том виде, в котором он распространен во Франции, он приобрел невиданное до сих пор влияние; это влияние он приобрел благодаря своему толкованию истории»⁵⁴. Причина такого успеха «сталинской догматики» среди западноевропейских интеллектуалов — в религиозном характере марксистско-ленинской идеологии, утверждает Р. Арон. «Священное писание» марксизма-ленинизма основано на мифах о мировом пролетариате, роли революции в истории, роли коммунистических партий в социалистических революциях, роли вождей и «священной доктрины» как идеологии в коммунистическом движении, руководимом компартиями. Только разоблачив все эти «догматы псевдорелигиозной основы марксизма-ленинизма»⁵⁵, показав интеллектуалам, что марксизм — это не движение, к которому они принадлежат, а вера, внушенная им, — можно вырвать *промарксистских* «прогрессивно мыслящих» (это выражение берет в кавычки сам Арон⁵⁶) интеллектуалов из-под влияния самой притягательной «секулярной религии» XX века, — марксизма-ленинизма. Впервые это обозначение — «секулярная религия» — по отношению к марксизму, к идеологии коммунистов — Арон применяет в 1944 г., в статье с соответствующим названием, — «Будущее секулярных религий»⁵⁷; в это выражение Арон уже тогда вкладывается противопоставление своего «реалистического осторожного либерализма» (выражение Дино Кофранческо⁵⁸) тому, что впоследствии будет названо «тоталитаризмом».

Марксизм-ленинизм, или «сталинская схоластика», — это священное писание коммунизма; история партии — его священное предание, съезды Коминтерна и партии — церковные соборы, сама компартия СССР вместе с зарубежными ее епархиями (диоцезами) — это вселенская церковь коммунизма; подобные аналогии можно продолжить, но смысл ароновских отождествлений, аналогий и метафор вполне ясен. «К коммунизму, — говорит интеллектуал, — применима формула Мишле: «Революция [1789 г.] не признавала никакой церкви. Почему? А потому что она сама была церковью». Как и гражданская религия, коммунизм освящает долг индивидуума по отношению к партии, социалистическому государству, будущему человечества. Как и всякая другая религия, проповедывающая царство земное, коммунизм противопоставляет себя эзотерическому учению универсальной религии, как только ему удастся прийти к власти»⁵⁹.

Марксизм силен тем, полагает Арон, что «себе присваивает вечное стремление к справедливости, он предсказывает торжество обездоленных»⁶⁰, то есть к спасению. Спасение невозможно вне церкви, то есть пар-

тии, которая «не может и не смеет ошибаться, так как она проповедует и воплощает в себе историческую правду»⁶¹. Партия, преображенная в мессию, делает идеологию догматом, эквивалентом религии; а ее глава отныне — pontifex maximus новой религии, единственный законный толкователь мистических истин для верных: «Генеральный секретарь партии... тоже интеллигент: на закате своей блестящей жизни он дает верным какую-нибудь новую теорию капитализма и социализма, и эта книга как бы подчеркивает величие достигнутого. Императоры часто бывали поэтами или мыслителями, но впервые император властвует как диалектик, толкователь учения и истории»⁶². Однако, — и к такому выводу приходит сам Арон и подводит своих читателей-интеллектуалов, для которых предназначена книга, — судьба любой религии, в том числе и «сталинского догматизма», — «ослабление идеологической горячности»⁶³, «испарение» революционного духа, исчезновение иллюзий вследствие победы духа сомнений. Вот какова судьба светской религии: «Светские религии превращаются в мнения, как только люди отказываются от их догматов» с появлением скептиков, которые «должны потушить фанатизм» и научить людей «сомневаться в идеальных схемах и в утопиях», «не верить пророкам спасения и проповедникам катастроф»⁶⁴.

Таким образом, Реймон Арон одним из первых для переориентации интеллектуалов использует метод отождествления идеологии марксизма с религиозной идеологией, со своего рода секулярной религией; и в этом тождестве находит еггор fundamentalis марксизма как опиума левых интеллектуалов, предвосхищая свою книгу знаменитой цитатой из Маркса о религии. Интеллектуалы будущего, уверен Арон, не нуждаются в идеологиях, в любом виде идеологического paraver somniferum. Но какое *мировоззрение* (лишенное притягательного *яда идеологии*) должно, по Арону, восторжествовать в интеллектуальном мире Западной Европы? Это — американизм, американская идеология, которая лишена черт идеологии и поэтому на самом деле таковой не является: автор «Опиума интеллектуалов» называет все это «американской не-идеологией», талантливо избегая слова «либерализм»⁶⁵ (ведь книга предназначена прежде всего для убеждения левых французских и итальянских интеллектуалов). Эта *идеология-которая-на-самом-деле-не-идеология* определяется Ароном через отрицание всех негативных черт идеологии марксизма-ленинизма, вскрытых французским интеллектуалом, — и это противопоставление превращается Ароном в гимн американизму: «American way of life — это отрицание того, что европейский интеллигент понимает под идеологией. Американизм не формулируется системой или предположений; он не знает коллективного спасителя, ни завершения истории, ни причины, определяющей развитие, ни догматического отрицания религии; он совмещает в себе уважение к конституции, индивидуальную инициативу и гуманность; он вдохновлен сильными, но неясными верованиями, довольно безразличными к соперничеству между церквями... и культом науки и

дела. Американизм не знает разработанного правоверия или официально-го толкования»⁶⁶. Спустя страницу Арон конкретизирует определение американизма, не избегая на этот раз слова «идеология» и вторично *не избежая* слова «культ», — тот культ, о согласии на принятие которого вынуждена, если вспомнить слова Франсуа Фюре, заявлять интеллигенция: «Таким... образом можно себе представить... чисто американскую идеологию, выражающую специфические черты американской экономики и общества: культ успеха, личной инициативы и чувства правил; оптимистический взгляд на будущее; отрицание экзистенциального беспокойства, сведение всех ситуаций к технически разрешимым проблемам, традиционная вражда к власти и к трестам, фактическое признание военного государства и гигантские промышленные корпорации»⁶⁷.

Итак, американизм не идеологичен и не идеократичен, это не доктрина вовсе, но либеральное, плюралистическое мировоззрение; и Реймону Арону принадлежит большая заслуга в популяризации и распространении влияния этого мировоззрения, причем не в последнюю очередь через посредство Конгресса за свободу культуры, в «идеологический успех» которого французский интеллектуал в свою очередь внес немалый вклад⁶⁸. «Реймон Арон, — пишет Денни Боно, — с 1950 года входит в руководящие органы Конгресса за свободу культуры и быстро становится одним из наиболее влиятельных деятелей движения и близким соратником Майкла Йосельсона, посредника между ЦРУ и интеллектуалами; при этом его работы — “Великий раскол” (Le grand schisme, 1948), “Опиум интеллектуалов” и “Война за войной” (Les guerres en chaîne, 1951) — складываются в качестве корпуса основных трудов антикоммунистической интеллигенции»⁶⁹. В итоге своей деятельности 40–50-х годов Арон — «друг Фридриха фон Хайека, советник Киссинджера, в фарватере своей интеллектуальной деятельности сумел создать сильную школу либеральной, антикоммунистической и проатлантической мысли»⁷⁰.

Заключительная глава «Опиума интеллектуалов» называется автором «Конец идеологической эры?», и в ней автор объявляет о решимости бороться против тоталитаризма с его истинами в последней инстанции, насаждаемыми государством. Р. Арон в этом смысле — «неверующий», мишень его критики — «государство, навязывающее нам правозверное толкование каждодневных событий... толкование всего развития и, в конечном счете, — смысл человеческого бытия. Оно хочет подчинить своей псевдоистине творчество духа, деятельность общественных групп. Защищая свободу поведения, неверующий защищает свою собственную свободу»⁷¹. Однако что же конкретно можно противопоставить марксизму в плане теории, кроме апологии атлантизма и Америки с ее расплывчатыми «либеральными ценностями», культом свободного предпринимательства и т.д.?

Начиная с конца 50-х гг. Арон, Белл и другие создатели теории конца идеологии приступают к разработке своего рода доктрины постиндустриального общества, которое уже исходя из своей сущности в идеологии не

нуждается и принципиально отказывается от любого рода мессианизма. Вообще, «к периоду конца 1950-х — начала 1960-х гг. можно отнести момент рождения образа будущего мира, ставшего мировоззренческой базой индустриального подхода в западной социологии. Именно тогда социологи США и Европы утвердились в выводе, что никакие политические, идеологические и социальные различия в современных условиях не могут считаться более важными, чем фактор технологического прогресса»⁷². При этом именно данное направление социологической мысли, постулирующее «отмирание» не только идеологии, но и постепенное угасание собственно политики, — стало основой для определенных политических и идеологических выводов, важнейшим аргументом в политико-идеологическом противостоянии блоков времен холодной войны, новым обоснованием превосходства Америки и ее миссии в мире.

Концепции деидеологизации исторически и логически связаны с различного рода концепциями и теориями постиндустриального общества и конвергенции социализма и капитализма⁷³, причем в западноевропейской политической мысли и социологии идеи о «конце идеологии» исторически предшествуют разработкам о постиндустриальном обществе. При этом многие крупнейшие западные мыслители соединяют в своем творчестве эти теории, переходя в своих работах от одной концептуальной линии к другой, обосновывая взаимосвязь и взаимозависимость. Так, Л.Н. Москвичев справедливо утверждает, что «многие авторы теории “деидеологизации” являются в то же время создателями других новейших концепций (Арон, Гэлбрейт и др.). Более того, для некоторых авторов характеризовать современные развитые капиталистические страны как “индустриальное общество” чуть ли не равноценно утверждению, что в этих странах наступил “конец идеологии”»⁷⁴.

Важнейший импульс для своего формирования и развития постиндустриальный образ мира и связанная с ним доктрина получили на очередной конференции под эгидой Конгресса за свободу культуры, состоявшейся в 1959 г. в швейцарском городке Райнфельден⁷⁵. Непосредственными организаторами и руководителями райнфельденской конференции стали Реймон Арон и Джордж Кеннан; участие в мероприятии принимали также физик Роберт Оппенгеймер, Майкл Полань, французский футуролог Бертран де Жувенель⁷⁶, американский специалист в области политической теории и политической философии Эрик Фёгелин, американский экономист и историк Эжен Росту, профессор политической науки Джованни Сатори из Флорентийского университета.

Значимым, необычным и актуальным моментом конференции 1959 г. стало участие в ее работе Джорджа Кеннана, роль которого в американской политике и политической мысли уже к тому времени была весьма велика. После своей знаменитой статьи 1947 г. «Истоки советского поведения», в которой провозглашалась доктрина сдерживания, влиятельный политический теоретик и практик стал одним из идеологов американской внешней политики. Как пишет А.Н. Яковлев, в самом определении доктрины «сдерживания коммуниз-

ма» уже «заложены ее основные политические параметры: “длительность” и “терпение”, но “бдительность” и “сила”»⁷⁷. Идеологическое противостояние, в рамках которого западноевропейским интеллектуалам предлагалось вырабатывать антикоммунистические и антимакистские концепции и теории, на основе которых политики и политические мыслители призывались к разработке соответствующих доктрин, — это идейное противоборство всецело согласовывалось с той частью кеннановской политики сдерживания, которая касалась «длительности» и «терпения» в рамках сосуществования двух мировых противоборствующих систем. Само сотрудничество Кеннана с западноевропейскими интеллектуалами (и прежде всего с Р. Ароном) демонстрирует, что «в политических вопросах подход политика должен быть подходом садовника, а не механика: он должен выращивать то, что органически существует уже в природе, а не ломать и строить какие-то выдуманные механизмы на пустом месте»⁷⁸. Отсюда — поддержка и покровительство Кеннана интеллектуалам и ученым, разрабатывающим свои концепции в «нужном стиле», и особенно это касается работ по концу идеологий, тоталитаризму и постиндустриальному обществу.

Другим интересным и весьма актуальным моментом рейнфельденской конференции стало выступление историка Джейкоба Лейба Талмона, автора «Истоков тоталитарной демократии» (1952), провозгласившего «закат политического мессианизма». Понятие политического мессианизма Талмон связывает с представлением о тотальности Истории, которая движется к определенному финалу⁷⁹. Это представление, утверждает Талмон, идущее от Великой французской революции, реализуется в политической практике революции большевиков⁸⁰.

Политический мессианизм как теория и практика исходит из постулата, что история имеет свою цель, и ее необходимо достичь, его кульминацией, воплощением и триумфом является «сталинский тоталитаризм». В своей знаменитой работе «Истоки тоталитарной демократии» Дж. Талмон определяет политический мессианизм как такой подход к политике, который «исходит из примата и эксклюзивности истины в политике» и «постулирует предопределенный, гармоничный и совершенный порядок вещей, к которому неизменно влечет человека и к которому он неизбежно прибывает»⁸¹. Норвежский исследователь Эйнштейн Сёренсен, критически рассматривая работу Талмона «Истоки тоталитарной демократии», говорит, что если «Карл Поппер отдал Платону роль первого врага свободного общества», то Талмон «рассматривал в этом качестве гораздо более современного философа, а именно Жан-Жака Руссо. Сходство между Поппером и Талмоном в том, что они пытались проследить истоки идей Маркса, идеологии коммунизма и в конечном счёте тоталитарного мышления вообще»⁸². Проследить, реконструировать, — или *сконструировать*, подверстать историю к желаемому, заданному результату?..

Конечно, Талмон не говорит о том, что «конкурентом» «мессианизма по-сталински» является американский план глобальной гегемонии; — зато

об этом вполне открыто пишет Джордж Кеннан, в полном соответствии с планами сдерживания «советского империализма» и «сталинского тоталитаризма», представляющих собой «нездоровое явление и всеобщую опасность»⁸³ и препятствующих устремлениям «цивилизованного мира» «к непрерывному развитию материальной цивилизации и к дальнейшему облагораживанию человеческого духа»⁸⁴, — для беспрепятственного утверждения атлантизма с его неизменной демократией, что якобы «по природе своей уязвима благодаря тем самым свободам и привилегиям, которые составляют ее сущность»⁸⁵. В лице Кеннана американский мессианизм по сути заявлял о нежелании иметь и терпеть любых конкурентов; а поскольку единственным реальным доктринальным оппонентом Америки был тогда СССР, — то именно здесь следует искать причины неприятия коммунистической идеологии и доктрины, — и в более широком смысле, — американской русофобии. Исходя из этого, невозможно не согласиться с В. Крашенинниковой, которая утверждает, что «никакая другая держава, кроме Советского Союза и России, не противопоставляла Америке идеологию, способную конкурировать с американской. Идея “коммунизма во всем мире” или идея России как Третьего Рима представляли собой правдоподобную в некоторые моменты истории альтернативу миссии Америки. Никакая другая держава не ставила цель, столь близкую к американской сверхидея — “спасению мира”. Но двух спасителей у мира быть не может. Мессианство — вот истинный предмет конкуренции для Америки в случае с Россией. В этой области Америка не терпит соперников»⁸⁶.

После доклада на конференции 1959 г. «Индустриальное общество и политические диалоги Запада»⁸⁷ концепция «единого индустриального общества» Арона получает свое оформление в его работе 1963 г. «Восемнадцать лекций об индустриальном обществе», как бы «официально» представляющей новую концепцию научной (и «идеологической») ответственности; при этом новая концепция органически связана с концепцией деидеологизации: «“Деидеологизация”, по мнению Арона, в сущности не что иное, как логическое следствие единства технико-экономической природы современного индустриального общества. Борьба идеологий — анахронизм, связанный главным образом с “мифологическими” традициями XIX в.... Фактором “деидеологизации”, согласно Арону, является не только единая техническая основа современных развитых обществ, но и развитие науки. ...Арон пытается доказать, что в социалистическом обществе происходит превращение марксизма во все более формальную догму, которая не будет определять практическую деятельность и сознание людей»⁸⁸. О взаимосвязи и нерасторжимом единстве теорий единого индустриального общества и деидеологизации у Р. Арона пишет К.П. Зуева: «Эти теории представляют собой по сути две стороны единой буржуазной концепции общественного развития, где экономико-социологический аспект представлен теорией “единого индустриального общества”, а теоретико-философский — теорией “деидеологизации”, которая выступает как сво-

его рода “политическая философия”, направляющая внимание на актуальные проблемы идеологии и социального познания»⁸⁹.

Нельзя отказать Р. Арону в частичной правоте и уж тем более в оригинальности его концептуального видения западного общества второй половины XX века. Также следует признать, что многие нововведения Арона, стремящегося показать, что противопоставление капитализма и социализма не является необходимым, ибо индустрия и техника индифферентны по отношению к политике, — оказались в достаточной мере конструктивными и во многом предвосхитили дальнейшие теоретические разработки западных мыслителей, связанные с понятиями постиндустриального общества и технократии⁹⁰. Но не следует при всем этом и забывать о том, что помимо своей неоспоримой теоретической ценности большинство этих концепций имело и ценность в качестве аргументов в идеологическом противостоянии двух противоборствующих сторон эпохи холодной войны. Этот факт, эту идеологическую составляющую и политическую направленность подчас кажущихся на первый взгляд чисто теоретических построений, по нашему мнению, необходимо всегда учитывать при анализе любых разработок западных ученых, касающихся общества и политики.

...В своих «Мемуарах» Р. Арон не жалеет о сотрудничестве с «Конгрессом за свободу культуры», отмечая большую роль этой организации в переориентации французских левых интеллектуалов, часть которых приняла либеральные идеи атлантизма⁹¹; именно благодаря Арону был поставлен и частично решен вопрос об «атлантическом консенсусе» американских и западноевропейских интеллектуалов. В свою очередь концепция «конца идеологий», важнейшая роль в разработке и пропаганде которой без сомнения принадлежала Реймону Арону, — сыграла свою роль в идеологических сражениях интеллектуалов 50-х гг. XX века, во многом предопределив усиление влияния либеральных идей и доктрин.

¹ О политической подоплеке этой наполеоновской «критики идеологии» см.: Яковлев М.В. Идеология. Противоположность марксистско-ленинской и буржуазных концепций. М., 1979. С. 49.

² *Burdeau G. Ideologia // Enciclopedia del Novecento. Vol. III. Roma, 1979. P. 512.*

³ Цит. по: *Cotroneo G. Le nuove frontiere del pensiero politico dopo la fine delle ideologie // Il liberalismo come pratica della libertà. Napoli, 1997. P. 110.*

⁴ «Если бы Фукуяме было присуще чувство юмора, — иронично замечает широко известный итальянский литературовед-славист Витторио Страда, — он мог бы сказать, что история не кончилась, а почти подошла к своему концу. Это “почти” может длиться как угодно долго: ведь мы еще далеки от всеобщего торжества принципов либеральной демократии, в которых усматривается завершение исторического развития» (*Страда В. Будущее культуры и культура будущего // На пути к постиндустриальной цивилизации. Материалы II Международной Кондратьевской конференции. М., 1996. С. 210.*)

⁵ Небезынтересно, что в этот сборник (*Bell D. The End of Ideology. Glencoe, Illinois, 1960*) вошла достаточно важная для понимания концепции ученого работа «Америка как массовое общество». — Об этом см.: *Кукаркин А.В. По ту сторону расцвета. Буржуазное общество: культура и идеология. М., 1974. С. 344.*

⁶ См.: *The End of Ideology Debate / Ed. by C.I. Waxman. N.-Y., 1968.*

⁷ Цит. по: *Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Курс лекций. М., 2005. С. 44.*

⁸ Цит. по: *Гальцева Р., Роднянская И. Summa ideologiae: Торжество «ложного сознания» в*

новейшие времена. Критико-аналитическое обозрение западной мысли в свете мировых событий. М., 2012. С. 11.

⁹ Гобзов И.А. Философские проблемы политики. М., 2014. С. 192.

¹⁰ Об этом см.: Мишениерадзе В.В. Философия и идеология // Философия и современность / Ред. кол.: П.Н. Федосеев (рук.). М., 1971. С. 229–230.

¹¹ Демченко Э.В. Современная технократическая идеология в США. М., 1984. С. 44.

¹² В самом деле, после работ Манхейма 30-х гг. теоретические проблемы идеологии в западной мысли вплоть до начала 70-х гг. практически не разрабатывались, — и не в последнюю очередь благодаря этому концепция конца идеологии получила популярность и влияние в общественных науках Запада. Помимо чисто политических причин, все это было связано также с недостатками методологического характера. Так, снижение научного интереса к проблемам идеологии П.С. Гуревич объясняет «последовательным нарастанием позитивистских тенденций в общественном сознании капиталистических стран», — а позитивизм «отвергает при этом единую теорию общественного развития, декларирует множественность истин, трактует идеологию односторонне и искаженно, подчеркивая в ней лишь иллюзорные моменты» (Гуревич П.С. Социальная мифология. М., 1983. С. 4).

¹³ Иванов В. Идеология: характер и закономерности развития. М., 1977. С. 104.

¹⁴ Гальцева Р., Роднянская И. Summa ideologiae: Торжество «ложного сознания» в новейшие времена. Критико-аналитическое обозрение западной мысли в свете мировых событий. С. 10.

¹⁵ О связи идеологии с ценностями, ценностными императивами, рассматриваемыми как императивы политические, о проблеме реидеологизации в современной России, о деидеологизации политики как деградации говорилось в выступлении С.С. Сулакшина на Всероссийской научно-общественной конференции «Государственная идеология и современная Россия» 29 марта 2014 г. (Москва); также в ходе этой конференции были подняты проблемы геополитического обоснования идеологий (В.Э. Багдасарян), поставлены на обсуждение вопросы о связи идеологии и национальной идентичности (Н.Г. Козин), об идеологии неоимпериализма в XXI веке (М.Д. Валовая).

¹⁶ Этим дискуссиям посвящен реферативный сборник, изданный под эгидой Института философии АН СССР: Марксизм и идеология (Материалы дискуссии по статье Эрнста Фишера «Марксизм и идеология») / Пер. и реф. с нем. и итал. яз. Дерюгина А.В.; ред. Цыпник Л.А. М., 1968.

¹⁷ См.: Суровцев Ю.И. В лабиринте ревизионизма. (Эрнст Фишер: его идеология и эстетика). М., 1972. С. 101.

¹⁸ Об опыте насаждения специфической американской культуры в самой Америке и об эволюции форм и методов американской культурной экспансии — см.: Cader I. The Aesthetic of Hegemony. Sloanism and Mass Persuasion in the United States, 1900–1930 // sro.sussex.ac.uk/45566/1/cader_ishan.pdf.

¹⁹ При этом нельзя не признать, что в идейном плане антикоммунизм был политико-идеологическим течением в высшей степени догматизированным. Так, Норберто Боббио в своей знаменитой книге 1955 г. «Политика и культура» выступает не только как идейный оппонент коммунистической идеологии, но и как бескомпромиссный противник антикоммунизма. Противостояние политических блоков и идеологий, по Боббио, породило тенденцию рассматривать различные проблемы — как в сфере политики, так и в области культуры — в манихейских терминах и выражениях: это называлось *aut aut* (или-или). Призывая к диалогу, Н. Боббио подвергает такой подход резкой критике, разоблачая ложные альтернативы, ярлыки и мифы. Фундаментальные проблемы при этом подходе, — пишет Боббио, — рассматриваются «следующая страсти, а не критическому рассуждению, в терминах несовместимых альтернатив» (*Bobbio N. Politica e cultura. Torino, 1955. P. 17*). «То, что важно сегодня, — продолжает итальянский ученый, — расколоть волшебство магических слов, питающих пустые надежды и усыпляющих бодрость научного поиска» (*Bobbio N. Politica e cultura. P. 18*). Каждая догматическая система, уверен Боббио, это система закрытая, своего рода «крепость, внутри которой легко найти укрытие от критики, от дискуссии» (*Bobbio N. Politica e cultura. P. 41*), «зона молчания», создаваемая вокруг себя догматизмом. Единственный выход из зоны молчания, «догматической тишины» и безразличия к разуму и критике — диалог, общение: «Восстановить доверие к диалогу означает разбить [круг] молчания» (*Bobbio N. Politica e cultura. P. 41*).

²⁰ Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М., 1993. С. 241.

²¹ Панарин А.С. Политическая нестабильность в XXI веке. М., 2003. С. 93–94.

²² Цит. по: Сондерс Ф.С. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны. М., 2013. С. 147.

²³ Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 1995. С. 477.

²⁴ Лисовский Ю.П., Любин В.П. Политическая культура Италии. М., 1996. С. 11.

²⁵ Андерсон П. Размышления о западном марксизме; На путях исторического материализма. М., 1991. С. 50.

²⁶ Андерсон П. Размышления о западном марксизме; На путях исторического материализма. М., 1991. С. 53.

²⁷ Андерсон П. Размышления о западном марксизме; На путях исторического материализма. М., 1991. С. 53.

²⁸ Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана. М., 2002. С. 226.

²⁹ Bobbio N. *Politica e cultura*. Torino, 1955. P. 87.

³⁰ «Только начиная с конца 40-х годов, — пишет Э.Я. Баталов, — когда богатая Америка развивает бурную активность в разрушенной Европе (План Маршалла) и Азии... и когда она начинает формировать вокруг себя то, что иногда называют “западным блоком”, — только тогда начинается “американский век”. Причем формировала его не только Америка, но и Западная Европа, которой нужен был прочный оборонный щит, мощная “спина”, экономический “спонсор”» (Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современных американских концепций). М., 2005. С. 61).

³¹ Крашенинникова В. Предисловие // Сондерс Ф.С. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны. М.: Кучково поле, 2013. С. 3.

³² О деятельности Конгресса за свободу культуры см., помимо книги Ф.С. Сондерс, статью французского публициста Денни Боно (Denis Boneau), известного своими критическими публикациями, — «Нью-йоркские интеллектуалы и рождение консерватизма» (www.voltairenet.org/article130043.html); а также работу Кристофера Лэша: *Lasch Ch. The Cultural Cold War: A Short History of the Congress for Cultural Freedom* // Nation. 11.09.1977.

³³ Совершенно иную цель и иные задачи ставило перед собой другое интернациональное культурное общество — Европейское общество культуры, активное участие в деятельности которого принимал Норберто Боббио, — противодействие политизации культуры, борьба с ложными ценностями, поддержка автономии культуры и ее протагонистов — интеллектуалов. О различных задачах и о различии в методах этих послевоенных организаций интеллектуалов см. диссертацию Фабно Гвидали: *Guidali F. Uomini di cultura e associazioni intellettuali nel dopoguerra tra Francia, Italia e Germania occidentale (1945–1956)* / Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Geschichte... Berlin, 2013 [www.diss.fuberlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000014889/Guidali_Fabio.pdf?hosts=].

³⁴ Британская журналистка Фрэнсис Стонор Сондерс, автор знаменитой книги-разоблачения роли ЦРУ как истинного организатора Конгресса за свободу культуры, рассказывает, что Мелвин Ласки был в то время «официально неофициальным» американским культурным пропагандистом в Германии и одним из старейших сторонников организованного интеллектуального сопротивления коммунизму» (Сондерс Ф.С. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны. М., 2013. С. 58).

³⁵ *Mastrogregori M. Politica e cultura: gli intellettuali, la CIA e la «Guerra fredda culturale» (1948–1968) / Lezioni tenute all'Università di Roma «La Sapienza»*. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di Laurea in Storia. A.a. 2005–2006. Roma, 2006. P. 125.

³⁶ О «критике идеологии» Э. Топича и о его разработках 70-х гг. по «деидеологизации» см.: Яковлев М.В. Идеология. Противоположность марксистско-ленинской и буржуазных концепций. М., 1979. С. 187–197.

³⁷ Сондерс Ф.С. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны. М., 2013. С. 5.

³⁸ Крашенинникова В. Предисловие // Сондерс Ф.С. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны. М., 2013. С. 4.

³⁹ Москвичев Л.Н. Теория «деидеологизации»: иллюзии и действительность (Критические очерки об одной модной буржуазной концепции). М., 1971. С. 216.

⁴⁰ Официальное название конференции: «V Международная конференция Конгресса за свободу культуры “Будущее свободы”», 12–17 сентября 1955 г.» (V Conferenza Internazionale Congresso per la libertà della Cultura «L’Avvenire della Libertà». Milano, 12–17 settembre 1955).

⁴¹ The Political Economy of American Foreign Policy. Its Concepts, Strategy, and Limits. Report of a Study Group Sponsored by the Woodrow Wilson Foundation and the National Planning Association / By William Y. Elliot. N.-Y., 1955.

⁴² См. об этом: *Иноземцев Н.Н.* Внешняя политика США в эпоху империализма. М., 1960. С. 627; *Яковлев А.Н.* Идеология американской «империи». Проблемы войны, мира и международных отношений в послевоенной американской буржуазной политической литературе. М., 1967. С. 371–372, 388.

⁴³ *Гофман А.Б.* Социология во Франции // Социология и современность: В 2 ч. / Редкол.: Ф.В. Константинов и др. М., 1976. Ч. 2. С. 270.

⁴⁴ *Арон Р.* Мемуары. 50 лет размышлений о политике. М., 2002. С. 265.

⁴⁵ См.: *Хайек Ф.А. фон.* Познание, конкуренция и свобода. Антология сочинений / Пер., сост. и предисл. С. Мальцевой. СПб., 1999. С. 228.

⁴⁶ Об этом см. статью: *Денни Боно.* Фридрих фон Хайек, крестный отец ультралиберализма // www.voltairenet.org/article133511.html.

⁴⁷ См.: *Арон Р.* Мемуары. 50 лет размышлений о политике. М., 2002. С. 268.

⁴⁸ Среди интеллектуалов миланской конференции особым интересом пользовалась тема сущности и исторического развития тоталитаризма и авторитаризма: так, с докладом по этой проблеме выступила Ханна Арендт («Подъем и развитие тоталитаризма и авторитарных форм правления в XX веке»).

⁴⁹ О роли М. Поланьи в деятельности Конгресса за свободу культуры см.: *Арон Р.* Мемуары. 50 лет размышлений о политике. М., 2002. С. 266–268.

⁵⁰ Об этих дискуссиях см.: *Никандров А.В.* Идеиные баталии первой половины 50-х годов XX века в Италии: Норберто Боббио и коммунисты в дискуссии о политике и культуре // Вопросы философии. 2013. № 5. С. 37–56; *Никандров А.В.* Интеллектуалы и политика в послевоенной Италии: Норберто Боббио и коммунисты. Спор о свободе и автономии культуры // STUDIUM–2012. Сборник научных статей философского факультета МГУ / Под ред. Е.Н. Мошелкова. М., 2012. С. 74–80.

⁵¹ О конференции «Будущее свободы» см.: *Scott-Smith G.* The Congress for Cultural Freedom, the End of Ideology and the 1955 Milan Conference: «Defining the Parameters of Discourse» // Journal of Contemporary History. Vol. 37. 2002. № 3. P. 437–455. Так же см. книгу этого автора: *Scott-Smith G.* The Politics of Apolitical Culture: The Congress for Cultural Freedom and the Political Economy of American Hegemony, 1945–1955. N.-Y., 2001.

⁵² Цит. по: *Москвичев Л.Н.* Теория «деидеологизации»: иллюзии и действительность (Критические очерки об одной модной буржуазной концепции). М., 1971. С. 10.

⁵³ Книга Арона «Опиум интеллектуалов» совершенно естественным образом вызвала яростную полемику, без преувеличения — шквал критики. О реакции интеллектуалов на работу Р. Арона, изначально рассчитанную на скандал, см.: *Baverez N.* Raymond Aron: Un moraliste au temps des ideologies. Paris, 1993.

⁵⁴ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 82.

⁵⁵ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 5.

⁵⁶ См.: *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 5.

⁵⁷ См. об этом более подробно: *Bernini L.* Declino (o trionfo?) delle religioni secolari. Raymond Aron e la questione delle ideologie politiche // Dialettica e filosofia [www.dialetticaefilosofia.it/.../54aron_e_l_ideologia.pdf].

⁵⁸ См.: *Bernini L.* Declino (o trionfo?) delle religioni secolari. Raymond Aron e la questione delle ideologie politiche // Dialettica e filosofia [www.dialetticaefilosofia.it/.../54aron_e_l_ideologia.pdf].

⁵⁹ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 206.

⁶⁰ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 82.

⁶¹ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 83.

⁶² *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 211.

⁶³ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 210.

⁶⁴ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 234.

⁶⁵ В.Н. Кузнецов, анализируя работу Арона «Опиум для интеллигенции», пишет: «Как ученый и как идеолог либерализма, Р. Арон стремился в своей книге объяснить мотивы широкого и устойчивого интереса интеллигенции к марксизму как идеологии во многих странах мира. Вместе с тем, ему важно было обосновать объективные причины предполагаемого снижения интереса интеллигенции к марксистской идеологии. Альтернативой такой идеологии у Р. Арона была представлена наука и ...либеральная идеология» (*Кузнецов В.Н.* Социология идеологии: Курс лекций. М., 2005. С. 43).

⁶⁶ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 215.

⁶⁷ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 216.

⁶⁸ При этом, как отмечает В.Ф. Коломийцев, «свои политические симпатии Арон предпочитал не афишировать, хотя всегда оставался на позициях либерализма». «Будучи талантливым идеологом либерализма, — говорит В.Ф. Коломийцев, — он подсознательно ощущал духовную слабость капиталистической системы, которая противоречит принципам разума и социальной справедливости» (*Коломийцев В.Ф.* Мысли Арона (в свете западной социологии XX века). М., 2013. С. 77).

⁶⁹ *Boneau D.* La «Democrazia» ed i suoi «amici». Raymond Aron, difensore dell'atlantismo // storiasoppressa.over-blog.it/article-criptocrazia-denis-boneau-raymond-aron-avocat-de-l-atlantisme-da-reseau-voltaire-2004-68030319.html.

⁷⁰ *Boneau D.* La «Democrazia» ed i suoi «amici». Raymond Aron, difensore dell'atlantismo // storiasoppressa.over-blog.it/article-criptocrazia-denis-boneau-raymond-aron-avocat-de-l-atlantisme-da-reseau-voltaire-2004-68030319.html.

⁷¹ *Арон Р.* Опиум для интеллигенции. Мюнхен, 1960. С. 233.

⁷² *Якунин В.И., Сулакишин С.С., Багдасарян В.Э., Кара-Мурза С.Г., Деева М.В., Сафонова Ю.А.* Постиндустриализм. Опыт критического анализа. М., 2012. С. 40.

⁷³ См. об этом: *Скворцов В.Н.* Доктрина конвергенции и ее пропаганда. М., 1974.

⁷⁴ *Москвичев Л.Н.* Теория «деидеологизации»: иллюзии и действительность (Критические очерки об одной модной буржуазной концепции). М., 1971. С. 17.

⁷⁵ См.: *Colloques de Rheinfelden / Par R. Aron, G. Kennan, R. Oppenheimer et autres.* Paris, 1960; *World Technology and Human Destiny / Ed. by R. Aron.* University of Michigan Press, 1963.

⁷⁶ Нельзя не заметить, что именно Б. Жувенело принадлежит первенство в разработке и внедрении идеи конвергенции социализма и капитализма: эта идея, в дальнейшем подхваченная многими западными политическими мыслителями, в том числе и Р. Ароном, Дж. Гэлбрейтом и др.) была выдвинута им в ходе Миланской конференции 1955 г. Об этом см.: *Москвичев Л.Н.* Теория «деидеологизации»: иллюзии и действительность (Критические очерки об одной модной буржуазной концепции). М., 1971. С. 16.

⁷⁷ *Яковлев А.Н.* Идеология американской «империи». Проблемы войны, мира и международных отношений в послевоенной американской буржуазной политической литературе. М., 1967. С. 231.

⁷⁸ *Далин А.* Предисловие // *Кеннан Д.Ф.* Проблемы внешней политики США. Нью-Йорк, 1956. С. 14.

⁷⁹ См.: *World Technology and Human Destiny / Ed. by R. Aron.* University of Michigan Press, 1963. P. 163–165.

⁸⁰ Американский интеллектуал-антикоммунист Джеймс Бернхэм в своей работе «Грядущее поражение коммунизма» (1949) назовет это представление «катастрофической точкой зрения», присущей коммунистам, — впрочем, как и всем иным, по его мнению, тоталитарным движениям (*Бернхэм Д.* Грядущее поражение коммунизма. Франкфурт-на-Майне, 1951. С. 7).

⁸¹ *Талмон Дж.Л.* Истоки тоталитарной демократии // *Тоталитаризм: что это такое?* (Исследования зарубежных политологов): Сборник статей, обзоров, рефератов, переводов. М., 1993. Ч. I. С. 192.

⁸² *Сёренсен Э.* Мечта о совершенном обществе. Феномен тоталитарной идеологии. М., 2014. С. 26.

⁸³ *Кеннан Д.Ф.* Проблемы внешней политики США. Нью-Йорк, 1956. С. 104.

⁸⁴ *Кеннан Д.Ф.* Проблемы внешней политики США. Нью-Йорк, 1956. С. 117.

⁸⁵ *Кеннан Д.Ф.* Проблемы внешней политики США. Нью-Йорк, 1956. С. 101.

⁸⁶ Крашенинникова В. Россия — Америка: холодная война культур. Как американские ценности преломляют видение России. М., 2007. С. 306.

⁸⁷ См.: Aron R. Industrial Society and the Political Dialogues of the West // World Technology and Human Destiny / Ed. by R. Aron. University of Michigan Press, 1963. P. 3–26.

⁸⁸ Гофман А.Б. Социология во Франции // Социология и современность. В 2-х ч. / Редкол.: Ф.В. Константинов и др. М., 1976. Ч. 2. С. 270.

⁸⁹ Зуева К.П. Вопреки духу времени. Некоторые проблемы теории и практики международных отношений в работах Раймона Арона. М., 1979. С. 25.

⁹⁰ Впрочем, нельзя не отметить и тот факт, что «технотронные изыскания» западных политических мыслителей подвергались острой критике не только учеными-марксистами Советского Союза, но и западными же интеллектуалами. Приведем пример: в 1969 г. профессор Массачусетского технологического университета Джон Макдермотт опубликовал памфлет «Технология: Опиум интеллектуалов» (*McDermott J. Technology: The Opiate of the Intellectuals* // *The New York Review of Books*. 31.07.1969), в котором подверг апологетов технологической революции серьезной критике за безответственные призывы к безоглядной технологизации «всего и вся», за бесосновательную «слепую веру» в «блага технологии» (об этом см.: Араб-Оглы Э.А. В лабиринте пророчеств. Социальное прогнозирование и идеологическая борьба. М., 1973. С. 133–144.

⁹¹ См.: Арон Р. Мемуары. 50 лет размышлений о политике. М., 2002. С. 264–268.

Карл Поппер и «тоталитаризм»

Поппер — апологет «открытого»
(буржуазного) общества

Карл Поппер придумал новую форму правления — тоталитаризм. Он написал специальную работу под названием «Открытое общество и его враги». Первый том имеет подзаголовок «Чары Платона», второй том — «Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы».

Цель Поппера — критика «тоталитаризма» и защита открытого общества, т.е. капитализма. Книга впервые вышла в 1945 году, затем неоднократно издавалась и, скажем прямо, пользовалась огромным успехом (да и сейчас пользуется) у многих философов, социологов, политологов и других представителей общественности.

На русском языке книга опубликована в 1992 году. Автор обратился к российскому читателю с длинным письмом. Чтобы яснее выразить мысли Поппера, я буду вынужден обильно его цитировать. Вот что он пишет в этом «Письме»: «Эту книгу об открытом обществе я написал в период между 1938 и 1943 годами в Новой Зеландии. Я защищал в ней скромную форму демократического (“буржуазного”) общества, в котором рядовые граждане могут мирно жить, в котором высоко ценится свобода и в котором можно мыслить и действовать ответственно, радостно принимая эту ответственность. Во многом оно походит на общество, ныне существующее на Западе. Это открытое общество, столь высоко ценящее мир и свободу, возникло в результате глубоких и радикальных революций. Со времен моего детства оно сильно изменилось, и хотя некоторые марксисты, и не только они, все еще называют его “капитализмом”, оно имеет очень мало общего с тем обществом, современником которого был Маркс, и еще меньше — с тем, которое было описано Марксом и которое он назвал “капитализмом”».

Мне уже почти девяносто лет. Решение написать эту книгу я принял в тот день, когда узнал о вторжении Гитлера в мою родную Австрию, а окончил работу над ней ровно пятьдесят лет назад... Опубликована она была в 1945 году, когда война в Европе уже окончилась, но работу над ней я считал своим вкладом в победу. Она была направлена против нацизма и коммунизма, против Гитлера и Сталина, которых пакт 1939 года сделал на время союзниками.

Моя неприязнь к этим именам была столь велика, что я ни разу не упомянул их в «Открытом обществе». В этой книге я решил проследить историю, приведшую к учению великого философа Платона — первого поли-

тического идеолога, мыслившего в терминах классов и придумавшего концентрационные лагеря. А фигура Сталина побудила меня обратиться к изучению философии Карла Маркса»¹.

Итак, Поппер в Новой Зеландии пишет книгу против «тоталитаризма», а в это время в Европе Советский Союз во главе со Сталиным ведет ожесточенную борьбу против Гитлера. Он сбежал в далекую Новую Зеландию и там спокойно занимался критикой Платона и других великих философов как «сторонников тоталитаризма», в то время как многие философы с оружием в руках боролись против фашистской Германии.

Поппер недоволен тем, что Платон остро критикует демократическое устройство государства. По его мнению, политическая позиция самого Платона полностью вписывается в тоталитаризм. «...Я считаю, — пишет Поппер, — что в нравственном отношении политическая программа Платона не выходит за рамки тоталитаризма и в своей основе тождественна ему»². Как пишет сам Поппер, его точку зрения многие критиковали. С этой критикой он, конечно, не согласен. Но критики Поппера были правы. Человек, претендующий на ученость и объективность, употребляющий не только термин «историцизм», но и термин «историзм», совершенно неисторически подходит к политической философии Платона. Эпоха великого античного мыслителя и эпоха Поппера настолько отличаются друг от друга, что было бы просто бессмысленно проводить какие-то аналогии. Если даже употребляются одни и те же термины (например, демократия), тем не менее они не несут одинаковую смысловую нагрузку. Демократия во времена Платона и современная демократия коренным образом отличаются. Античная демократия, например, носила непосредственный характер, а современная — опосредованный. Но Поппера это мало волнует. Для него главное — доказать «тоталитаризм» учения Платона о государстве.

Резко отрицательно Поппер относится к Гегелю. Он утверждает, что гегелевский диалектический метод восприняли те, кто не хотел заниматься глубокими научными исследованиями и хотел добиться быстрых успехов посредством диалектических хитросплетений. Влияние же Гегеля в Германии Поппер объясняет поддержкой прусского государства. «Получилось так, что он занял положение первого официального философа пруссачества в период феодальной «реставрации» после наполеоновских войн»³. Сам Поппер Гегеля третирует как «мертвую собаку», отравляющую окружающую среду своим зловонным запахом. «Что же касается Гегеля, — пишет он, — я даже не думаю, что он — талантливый философ. Но несомненно, что он совершенно неудобоваримый писатель. Как вынуждены признать даже самые ревностные сторонники, стиль его работ «безусловно скандален». Что же касается их содержания, оно превосходит только выдающимся отсутствием оригинальности. В работах Гегеля нет ничего, что не было бы гораздо лучше сказано до него. В его апологетическом методе нет ничего такого, что не было бы сказано другими апологетами до него. Гегель, хотя и без всякого блеска, освятил эти заимствованные мысли единым намерением и подчинил их одной цели: борьбе против откры-

того общества и служению своему работодателю — Фридриху Вильгельму III Прусскому. Путаница и унижение разума частично были необходимы Гегелю как средство достижения этой цели, частично были случайным, но тем не менее вполне естественным выражением состояния его ума. Вряд ли вообще стоило заниматься Гегелем, если бы не пагубные последствия его философии⁴. Эти «пагубные последствия» Поппер видит в том, что Гегель продолжил «тоталитаристские» традиции Гераклита, Платона и Аристотеля, являвшихся якобы злейшими врагами открытого общества. Тоталитаризм Гегеля, пишет Поппер, проявляется в том, что он, как и Платон, культивировал государство, целиком и полностью подчинял ему индивида, последнего лишал всякой самостоятельности и независимости. Государство — все, а индивид — ничто. Современный тоталитаризм и гегельянство, заключает Поппер, очень близки, ибо наиболее важные идеи «непосредственно восходят к Гегелю...»⁵.

Великий Гегель не заслуживает такого нелестного отзыва со стороны Поппера. Да, Гегель действительно был сторонником прусской монархии, о чем он открыто писал. Но это ему не помешало создать философские произведения, в которых, хотя и много мистического, но гораздо больше гениальных мыслей, будоражащих до сих пор умы людей, о чем свидетельствуют многочисленные работы, посвященные наследию Гегеля, регулярно созываемые Международные гегелевские философские конгрессы.

Что касается так называемого тоталитаризма Гегеля, то это на совести апологета буржуазного общества Поппера, искусственно связавшего философию Платона и Гегеля с разновидностями современных политических режимов. Вопреки утверждениям Поппера, Гегель не просто талантлив, но гениален. Без него нет философии XIX века, без него нет и философии XX века. Без него нет вообще мировой философии.

Идеи Поппера были подхвачены Х. Арндт. В 1951 году она выпустила книгу «Истоки тоталитаризма», в которой дала развернутое изложение тоталитаризма. Сразу же замечу, что в книге Х. Арндт нет никаких оригинальных идей. Судя по тому, что первая часть работы посвящена антисемитизму, истоки тоталитаризма Х. Арндт видит прежде всего в антисемитизме. Тоталитарными государствами она объявляет фашистскую Германию и Советский Союз.

В тоталитарных государствах, пишет Х. Арндт, массы поддерживали Гитлера и Сталина. Но Арндт бьет мимо цели. Массы также поддерживают глав государств «демократических» государств. Об этом свидетельствует современная буржуазная избирательная система, которая включает в себя мощные средства массовой информации, призванные использовать все политические технологии по оболваниванию избирателей (электорат).

Когда началась перестройка, приведшая не только СССР, но и многие государства мира, к катастрофе, бывшие советские марксисты и коммунисты, превратившиеся в антимарксистов и антикоммунистов, советский строй объявили тоталитарным и репрессивным режимом⁶. Появились сотни статей, монографических исследований, посвященных «тоталитаризму». Их авторы абсолютно не считались ни с научными методами изуче-

ния общества, ни с реалиями советского социализма, ни с историческими фактами, ни с законами революции, ни с трудностями строительства социализма в СССР, ни с тем, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в великой победе над фашистской Германией.

В 1993 году вышел сборник статей, в которой опубликована статья Игрицкого Ю.И. «Тоталитаризм: лекарство от демократии?». Автор пишет, что К. Фридрих и З. Бжезинский предложили определить тоталитарные режимы «на основе шести критериев, которые получили в дальнейшем название «тоталитарного синдрома» и принесли авторам широкую известность. Каковы эти критерии? Во-первых, официальная идеология, полностью отрицающая ранее существовавший порядок и призванная сплотить всех граждан общества для построения нового мира; во-вторых, единственная массовая партия, возглавляемая одним человеком (диктатором), организованная по олигархическому принципу и тесно интегрированная с господствующей бюрократией; в-третьих, террористический контроль не только над «врагами» режима, но и над всеми, на кого укажет перст партийного руководства; в-четвертых, партийный контроль над всеми средствами массовой информации; в-пятых, аналогичный контроль над всеми вооруженными силами; в-шестых, централизованное бюрократическое руководство всей экономикой»⁷.

Эти критерии не выдерживают никакой критики, поскольку они не раскрывают сущность «тоталитаризма».

Тоталитаризм — идеологический миф

Карл Поппер, по собственному признанию, «в ранней молодости был марксистом и даже коммунистом. (Мне не было и 17 лет, когда я отверг это учение)»⁸. Получается, что Поппер уже в юношеском возрасте разочаровался в марксизме и коммунизме. Неужели он так основательно изучил огромное теоретическое наследие Маркса? Верится с трудом. Но дело не в этом. Дело в том, что Поппер не понял ни Маркса, ни Гегеля, ни Платона. Он не рассматривает социальные теории в контексте истории и конкретной действительности. Он оказался в плену буржуазной идеологии и не смог объективно и научно анализировать социально-экономические и политические проблемы. Он сочинил понятие тоталитаризма и, отталкиваясь от него, конструирует на свой лад социальную действительность. Ему надо доказать «гуманность открытого общества» и «тоталитарность закрытого общества», под которым он подразумевает фашизм в Германии и Советский строй. Но если бы Поппер не был ослеплен ненавистью к социализму, то не писал бы такого рода бред.

Термин «тоталитаризм» (от латинского *totalis* — полный, целый) означает абсолютный контроль государственных органов власти всех сфер общественной жизни — экономической, политической, социальной и духовной. Совершенно очевидно, что ни один политический режим не в состоянии контролировать все, что происходит в обществе. Даже француз-

ский король Людовик XIV, любивший повторять: «Государство — это я», не мог установить абсолютный контроль над всей Францией.

Поскольку сторонники тоталитаризма фашистскую Германию и Советский Союз считают «тоталитарными» государствами, то придется анализировать эти две абсолютно разные политические системы.

Фашизм — это одна из наиболее реакционных буржуазных форм политического правления. Он возник после окончания Первой мировой войны в Италии и Германии. Затем в Испании и Португалии тоже устанавливаются фашистские режимы. Наиболее агрессивным и реакционным был фашизм в Германии.

Фашизм — это террор, насилие и агрессивность. Идеология фашизма — это шовинизм, оголтелый национализм, антикоммунизм и антисоветизм, расизм, ненависть ко всем народам, особенно к славянским, и прежде всего к русскому народу. Нельзя здесь не привести слова Сталина, сказанные им в докладе на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы. 6 ноября 1941 года: «...Эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации — нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова»⁹.

Фашисты, особенно итальянские и немецкие, использовали в своей постоянной агитации и пропаганде социалистические лозунги. Но это было связано с тем, что термин «капитализм» дискредитировал себя в глазах народных масс, социалистические идеи доминировали в общественном сознании. Немецкие фашисты даже использовали термин «национал-социализм», но на самом деле ни о каком социализме не могло быть и речи. Адольф Гитлер ненавидел марксизм, социализм в подлинном смысле этого слова и никогда не стремился к каким-либо социалистическим преобразованиям. Напротив, он беспощадно расправлялся со всеми левыми партиями, особенно с коммунистической партией, запретив ее после прихода к власти.

Политическая надстройка фашистской Германии — это буржуазная диктаторская надстройка, беспощадно расправлявшаяся со всеми своими политическими противниками.

Но даже в этих диктаторских условиях не приходится говорить о тоталитарном характере фашистского государства. Было мощное подпольное движение антифашистов, которое даже в войну не прекращало свою деятельность.

Если брать экономический базис фашистских государств, то это типичный базис буржуазного общества. Фундамент этого базиса — частная собственность на средства производства со всеми вытекающими отсюда последствиями. Принцип капитализма и, естественно, фашизма как разновидности капитализма — индивидуализм.

И никакого тоталитаризма не было в сфере экономики. Гитлер вообще мало интересовался экономическими вопросами. Он выступал за центра-

лизованное и милитаризованное государство, экономическую мощь которого обеспечивала в первую очередь крупная буржуазия.

Итак, фашистское государство в Германии — это одна из разновидностей буржуазного государства.

В отличие от фашистской Германии в Советском Союзе было социалистическое государство рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Политическая система социализма — это реальная, а не формальная буржуазная демократия. В буржуазной демократии нет принципа обратной связи. Посредством демагогических ухищрений и новейших политических технологий выигрывает выборы, как правило, тот, у кого есть большая финансовая поддержка со стороны тех или иных слоев буржуазного класса. Избранный на должность кандидат забывает о своих обещаниях, не реагирует на жалобы своих избирателей и не несет за это никакой ответственности. Поэтому люди вынуждены выходить на улицы, организовывать демонстрации, естественно с согласия власти. Но такого рода протесты, как правило, малопродуктивны.

В отличие от буржуазной демократии в условиях социализма строго соблюдается принцип обратной связи. Субъект власти чувствует свою ответственность перед людьми и поэтому реагирует на любую жалобу гражданина.

Идеология социализма в отличие от идеологии фашизма — это интернационализм, гуманизм, социальная справедливость и социальное равенство. Советский Союз был многонациональным государством. И все народы независимо от их численности пользовались одинаковыми политическими и иными правами. Возьмем, например, Верховный Совет СССР — высший орган государственной власти в стране. Он состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Обе палаты были равноправны. Совет Союза избирался по избирательным округам с равной численностью населения. А Совет Национальностей избирался по норме: «32 депутата от каждой союзной республики, 11 депутатов от каждой автономной республики, 5 депутатов от каждой автономной области и один депутат от каждого автономного округа»¹⁰. Таким образом, несмотря на разницу в численности населения (РСФСР с населением более ста миллионов человек и республики с населением 3–5 и т.д. миллионов человек) все союзные республики имели одинаковое количество депутатов.

Многие народы Советского Союза до революции не имели своей письменности. Благодаря Советской власти они получили письменность, что дало возможность развивать свою культуру. Вообще надо сказать, что осуществленная в СССР культурная революция была невиданным феноменом в истории человечества.

Экономический базис социализма — это общественная (государственная) собственность на средства производства. Она выступала в двух видах — государственная собственность и колхозно-кооперативная. Кроме того, была и индивидуальная собственность (пошив обуви, одежды и т.д.). Следует подчеркнуть, что колхозы и кооперативы сами распоряжались своей соб-

ственностью. Вообще колхозы базировались на принципах самоуправления и государство непосредственно не вмешивалось в их дела.

Социализм — это товарищеский способ производства. Принцип социализма — это коллективизм. Все члены того или иного предприятия, завода, учебного заведения и т.д. чувствовали свою ответственность за порученное дело и, как правило, активно обсуждали те или иные вопросы, касающиеся своего коллектива.

Таким образом, ни в фашистской Германии, ни тем более в Советском Союзе не было тоталитаризма в строгом и точном смысле этого слова. В фашистской Германии была диктатура наиболее реакционной части буржуазии, а в Советском Союзе — диктатура пролетариата. Эти две формы политического правления абсолютно противоположны друг другу.

Поппер и его адепты сочинили идеологический миф о тоталитаризме фашизма и социализма. Тем самым они защищают не «открытое общество», а буржуазное общество, разновидностью которого является фашизм. Они хотят опорочить социализм и тем самым лишитъ человечество своего будущего. Но логика истории рано или поздно приведет к победе социализма.

На самом деле современный капитализм есть не открытое общество, а буржуазное тоталитарное государство. Человек западного общества постоянно находится под усиленным контролем СМИ, обслуживающих интересы господствующего класса. На всех граждан заведены досье, все данные о гражданах находятся в компьютере. Американское государство не доверяет не только своим гражданам, но и лидерам других государств, в том числе европейских государств, являющихся друзьями США.

¹ *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. I. Чары Платона. С. 7.

² *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. I. Чары Платона. С. 124.

³ *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. II. Время пророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. С. 38.

Поппер глубоко ошибается. Гегель не был официальным философом. Политические воззрения Гегеля носили прогрессивный характер. Он приветствовал Великую французскую революцию XVIII века.

⁴ *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. II. Время пророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. С. 41–42.

⁵ *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. II. Время пророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. С. 76.

⁶ Невольно вспоминаются слова великого русского мыслителя П.Я. Чаадаева: «Внутреннего развития, естественного прогресса у нас нет, прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не вырастают из первых, а появляются у нас откуда-то извне. Мы воспринимаем идеи только в готовом виде; поэтому те неизгладимые впечатления, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний» (*Чаадаев П.Я.* Сочинения. М., 1989. С. 21).

⁷ *Игрицкий Ю.И.* Тоталитаризм: лекарство от демократии? // Тоталитаризм: что это такое? (Исследования зарубежных политологов). Сборник статей, обзоров, переводов. М., 1993. Ч. I. С. 10.

⁸ *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. I. Чары Платона. С. 7.

⁹ *Сталин И.В.* Доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы. 6 ноября 1941 года // *Сталин И.В.* Сочинения. М., 1997. Т. 15. 1941–1945. С. 79.

¹⁰ Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик, М., 1977. С. 39.

Смысл политики по Карлу Шмитту
и по Ивану Ильину: опыт сравнительного анализа

Настоящий ежегодник посвящен исследованию одних из наиболее фундаментальных категорий политического мира — категорий «политики» и «политического». Если говорить о самых актуальных аспектах их исследования, то, наверно, мало что может быть более актуальным в этой области, чем попытка соотнести некоторые ключевые «мыслительные матрицы», образующие основы понимания этих категорий в западной и отечественной мысли. Задача эта, безусловно, очень сложная, но сегодня, в условиях новых, и очень серьезных, осложнений в реальных международных отношениях, и в особенности отношениях России с Западом, представляющаяся особенно актуальной¹.

Почему для сравнения выбраны здесь именно концепции Карла Шмитта и Ивана Александровича Ильина? Карл Шмитт — весьма признанный авторитет в современной политической философии. Собственно, именно он и разработал понятие «политического», являющее сегодня одну из главных основ политико-философского осмысления мира политики. В то же время в его концепции политического в наиболее отчетливой форме выразились представления, уже обозначенные многими представителями западной политико-философской мысли. К этому следует добавить, что в нашей стране в последние годы все более популярными становятся различные направления консерватизма, а идеи Карла Шмитта относятся, без сомнения, к этой части политико-идеологического спектра. Идеи же Ивана Ильина сегодня весьма востребованы в России. На наш взгляд, в политико-философских трудах И.А. Ильина в весьма концентрированной и прекрасно артикулированной форме выражены многие фундаментальные идеи о власти, государстве и политике, характерные для русской мысли в целом. К тому же политико-философская мысль Ивана Ильина, после короткого юношеского увлечения либеральными идеями, затем развивалась в определенно консервативном русле, хотя, в соответствии с духом времени, этот консерватизм и может быть назван в определенной мере либеральным. Таким образом, речь идет здесь не только об отдельных мыслителях, но и концентрированном выражении определенных, и весьма характерных, в частности, для национальных мыслительных традиций, матриц политико-философского мышления. Цель настоящей статьи — постараться выявить сходства и различия во взглядах двух мыслителей на основания и основной смысл политической деятельности.

Однако что делает возможным такое сравнение? При непосредственном сопоставлении текстов возможность их содержательного сравнения вызывает определенные сомнения. К. Шмитт и Иван Ильин пишут свои труды с совершенно различными целями; большинство трудов К. Шмитта подчеркнуто академичны, а И. Ильин, для которого в духе русской мыслительской традиции главным вопросом выступает вопрос «что делать?», в политико-философских работах тяготеет к публицистичности; Шмитт пишет крупные политико-философские и философско-правовые трактаты, а Ильин в области политического тяготеет к коротким статьям или бюллетеням на злобу дня; авторы принадлежат к очень разным мыслительным традициям; невозможно также «унифицировать» употребляемую ими терминологию. Собственно, для Ивана Ильина вообще довольно чужда терминология, свойственная теории политики. В силу того, что российская философия политики начиналась с философии права, ему гораздо ближе философско-правовой язык, и даже одну из центральных, наполненных глубоким политическим смыслом категорий своей политической философии он обозначает вполне «юридическим» термином «правосознание».

Между тем, при всех его очевидных и ожидаемых трудностях, такое сравнение все же представляется возможным и осмысленным. При всей разнице подходов оба автора очень хорошо знают европейскую, в особенности немецкую философскую и общественно-политическую мысль, имеют во многом сходную философскую школу; в частности, для каждого из них признаваемым авторитетом выступает философия права Гегеля. Идеи обоих мыслителей, по большому счету, относятся, хотя и с рядом оговорок, к консервативной части политико-идеологического спектра. И тому, и другому мыслителям не чужды идеи «оздоровляющей» диктатуры, призванной сохранить или укрепить основы государственности. Что касается терминологии, то разность ее представляется преодолимой. Ведь к понятию «политического» К. Шмитт приходит, стараясь углубить анализ оснований государственности², что совсем не чуждо и ходу мысли И. Ильина. Общий же смысл категории «политическое» у Шмитта, как представляется, связан с поиском глубинных оснований и смысла политики, в частности, через попытку выделить отличительные характеристики этой сферы, отграничить ее с помощью этих характеристик от других сфер общественной жизни и человеческой деятельности. «Демаркационные» сюжеты не слишком близки мысли Ивана Ильина, однако вопросы об общем смысле и назначении политики как деятельности его, несомненно, занимают. Таким образом, сравнение идей двух мыслителей в указанной области представляется возможным; в то же время такого прямого сравнения, насколько известно автору, в научной литературе пока не проводилось³.

К понятию «политического», как уже отмечалось выше, Карл Шмитт пришел, анализируя основы государственности. «Понятие государства. — пишет он в знаменитой работе об этом понятии, — предполагает понятие политического»⁴. Государство же есть, по его мнению, некое особое состояние народа.

Однако здесь необходимо внести одно важное уточнение. Шмитт пишет о том, что традиционно в политической мысли было принято ставить знак равенства между «государственным» и «политическим», и это отождествление, в общем и целом, работало. Перестает же оно эффективно работать лишь в условиях становления государственности особого рода, которую Шмитт описывает следующим образом: «Уравнение “государственное=политическое” становится неправильным и начинает вводить в заблуждение настолько, насколько государство и общество начинают пронизывать друг друга»⁵. Эту его мысль можно было бы понять по-разному, но дальнейший ход рассуждений придает ей однозначную определенность. Шмитт описывает «тотальное государство тождества государства и общества, не безучастное ни к какой предметной области, потенциально всякую предметную область захватывающее» и добавляет еще характеристику такого государства Х. Трешером как такого, где осуществляется «живейшее проникновение всех общественных сфер государством для всеобщей цели: добыть все витальные силы народного тела для государственного целого»⁶.

Таким образом, картина выраженных идей обретает вполне ясные черты. Понятие «политического» требуется Шмитту прежде всего для того, чтобы различить «государственное» и «политическое» в деятельности именно такого государства, которое занимается отнюдь не только политическими вопросами, а старается взять под контроль жизнь общества в целом, проникая во все поры его повседневной жизни. Для такого государства это различие действительно имеет конкретный смысл. Можно сказать, что Шмитт в 1920-е годы старается обновить и актуализировать теорию государства, а актуальным в этом отношении ему представляется как раз государство, стремящееся ко всеобъемлющему контролю над общественной и личной жизнью граждан, то есть по существу государство тоталитарное, которое в это время в Италии уже существует, а в Германии становится все более популярной идеей.

Очевидно, что перспектива утверждения такого государства К. Шмитта, по крайней мере, в эти годы совершенно не страшит. Более того: именно такое государство его в особенности интересует. Так, например, уже в 1921 году выходит первое издание его книги «Диктатура» (книга выдержала потом много изданий), где при в целом нейтрально-академическом тоне подводится не только политическое, но даже и философско-правовое основание под идею ничем, по существу, не ограниченной диктатуры. В этой книге Шмитт различает, в частности, понятия «комиссарской» и «суверенной» диктатуры. И если «комиссарская» диктатура трактуется им как необходимое ограничение свободы в условиях очень больших угроз для действующей конституции, то есть, по существу, является осуществляемой диктаторскими средствами защитой как раз действующей конституции, то суверенная диктатура понимается как принципиально не связанная конституционными нормами. К. Шмитт подводит под такую диктатуру своеобразное правовое основание. «Суверенная... диктатура, — пишет он, — весь существующий порядок рассматривает как

состояние, которое должно быть устранено ее акцией. Она не приостанавливает действующую конституцию в силу основанного на ней и, стало быть конституционного права, а стремится достичь состояния, которое позволило бы ввести такую конституцию, которую она считает истинной конституцией. Таким образом, она ссылается не на действующую конституцию, а на ту, которую надлежит ввести»⁷. Ясно, что речь идет о ситуации, говоря современным языком, выходящей за пределы правового поля. Однако К. Шмитт оценивает ее следующим образом: «Могло бы показаться, что такое предприятие ускользает от всякого правового рассмотрения. Ведь государство в правовом отношении может быть понято только в своей конституции, а тотальное отрицание действующей конституции должно было бы, собственно говоря, не претендовать на правовое обоснование, поскольку вводимая конституция, по ее собственной посылке, еще не существует. Поэтому речь шла бы только о вопросе власти. Но все обстоит иначе, если допустить существование такой инстанции, которая, не будучи сама учрежденной конституционно, тем не менее находится в такой связи с любой действующей конституцией, что выступает в качестве фундирующей власти, даже если сама она никогда не охватывается ей, так что вследствие этого она не подвергается отрицанию даже тогда, когда ее будто бы отрицает действующая конституция. В этом состоит смысл учредительной власти»⁸.

Таким образом, К. Шмитт здесь не только признает неограниченную диктатуру как случайный политический факт, но и конструирует для нее определенное философско-правовое обоснование. В вышедшей же в 1922 году работе «Политическая теология» К. Шмитт формулирует своеобразную концепцию государственного суверенитета, в соответствии с которой суверенитетом в государстве обладает тот, кто может объявить чрезвычайное положение. При этом чрезвычайное положение мыслится здесь как не ограниченное жесткими правовыми рамками (как это делается в современных конституциях). Таким образом, и здесь речь идет о действиях власти вне рамок «правового поля», и именно такие ее действия рассматриваются как непосредственно политические⁹. Собственно, из этого и вырастает постепенно шмиттовская философско-правовая концепция «децизионизма», рассматривающая решение власти как основной источник права. Именно на таком интеллектуальном фоне формируется у К. Шмитта и концепция «политического».

Определить понятие «политического», по Шмитту, можно, только обнаружив и установив специфически политические категории. В качестве таковых он определяет соотносительные категории друга и врага. «Смысл различения друга и врага, — отмечает мыслитель, — состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, ассоциации или диссоциации»¹⁰. Таким образом, политическое, по Шмитту, не представляет собой какой-то собственной предметной области, а только выражает степень интенсивности ассоциации или диссоциации. Потому и любой конфликт может стать политическим, дойдя до определенной степени остроты. Можно сказать, что Шмитт не видит в политике как деятельности какого-либо пози-

тивного или творческого содержания; политика для него есть лишь обозначение для конфликта, достигшего высокой степени остроты.

Интересно, что Шмитт пишет о категориях друга и врага, однако категорию друга в основной своей работе о понятии политического никак не исследует; его гораздо более интересует категория врага. И эту категорию он трактует очень своеобразно. Он отмечает, что у политического должны быть собственные критерии, и потому «морально злое, эстетически безобразное или экономически вредное от этого еще не оказывается врагом»¹¹. По существу, Шмитт отрицает возможность вражды между политическими субъектами и по причине разницы интересов (скажем, экономических или геополитических). Для него вопрос о враге возводится на экзистенциальный уровень. Враг, отмечает мыслитель, «есть именно иной, чужой... он в особенно интенсивном смысле есть нечто иное и чуждое»; «враг есть только... борющаяся совокупность людей, противостоящая точно такой же совокупности»¹². Таким образом, по существу на уровне политических общностей образ врага для Шмитта есть просто образ Другого, доведенный до особой остроты неприятия: иной способ существования, который каким-то образом отрицает способ существования твоей общности. Понятно, что, ориентируясь на такой взгляд, можно **довести** до состояния вражды отношения, которые сами по себе могут во вражду и не превратиться.

Определив в политическом смысле Другого как врага, Шмитт не останавливается и перед вытекающими из этого практическими выводами. «Понятия “друг”, “враг” и “борьба”, — пишет он, — свой реальный смысл получают благодаря тому, что они особо сопряжены и постоянно сохраняют связь с реальной возможностью физического убийства. Война следует из вражды, ибо эта последняя есть бытийственное отрицание чужого бытия. Война есть только крайняя реализация вражды»¹³. Действительно, определив иную политическую общность как врага, сам способ существования которого отрицает твой, нельзя не стремиться к ее уничтожению (если враг не сдастся. его уничтожат, иначе он уничтожит тебя и всю твою общность — это выглядит вполне логично, если понимать иную общность как врага в шмиттовском смысле). При таком уровне и экзистенциальном характере вражды между общностями война между ними выглядит как нечто абсолютно естественное. Собственно, для нее, по Шмитту, не требуется даже столкновения интересов — вполне достаточно этой постоянно существующей экзистенциальной вражды.

Очень важным представляется и следующий тезис Шмитта. «Война, — пишет он, — это вообще не цель и даже не содержание политики, но скорее, как реальная возможность она всегда есть наличествующая предпосылка, которая уникальным образом определяет человеческое мышление и действие и тем самым вызывает специфически политическое поведение»¹⁴. Таким образом, согласно Шмитту, война не всегда присутствует в отношениях между общностями как физическая данность, но всегда существует как возможность, причем такая возможность, которая определяет характер

мыслей членов этих общностей, и более того — именно она определяет их политическое поведение. То есть политическое их бытие определяется прежде всего враждой, а война — наиболее адекватное выражение этой вражды, которое всегда присутствует — если не как наличное бытие, то как вполне реальная возможность и к тому же возможность, в наибольшей степени соответствующая характеру их взаимных отношений.

Возможные возражения против такой трактовки учения Шмитта о политическом сводятся в основном к тому, что вражда касается у него субъектов большой политики, но не личностей, и что вражда относится ко внешнему, международному, но не внутреннему бытию государства.

Действительно, Шмитт подчеркивает, что «для отдельного человека как такового нет врага, с которым он должен был бы биться не на жизнь, а на смерть»¹⁵. Коллективного же врага должен определить некий коллективный субъект. В ранних работах в роли такого коллективного субъекта мыслитель представляет католическую церковь, в более поздних — государство. «Государству как сущности политическому единству, — пишет Шмитт в работе «Понятие политического», — принадлежит... реальная возможность в некотором данном случае в силу собственного решения определить врага и бороться с врагом»¹⁶.

Что же остается в таком случае индивиду? Сам по себе он не имеет непримиримых врагов, но как член политической общности он оказывается втянутым в эту вражду, которая при определенных обстоятельствах может определить все его бытие и его судьбу, поскольку может потребовать от него готовности самому убивать или стать жертвой убийства. То есть гражданин как личность не имеет врагов в экзистенциальном смысле, однако должен быть готовым испытать на себе всю, порой запредельную, интенсивность противостояния с врагами, которых по своему усмотрению определяют для него другие. И это касается не только его принадлежности к определенному государству, но и его принадлежности к определенному народу. Представляется, что Шмитт в этом вопросе не только «констатирует» наличие вражды как фактически неизбежного характера отношений между политическими общностями, но и выступает со своего рода апологией этой вражды. «Пока народ, — пишет он, — существует в сфере политического, он должен... определить различие друга и врага. В этом состоит существо его политической экзистенции. Если у него больше нет способности или воли к этому различению, он прекращает политическое существование». «Если пропадает это различение, то пропадает и политическая жизнь вообще... Если часть народа объявляет, что у нее врагов больше нет, то тем самым, в силу положения дел, она ставит себя на сторону врагов и помогает им, но различие друга и врага тем самым отнюдь не бывает устранено... От того, что у народа нет больше силы или воли удержаться в сфере политического, политическое из мира не исчезает. Исчезает только слабый народ»¹⁷. Таким образом, по учению Шмитта, народ, который перестанет с кем-то враждовать, по существу, исчезнет как

народ, а гражданин, принадлежащий к какому бы то ни было народу, тем самым приговорен ко вражде. Вражда же наиболее естественным образом выражается в войне на уничтожение. Очевидно, что «настоящую вражду» Шмитт ставит очень высоко. «Высшие точки большой политики, — пишет он, — суть одновременно те мгновения, когда враг в конкретной четкости прозревается как враг»¹⁸. То, что ведет к войне, таким образом, осмысливается здесь как высшее проявление политики.

Гражданина, втягиваемого в вихрь экзистенциальной вражды, однако, в контексте шмиттовской концепции, как видно, не приходится жалеть, поскольку он, согласно Шмитту, — «существо злое». Более того, Шмитт убежден, что таким человек предстает в любом из политических учений, причем эта злобность самым тесным образом связана с лучшими проявлениями человеческой природы. Так, учение Т. Гоббса Шмитт характеризует как «правильное понимание того, что именно наличествующее с обеих сторон убеждение в истинном, добром и справедливом влечет за собой наихудшую вражду»¹⁹. Необходимо заметить, что по отношению к политическим учениям в целом Шмитт в этом отношении, безусловно, неправ. Не говоря уже об учениях древнего мира, например, ученика Конфуция Мэн Цзы, безусловно верившего в добрую природу человека, нужно сказать, что такой верой, безусловно, вдохновлено, например, учение Томаса Джефферсона о «добродетельной республике» и шире — большинство учений эпохи Просвещения, поскольку искренне выступать за расширение и углубление свободы и демократии можно лишь в том случае, если с доверием относишься к людям в их большинстве и веришь как в их умственные, так и в их нравственные способности. Безусловно, не исходят из представления о «злой природе человека» и большинство русских мыслителей — иначе никак не объяснить, например, столь характерный для русской мысли идеал «богочеловечества».

Другое возражение против понимания шмиттовской доктрины политического как учения о вражде состоит в ограничении «сферы» этой вражды отношениями между государствами и внешней политикой. Так, например, Э.-В. Бёкенфёрде в статье «Понятие политического как ключ к работам К. Шмитта по государственному праву» утверждает, что, согласно Шмитту, во внутренней политике государства «люди делают так, что интенсивность группирования по принципу “друг-враг” не достигается»²⁰. Однако это, как представляется, некоторое упрощение. Так, сам К. Шмитт в «Понятии политического» пишет, например, следующее: «Уравнение “политическое = партийно-политическое” возможно, если идея объемлющего, релятивирующего все внутривнутриполитические партии и их противоположности политического единства (“государства”) теряет силу и, вследствие этого, внутривнутриполитические противоположности обретают большую интенсивность, чем общая внешнеполитическая противоположность другому государству. Если партийно-политические противоположности внутри государства без остатка исчерпывают собой противоположности политические, то тем самым достигается высший предел “внутриполити-

ческого” ряда, то есть внутригосударственное, а не внегосударственное разделение на группы “друг / враг” имеет решающее значение для вооруженного противостояния. Реальная возможность борьбы, которая должна всегда быть в наличии, чтобы можно было говорить о политике, при такого рода “примате внутренней политики” относится, следовательно, уже не к войне между организованными единствами народов (государствами или империями), но к войне гражданской»²¹. Таким образом, согласно Шмитту, возможны ситуации, когда вся острота экзистенциального противостояния с врагами будет осуществляться именно внутри государства.

Представляются не имеющими достаточных оснований и попытки представить шмиттовское учение об острейшей вражде как существо политического и лишь в качестве некоторого *этапа* в развитии взглядов мыслителя. Существо взглядов К. Шмитта, как представляется, сравнительно мало менялось на протяжении его жизни. И точно так же, как основные идеи его статей нацистского периода о том, как «фюрер защищает право», можно найти и в его работах других периодов, идеи о подлинной политике как интенсивном выражении вражды встречаются в любой период его творчества. Так, например, уже в работе 1954 года «Номос Земли» он трактует, по существу, всю историю человечества как историю насильственных захватов»²², а в работе 1963 г. «Теория партизана» высоко оценивает явление партизанского движения как выражение «настоящей вражды» и утверждает, что «последовательное осуществление абсолютной вражды придает войне ее смысл и справедливость»²³. Более того, в этой поздней работе К. Шмитт развивает основные идеи «Понятия политического», утверждая, что только в столкновении с врагом мы можем «обрести собственную меру, собственные границы, собственный гештальт»²⁴.

Что же касается Ивана Ильина, то ему, без сомнения, свойствен существенно иной взгляд на политику, даже иной угол зрения на нее. Однако прежде постараемся понять, есть ли что-то общее во взглядах двух мыслителей. Как и Карл Шмитт, И. Ильин подходит к анализу политики как философ, стремится вскрыть ее глубинные основания. Поэтому он считает необходимым освободить ее понимание от ложных наслоений. «Тот, кто хочет верно понять сущность государства, политики и демократии, — пишет Ильин в одной из статей зрелого периода творчества, — должен с самого начала отказаться от искусственных выдумок и ложных доктрин»²⁵. Борьба против лицемерия в трактовке политики — этот пафос, несомненно, объединяет интеллектуальный поиск двух мыслителей. Оба они отмечают также важную роль в политике духовных и психологических факторов, в частности, человеческих чувств. О трактовке их роли в концепции К. Шмитта мы уже говорили. Иван Ильин, полагая, что политика имеет душевно-духовную природу, пишет, например, следующее: «Народ, у которого политическая жизнь бесчувственна, безвольна, бессмысленна, государственно мертв и бесплоден»²⁶.

Однако сами чувства, которые создают политическую жизнь, К. Шмитт и И. Ильин понимают по-разному. Если Шмитт, как уже было отмечено, придает особое значение «настоящей вражде», то Иван Ильин делает акцент на со-

вершено иных чувствах. Так, ключевой стороной столь важной для него категории правосознания выступает, по Ильину, живое чувство ответственности. Надо заметить также, что Ильин, в отличие от Шмитта, не проводит демаркационной линии между «политическим» и «государственным», поэтому то, что он пишет о государственности, относится для него также и к политической жизни. Так, прямое отношение к его пониманию смысла политики имеют, например, его слова, что «**духовная солидарность** есть подлинная и реальная основа государства. Именно на этой основе государство должно быть понято и осуществлено как живая система **братства**, не только не противоречащая христианству, но и соответствующая духу евангелия»²⁷. Таким образом, чувствами, конституирующими политическую общность, по Ильину, являются вовсе не чувства вражды, а чувства ответственности, солидарности, сопереживания, образующие систему братства. Сущность политики, вновь и вновь подчеркивает Ильин, в том, что люди сотрудничают²⁸.

Как мы уже говорили, Иван Ильин полагает, что политика имеет душевно-духовную природу, и потому центральной категорией анализа ее оснований для Ильина выступает категория правосознания, самым концентрированным выражением которой выступает живое чувство ответственности за то, что происходит с твоей страной. По мысли Ильина, «право и государственная форма — или бывают несомы правосознанием, или же вырождаются»²⁹. Ильин вводит понятие аксиом правосознания и одной из таких аксиом выступает взаимное доверие и уважение гражданина к гражданину, гражданина к власти и власти к гражданину³⁰. Понятно, что такое доверие и уважение было бы невозможно в условиях вражды.

Собственно, в одном из бюллетеней зрелого периода, включенном издателем в сборник «Наши задачи», Ильин прямо говорит о вражде. Его мысль заключается здесь в том, что верить, будто враг твоего врага непременно является твоим другом, значит впасть в заблуждение. Враг твоего врага вполне может быть злейшим врагом и тебе³¹.

По мысли Ильина, политика не является чем-то главным в жизни большинства людей (главное же — «творить культуру»). Поэтому задача политики — обеспечить благоприятные условия для жизни людей: порядок, свободу, законность, справедливость, «технически-хозяйственные удобства жизни», беречь силы народа, а не расходовать их в непрерывной борьбе³².

Государство, политику Ильин мыслит не как разъединение и непримиримую борьбу, а прежде всего именно как соединение людей в общем созидательном деле. Это государственное дело, по Ильину, есть вовсе не борьба частных интересов. Наоборот, это государственное дело, говоря его словами, «начинается там, где живет **общее**, т.е. такое, что **всем важно и всех объединяет**, что **или сразу у всех будет**, или **чего сразу у всех не будет**; и если — не будет, то все развалится и упразднится, и все рассыпется, как песок»³³.

Очень важно, что эта концентрация усилий граждан на общем деле вовсе не мыслится Ильиным, в отличие от Шмитта, как тоталитарное государство; напротив, он полагает, что государство должно знать свои пределы. Госу-

дарство, по Ильину, лишь создает условия для созидательной деятельности людей, при этом «все творческие состояния души и духа, предполагающие любовь, свободу и добрую волю, **не подлежат велению государственной власти** и не могут ею предписываться. Государство не может требовать от граждан веры, молитвы, любви, доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать научное, религиозное и художественное творчество. Оно не может предписывать оказательства чувств или воззрений. Оно не должно вторгаться в нравственный, семейный и повседневный быт. Оно не должно без крайней надобности стеснять хозяйственную инициативу и хозяйственное творчество людей»³⁴. Тоталитарное же государство он характеризует как «социально-гипнотическую машину» и «рабовладельческую диктатуру невиданного размера и всепроникающего захвата»³⁵.

Осмысливая в работах позднего периода основания приносящей реальный успех политики, Ильин вводит нормативное понятие «истинной политики», соответствующей своему назначению. Такую политику он понимает как служение власти интересам народа, а в качестве критерия истинного успеха в политике называет «публичный успех и расцвет народной жизни»³⁶. Важно, что, по мысли Ильина, истинная политика работает на объединение людей. «Политика по существу своему, — отмечает русский мыслитель, — не раскладывает людей и не разжигает их страсти, чтобы бросить их друг на друга, напротив, она **объединяет людей** на том, что **им всем обще...** Истинная политика утверждает **органическую солидарность всех со всеми**»³⁷. «Политика есть искусство объединять людей», — заключает мыслитель, и это объединение должно быть лояльным, правовым, свободным по форме, общенародным, справедливым и созидательным по содержанию³⁸, при этом начинаться оно должно с объединения достойнейших. Осуществить такое объединение, по Ильину, можно, только берясь за политическое дело с ответственностью и с любовью.

Подводя итог, можно сказать, что проведенное нами сравнение идей Карла Шмитта и Ивана Ильина по проблеме оснований политики и смысла политической деятельности выявило, при незначительных сходствах, глубинные различия в позициях двух мыслителей. Различия эти касаются их основных выводов о смысле и назначении политики как деятельности. Поскольку шмиттовский подход сегодня гораздо более известен тем, кто профессионально занимается политологией и политической философией, важно отметить, что, кроме понимания политики как концентрированного выражения вражды, существуют и, по крайней мере, в поле отечественной политической мысли выглядят не менее убедительно принципиально иные подходы к этой проблеме.

¹ Методология для сравнения оснований политической мысли в разных цивилизациях предложена, в частности, А.С. Панариным (см.: *Панарин А.С.* Политология. О мире политики на Востоке и Западе. М., 2001).

² *Шмитт К.* Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 37.

³ Возможность такого сравнения можно считать намеченной в рецензии Д. Сапрыкина на книгу К. Шмитта «Политическая теология»: *Сапрыкин Д.* Карл Шмитт: философ-радикал. Трагиче-

ский выбор между либерализмом и диктатурой // old.russ.ru/politics/grammar/20000817_saprykin-pr.html. Однако самого такого анализа проведено пока не было.

⁴ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 37.

⁵ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 38.

⁶ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 38–39.

⁷ Шмитт К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб., 2003. С. 158.

⁸ Шмитт К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб., 2003. С. 158–159.

⁹ См.: Шмитт К. Политическая теология. Сборник. М., 2000.

¹⁰ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 40.

¹¹ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 40.

¹² Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 40–41.

¹³ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 43.

¹⁴ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 43.

¹⁵ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 63.

¹⁶ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 49.

¹⁷ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 52–54.

¹⁸ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 61.

¹⁹ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 60.

²⁰ Бёкенфёрде Э.-В. Понятие политического как ключ к работам К. Шмитта по государственному праву // Логос. 2012. № 5 (89). С. 160.

²¹ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 42–43.

²² Шмитт К. Номос Земли в праве народов *jus publicum eurpaeum*. СПб., 2008.

²³ Шмитт К. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического. М., 2007. С. 82. С этим взглядом, собственно говоря, связана и высокая оценка Шмиттом идей Мао Цзедуня, для которого, как пишет Шмитт, «сегодняшний мир является лишь формой проявления подлинной вражды» (Там же. С. 93).

²⁴ Шмитт К. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического. М., 2007. С. 131.

²⁵ Ильин И.А. Об органическом понимании государства и демократии // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. М., 1992. Т. 1. С. 293.

²⁶ Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 тт. М., 1994. Т. 4. С. 263.

²⁷ Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 тт. М., 1994. Т. 4. С. 270.

²⁸ Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 тт. М., 1994. Т. 4. С. 274.

²⁹ Ильин И.А. О монархии и республике // Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 тт. М., 1994. Т. 4. С. 452.

³⁰ См.: Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 тт. М., 1994. Т. 4. С. 376.

³¹ Ильин И.А. Враг твоего врага // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. М., 1992. Т. 1. С. 29–30.

³² Ильин И.А. Что есть государство — корпорация или учреждение // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. М., 1992. Т. 1. С. 86.

³³ Ильин И.А. Об органическом понимании государства и демократии // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. М., 1992. Т. 1. С. 295.

³⁴ Ильин И.А. Основная задача грядущей России // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. М., 1992. Т. 1. С. 217.

³⁵ Ильин И.А. О тоталитарном режиме // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. М., 1992. Т. 1. С. 95.

³⁶ Ильин И.А. О политическом успехе (забытые аксиомы) // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. М., 1992. Т. 2. С. 126.

³⁷ Ильин И.А. О политическом успехе (забытые аксиомы) // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. М., 1992. Т. 2. С. 126.

³⁸ Ильин И.А. О политическом успехе (забытые аксиомы) // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. М., 1992. Т. 2. С. 127.

Понятие политического во французской философии эпохи постмодерна

Предмет исследования данной статьи — понятие политического — чрезвычайно многогранен, многозначен и одновременно размыт. Здесь, конечно, нельзя не вспомнить Карла Шмитта с его замечанием о том, что «редко можно встретить ясное определение политического. По большей части слово это употребляется лишь негативным образом, в противоположность другим понятиям» в различных политических, социальных или философских антитезах¹.

Однако определение политического через некоторую антитезу есть все же попытка приблизиться к сущности феномена политического. В контексте же постмодернистской философии задача уловить суть политического становится еще более трудной. Прежде всего, сложность заключается в том, чтобы определить, что есть собственно «постмодерн» и «постмодернизм». Лишь после того, как обозначатся контуры, установки, особенно постмодерна, имеет смысл рассматривать понятие политического.

Феномен постмодернизма принадлежит к ряду тем, вызывающих споры в научных кругах. Стоит отметить, что до настоящего момента не существует единого, общепризнанного определения постмодернизма. Более того, сомнению подвергается даже само существование этого явления. Достаточно вспомнить о том, что те, кого теперь считают основоположниками постмодернизма (Фуко, Деррида, Барт), себя постмодернистами не называли.

Сложность состоит еще и в том, что даже среди сторонников существования этого явления нет единого мнения о том, что именно считать постмодернизмом, чем постмодернизм отличается от модернизма, которому он обязан своим названием, в чем значение префикса «пост-», когда появился постмодернизм, какие факторы обусловили его возникновение, каковы масштабы этого явления, можно ли назвать постмодернистской всю современную теорию науки и культуры.

Термины «постмодерн», «постмодернизм» образованы при помощи префикса «пост-». Использование данной приставки при словообразовании, с одной стороны, указывает на связь с понятием, послужившим базой для создания неологизма, с другой, — на ограничение концепции, лежащей в основе слова, от которого образован новый термин. В данном случае важно подчеркнуть, что приставка «пост-» служит для ограничения исходного понятия, но не для его прямого отрицания. Смысл префикса «пост-», таким образом, заключается в указании на то, что некоторая концепция, изменившись, перешла на новый уровень, но при этом не утрати-

ла связи с понятием, породившим ее. Очевидно, что осмысление терминов «постмодерн» и «постмодернизм» невозможно без обращения к понятиям «модерн» и «модернизм».

Буквально слово «модерн» (*moderne*) переводится с французского как «современный» и имеет несколько смысловых значений. Согласно одному из них, «современный» трактуется как отвечающий требованиям своего времени, относящийся к своему времени. Другое значение соотносится непосредственно с термином «модерн», которым обозначается целый ряд культурных явлений.

В узком смысле под «модерном» понимают стиль в европейском искусстве конца XIX — начала XX века. В более широком смысле с помощью термина «модерн» определяют целую историческую эпоху, в рамках которой господствуют определенные мировоззренческие принципы.

Эпоху «модерна», «современности» (*modernity / modernité*) зачастую связывают с философией Нового времени. Под Новым временем понимают исторический период, следующий за Античностью и Средневековьем. Данный период характеризуется особым мировоззрением, в основе которого лежит идея о том, что человек способен познать мир как единую систему, подчиняющуюся определенным объективным законам. Основные категории философии Нового времени, среди которых можно назвать новшество, экспериментирование, прогресс, существуют в рамках цельной системы, центром которой является человеческий разум. Человек развивается в познании, двигаясь от простого к сложному. В связи с этим история человечества воспринимается как процесс восхождения от низшей стадии развития (социального, политического, экономического) к более высокой. Ориентация на новые, более совершенные формы является главной в эпоху модерна.

Таким образом, модерн можно рассматривать как совокупность идей, сыгравших немаловажную роль в формировании метафизической основы нескольких исторических эпох.

Проводя аналогию, можно предположить, что термин «постмодерн» служит для обозначения исторического периода, пришедшего на смену эпохе модерна, а «постмодернизмом» называется некий комплекс представлений о данном периоде.

Как отмечалось выше, сам способ образования термина «постмодернизм» указывает на тесную связь эпох модерна и постмодерна. Данная связь является настолько прочной, что определить, где кончается модерн и начинается постмодерн, не всегда просто. Стоит отметить также, что слово «постмодерн» появилось гораздо раньше наступления эпохи, впоследствии названной «постсовременностью».

Немецкий философ Вольфганг Вельш, исследовавший генеалогию понятий «постмодерн» и «постмодернизм», отмечает, что в 1917 году в книге Рудольфа Панвитца «Кризис европейской культуры» употребляется словосочетание «постмодерный человек», которое служит определением для категории людей, призванных преодолеть упадок европейской культуры. В антологии испано-

язычной литературы (1934) под редакцией Федерико де Ониса постмодернизм рассматривается как промежуточная фаза в развитии литературы (1905–1914) между модернизмом и так называемым «ультрамодернизмом»².

Впервые понятие «постмодернизм» в значении, приближенном к сегодняшнему, употребил Арнольд Тойнби. Английский историк в своем шеститомном труде «Постижение истории», опубликованном в 1947 году, характеризовал «век постмодернизма» как новую страницу в истории западной цивилизации, когда подвергаются переосмыслению такие понятия, как нация, государство, гуманизм³. Тем не менее, смысл этого понятия на тот момент лишь в малой степени перекликался с современным.

С 60-х годов термин «постмодернизм» осмысливается более широко и анализируется как явление, обладающее определенным набором характеристик, применимых к каждой сфере человеческой жизни — социальной, политической, экономической, культурной, — что можно наблюдать, например, в сочинениях Лесли Фидлера и Ихаба Хассана⁴.

Однако термины «постмодерн» и «постмодернизм» входят в научный лексикон только после появления сочинения Жана-Франсуа Лиотара «Состояние постмодерна» (1979). Во введении к своей работе Лиотар пишет о том, что предметом его исследования является «состояние знания в современных наиболее развитых обществах»⁵, которое называет «постмодерном». Для Лиотара «постмодерн» обозначает «состояние культуры после трансформаций, которым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве в конце XIX века»⁶. Это утверждение парадоксально, поскольку на конец XIX века приходится зарождение эстетического направления модернизма. Таким образом, можно сделать вывод, что предпосылки к постмодернизму как к явлению культуры можно найти в модернизме.

Подобная мысль прослеживается в другой работе Лиотара под названием «Заметка о смыслах “пост”» (1985). Рассуждая о постсовременности, автор говорит о том, что особенности этого состояния выражаются в различных формах движения мысли: «искусстве, литературе, философии, политике»⁷. Лиотар обращается к живописи начала XX столетия и говорит о том, что в работах Сезанна, Пикассо, Кандинского, Малевича можно увидеть то, что свойственно постсовременности. Он уподобляет творчество этих художников анамнезу в психоаналитическом смысле этого термина. Лиотар пишет: «Пациент психоаналитика пытается переработать расстройство, от которого он страдает в настоящем, проводя свободные ассоциации между его элементами, на первый взгляд исключенными из всякого контекста, и какими-то пережитыми в прошлом ситуациями, что позволяет ему раскрыть тайный смысл своей жизни, своего поведения...»⁸. Способность к анализу, осмыслению и соединению разрозненного в едином пространстве отличает постсовременное сознание.

В заключении своей статьи Лиотар делает вывод о том, что приставка «пост» в слове «постмодерн» обозначает «не движение типа *come back*, *flash back*, *feed back*, т. е. движение повторения, но некий «*ана*-процесс»,

процесс анализа, анамнеза, аналогии и анаморфозы, который перерабатывает нечто «первозабитое»⁹.

Постмодерн в работах Лиотара — это состояние общества, политики, культуры, обладающее рядом специфических черт. Помимо названной выше тенденции к анализу и переработке того, что было в прошлом, существует еще одна важная особенность, присущая состоянию постмодерна. Лиотар называет эту характеристику «недоверием к метарассказам»¹⁰.

Под «метарассказами» Лиотар понимает сформулированные в эпоху модерна (Нового времени) принципы, на которых были построены «великие» объяснительные системы — гегелевская диалектика Духа, законы механики Ньютона, идеи эмансипации личности, представления о прогрессе и т. п.

Лиотар утверждает, что «по мере вхождения общества в эпоху, называемую постиндустриальной, а культуры — в эпоху постмодерна, изменяется статус знания»¹¹. Перемены в общественном сознании неизбежно повлекли за собой «недоверие к метарассказам». По мнению Лиотара, эти перемены начали происходить во второй половине 50-х годов. Данную точку зрения на периодизацию постмодернизма можно назвать наиболее распространенной.

Вслед за Лиотаром большинство западных ученых полагают, что эпоха постмодерна началась в 50-е годы. Однако ключевым, переходным периодом, в течение которого устанавливается, по замечанию американского теоретика Джеймисона, «новый международный порядок (неоколониализм, молодежная революция, компьютеризация, распространение информатики)»¹², считают 60-е. Именно в 60-е годы во Франции возникает теория постструктурализма, в рамках которой формулируются принципы, которые впоследствии будут причислены к постмодернистским.

Итак, несмотря на то, что термины «постмодерн» и «постмодернизм» получают статус научных лишь в 1979 году, круг постмодернистских проблем формируется намного раньше — в постструктурализме. По мнению российского исследователя постмодернизма И.П. Ильина, в 60-е годы XX столетия произошло «становление специфической философии постмодернизма, исходящей из убеждения в существовании единого постструктуралистско-постмодернистского комплекса представлений и установок»¹³.

Любое хронологическое деление условно. Тем не менее, научное, культурное или социальное явление существует в условиях определенной эпохи. Существуют исторические и политические факторы, влияние которых очевидно в любой сфере человеческой жизни. Так, рождение постструктурализма связывают с событиями мая-июня 1968 года, когда бунт студентов прокатился по Европе.

В случае с осмыслением политического во французской философии постмодерна складывается любопытная картина. Специфика конкретных политических событий дала много для понимания политического в постмодернистской философии. Так, описывая события 1968 года, известный

французский философ и литературовед Винсент Декомб говорил: «На протяжении мая и июня этого самого года была испытана на опыте власть в том смысле, что каждый в ходе известных событий мог подметить два противоположных ее качества: необычайную хрупкость и в то же время безграничную способность к сопротивлению ниспровержению»¹⁴.

Хрупкость власти, по мнению Декомба, заключалась в том, что одного только студенческого бунта оказалось достаточно, чтобы привести к «всеобщей сумятице и парализовать всю нацию»¹⁵. Декомб подчеркивает специфику событий 1968 года, заключающуюся еще и в следующем: власть могла победно противостоять государственному перевороту, подобному «алжирскому *путчу* 1961 г., но не карнавалу»¹⁶.

Декомб объясняет, что слово «карнавал» в данном случае не умаляет значимости описываемых событий в смысле их социального и политического влияния. Философ употребляет слово «карнавал» в том смысле, которое придает ему политическая антропология. Согласно данной трактовке, карнавал понимается как изображение беспорядка с целью «изведать блага порядка»¹⁷.

«Неодолимость власти» состояла в том, что видимое длительное отсутствие признанной власти неприемлемо для общества. Иными словами, по прошествии определенного периода безвластия власть неизбежно возвращается. Именно так и произошло весной 1968 года. Однако несколько недель политической бессистемности стали поводом к возникновению новой теории.

Именно тогда в среде французских мыслителей оформляется самостоятельное идейное течение постструктурализма. Первые выводы, сделанные постструктуралистами, основаны в буквальном смысле на наблюдениях за политическими катаклизмами, свидетелями которых они явились. Когда на улицы Парижа вышли студенты, требующие переустройства общества, когда это движение протеста столкнулось с вездесущностью отлаженных механизмов власти и оказалось неспособным претворить свои требования в реальность, пришло осознание необходимости кардинальных перемен. Опыт изменения социально-политического уклада путем открытого противостояния оказался неудачным, в связи с чем возникла идея об изменении способа восприятия действительности.

Попытки осмысления трансформирующейся социальной и политической действительности были предприняты в работах Мишеля Фуко, Жака Деррида, Ролана Барта, Жиля Делеза, Феликса Гваттари, Жана Бодрийера, Жака-Люка Нанси, Филиппа Лаку-Лабарта.

В некоторых случаях в рассуждениях, посвященных политической проблематике, встречаются прямые ссылки на «студенческую весну» 1968 года. В качестве примеров можно привести работу Бодрийера «К политической экономии знака» (1972), лекцию, прочитанную при вступлении в должность заведующего кафедрой литературной семиологии в Коллеж де Франс Ролана Барта (1977), ряд лекций, статей и бесед Мишеля Фуко,

опубликованных в трехтомнике «Интеллектуалы и власть», а также в интервью Жюль Делеза и Жака Деррида¹⁸.

Постструктуралисты утверждают, что привычный, структурированный мир представлений рушится. На смену централизованной, логичной структуре приходит беспорядок. Роль человека, если не пропадает совсем, то оказывается второстепенной. Становится очевидно: индивид бессилен перед действием властной силы. Слишком велико оказывается давление власти на отдельного человека. Постструктуралисты убеждены, что сопротивление прессингу власти возможно, если на смену понятия «я» придет коллективное «мы».

Данный тезис, заявленный в постструктурализме, неоднократно подвергался критике в исследовательской литературе. Так, французские исследователи Л. Ферри и А. Рено утверждают, что данное положение, получившее развитие, в частности, в работах М. Фуко, свидетельствует о проявлении антигуманистической тенденции в его творчестве¹⁹. По мнению Ферри и Рено, антигуманизм Фуко и других представителей «мысли 68 года» во многом обусловлен преуменьшением роли человека, его рационалистического начала в общественной и политической истории.

Однако, согласно постструктуралистскому пониманию политической реальности, растворить индивидуальное в массе необходимо, чтобы «концентрация» власти была меньше. Таким образом, чтобы получить относительную свободу, приходится пренебречь тем, что всегда было неизбежно, — индивидуальностью. Затем следует избавиться от иллюзии о том, что можно изменить политический уклад. Однако, поставив своей целью повсеместное изобличение и описание очагов власти, фиксацию ее стратегий, возможно найти пространство, куда власть не способна проникнуть в полной мере. Постструктуралисты утверждают: чтобы найти «зоны свободы», нужно выйти за пределы структуры, которая в данном случае представляет собой реальность, не контролируемую силами власти.

В данном контексте следует привести утверждение известного исследователя современной французской философии Н. Автономовой о том, что постструктурализм возник из осмысления сентенции периода майских событий: «Структуры не выходят на улицы»²⁰. Данную формулировку не следует воспринимать как манифест отрицания структуры как таковой. Дело не в том, что структура исчезает, а ей на смену приходит нечто принципиально новое. Для постструктурализма важно другое: самое главное в структуре — не структура, а то, что выводит за ее пределы.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что постструктурализм по своей сути — теория в большой степени политическая. Действительно, мощным толчком для возникновения постструктурализма были упоминаемые события политического характера, что в дальнейшем повлияло на осмысление многих принципов постструктурализма. К тому же нельзя отрицать тот факт, что в исследованиях постмодернистов уделяется значительное внимание политической власти и ее природе, вопросам свободы, насилия и другим подобным темам.

В то же время нельзя не отметить, что помимо политической составляющей в теории постструктурализма существует еще один очень важный аспект, к которому впоследствии будут обращаться многие постмодернисты, — это текст. Говоря об особенностях постструктуралистской теории, Автономова приводит два основополагающих девиза постструктурализма, один из которых «вне текста нет ничего» (вариант: «нет ничего, кроме текста») принадлежит Деррида, другой — «все, в конечном счете, — политика» — Делезу.

Данные подходы в постструктурализме максимально сближаются, поскольку имеют единую онтологическую базу, которая состоит в утверждении желания как главной силы, от которой зависят все проявления жизни, индивидуальной, социальной, культурной, политической.

В первом томе книги «Капитализм и шизофрения», написанной в соавторстве с Феликсом Гваттари, авторы вводят понятие «машины желания». Под «машиной желания» подразумевается круг объектов — от человека, существующего в рамках соответствующей культуры, то есть подчиняющегося ей, до общественно-социальных формаций. Но главное, что отмечают авторы, это бессознательный характер действий как субъекта, так и социальных механизмов (включая механизмы власти)²¹. Все движимо бессознательным желанием. Таким образом, власть, отношения господства и подчинения, государства и индивида выходят за рамки объективности, а значит, и структуры. Впрочем, понятие объективного само по себе противоречит постструктуралистской идее желания.

По определению, объективное есть нечто, что существует независимо и является единым для всех. Единство и всеобщее признание как черты объективного представляют собой основной структурирующий момент, против которого выступают постструктуралисты. В постструктуралистском пространстве нет места общепризнанности. Объективное, по сути, есть статичная, неоспоримая истина, существующая во все времена, актуальная для любого пространства. Для постструктуралистов нет таких истин, структур, за пределы которых невозможно было бы выйти. Достаточно подвергнуть сомнению тот или иной догмат и опровергнуть его. Здесь снова очевидна идея желания как силы, способной если не разрушить структуру, то вытолкнуть за ее пределы.

Желание в постструктурализме субъективно и неуправляемо. Этим тезисом объясняется и характеристика постструктуралистского индивида, который предстает в роли безумца, шизофреника, колдуна, дьявола, ребенка, художника, революционера, — слуги беспорядка. Такие ипостаси, встречающиеся, например, в работах Деррида, Делеза, Фуко, — также необходимы для обозначения выхода за рамки определенной структуры (социума, политики, нормальности и т. д.). Можно подвергнуть сомнению правомерность отнесения к данному ряду постструктуралистских героев образов ребенка и художника. Данный факт объясняется следующим образом: ребенок — тот, кто живет вне зависимости от законов «взрослой»

жизни, художник (в самом широком смысле этого слова), сообразуясь со своим желанием, творит особую реальность, которая зачастую не имеет ничего общего с окружающим его миром.

Постструктуралисты обращаются к образам, которых отличает несоответствие общепринятым нормам. Данный факт, очевидно, связан с тем, что в постструктурализме существует не субъект, а его роли. Постструктуралисты объявляют о «смерти субъекта», о смерти индивидуального как такового. Есть некто, актер без лица, примеряющий разные маски, которые необходимы для того, чтобы разыграть ту или иную пьесу. Данная тенденция во многом воспринята французскими постмодернистами. Так, Жан Бодрийяр в эссе «Америка» (1986) сравнивает лица жителей Нью-Йорка с масками актеров²².

В картине мира, которую представляют французские философы, нет места четкости, иерархичности, цельности, серьезности. Мир — игра. Недивительно, что в исследовательской литературе, посвященной политической проблематике постмодернизма, существует мнение о том, что в постмодернизме нет позитивной практической политической ориентации²³. Так, американский ученый Майкл Раэн выделяет следующую особенность постмодернизма, в большой степени относящуюся к работам французских авторов: «Описания идеальных миров или разрушительных стратегий письма и жизни²⁴ представлены в изобилии, но ни одна из этих теорий не пытается ни предложить социальную теорию типа хабермасовской, ни представить модель политической практики, вроде Негри. Постмодернизму присуща антипатия к системе и к логоцентрическому проекту подчинения мира категориям разума»²⁵.

Как отмечалось выше, постмодернистский отказ от системности и подчинения категориям рационального связан со стремлением к преодолению принципов, по которым существовала теория Нового времени, эпохи модерна. Сама система критериев, выработанных модерном (рационализм, критицизм, индивидуализм, научный и технический прогресс), противоречит постмодернистскому восприятию действительности в целом и политического в частности. С неприятием данных критериев связана невозможность создания некоторой единой политической теории в постмодернизме.

По замечанию российского исследователя постмодернизма И.В. Цуриной, постмодернисты заняты «микropolitикой», то есть политическим теоретизированием, специфичным для отдельных регионов или уровней политической деятельности. При этом в постмодернизме не обнаруживается претензий на общую политическую теорию²⁶.

В подтверждение данного вывода можно привести рассуждения Мишеля Фуко относительно ««микрофизики» власти»²⁷, которые впоследствии были развиты в трудах Жюлья Делеза. В частности, Делез обращает внимание на концепцию государства, изложенную у Фуко, и подчеркивает, что государство есть результат работы множества механизмов и очагов, расположенных на различных уровнях, которые и составляют микрофизику власти²⁸. Таким об-

разом, по причине утверждения множества властных уровней, в рамках которых действуют свои особые правила, в постмодернизме трудно выделить единую теоретическую базу для исследования политической власти.

Как отмечает И.В. Цурина, отказ постмодернистов от общей политической теории влечет за собой обвинение постмодернизма в саморазрушающем нормативном релятивизме²⁹. Критика подобного рода основана на вопросе о том, что если постмодернисты не могут предложить теории, которая включала бы в себя как принцип политической оценки, так и набор ценностей, которые обеспечивали бы основу критики, не превращаются ли их теории просто в хаос.

В данном контексте американский исследователь Тод Мэй подчеркивает, что для создания политической теории необходимо прежде всего обладать набором ценностей, которые либо общеприняты, либо могут быть обоснованы при помощи общепринятых ценностей. Политическая теория должна строиться, исходя из наличия данных ценностей. И, наконец, предполагается сравнение существующей политической ситуации со сконструированной политической ситуацией для выявления недостатков последней и поиска возможных путей устранения этих недостатков³⁰. Парадоксальность ситуации в постмодернизме состоит в том, что отрицание системности предполагает невозможность ссылок на какую бы то ни было систему. Таким образом, в постмодернизме не может существовать политической теории в ее традиционном понимании. Постмодернистская теория политики представляет собой совокупность некоторых принципов, часть которых имеет принципиальное отличие от положений классической политической теории. Важно отметить при этом, что назвать данные принципы общими для всех постмодернистов не представляется возможным.

Вместе с тем нельзя не отметить, что государство и власть по-прежнему остаются фундаментальными понятиями политики эпохи постмодерна, но меняется их восприятие. Другими становятся средства достижения власти, способы политического влияния. Здесь следует подчеркнуть, что данный факт напрямую соотносится с началом эпохи постмодерна, связан с переходом от индустриального общества к постиндустриальному.

Теория постиндустриализма, как и постмодернизм, начала оформляться в конце 50-х годов XX века, и их развитие шло параллельно. Возможно, поэтому многие из принципов постиндустриализма созвучны постмодернистским. Однако в отличие от постмодернизма, вокруг определения которого по сей день ведутся споры, понятие постиндустриализма имеет вполне четкую дефиницию. Под постиндустриализмом понимается фаза исторического развития, приходящая на смену индустриальной цивилизации.

Обратившись к сфере политики, можно увидеть, что постиндустриализм отходит от жестких конфронтационных стереотипов мышления, опирающихся на противопоставление мира: Запад-Восток, капитализм-социализм, либеральная демократия-тоталитаризм. Трудно не заметить, насколько близка эта идея постмодернистской мысли об отрицании жестких оппозиций.

С точки зрения политики, в постиндустриализме обосновываются новые крупные преобразования политических режимов современного общества, развитие механизмов динамической стабилизации политического порядка, объяснение процессов политических и социальных изменений в обществе, его модернизации, укрепление политических основ гражданских и правовых отношений, демократический процесс в развитых обществах и его глобализация³¹. Таким образом, в основе постиндустриализма лежит идея объединения мира, базирующаяся на создании нового типа политического мышления, при котором созидание имеет приоритет перед разрушением, компромисс — перед конфронтационностью, общечеловеческое — перед классовым или национальным началами³².

Проводя параллель с постмодернизмом, можно обратиться к политическим доктринам «конца идеологии» и конвергенции, сформулированным еще в конце 1950-х годов и получившим широкое распространение в политике 1960–1970-х годов³³. Суть данных концепций сводилась к отрицанию целей и принципов политической борьбы, устоявшихся за полтора столетия модернизации. Политический постмодернизм вновь проявился как отрицание модернистских принципов.

В этом смысле альтернативой модернистским политическим доктринам и партийным организациям стали в последней трети XX в. антивоенное, правозащитное и экологическое движения, движения «народной дипломатии», движения, отстаивающие интересы этнических, культурных, сексуальных меньшинств, локальных общин и т.д. Нельзя также не отметить факта миноритизации политики. Электорат как однородная масса, распределяющаяся на большинство и меньшинство вдоль единственной оси «правые — левые», замещается конгломератом меньшинств, для которых главной ставкой в политической борьбе является право на альтернативный образ жизни. В такой ситуации стратегия сбора голосов не может базироваться на однозначной, унифицированной доктрине-идеологии. Мультикультурализм становится не столько идейной, сколько прагматической основой политической деятельности.

Таким образом, в политической теории постиндустриализма, как и в постмодернизме, утверждается переустройство мира на базе некоторых принципов, отличных от прежних. Но разница заключается в том, что постиндустриальная картина мира строится на основе глобализации — объединении, унификации политического пространства, — в то время как в постмодернизме предпочтительнее мирное, но независимое существование множества сообществ. Глобализация есть процесс образования новой мировой системы, в основе которой лежат единые для всех подходы и принципы, когда мировое сообщество говорит на одном языке и стремится осуществить общие цели. Для постмодернизма признание системности, структурности политического устройства мира является невозможным, поскольку эти понятия противоречат базовым характеристикам данного явления. Мультикультурализм в постиндустриальном обществе — повод

подчеркнуть необходимость выработки единых принципов совместного существования при сохранении культурных особенностей той или иной нации. Для постмодернизма мультикультурализм — базис, на котором в идеале должна строиться политика.

Парадокс состоит в том, что принципы восприятия политического в постиндустриальную эпоху схожи с постмодернистскими, а цели разные. Точнее, в постмодернизме вообще сложно выделить какие-либо цели, кроме необходимости выйти за пределы существующей структуры, о какой бы сфере ни шла речь.

Главная политическая ценность в постмодернизме — возможность жить по правилам, отличным от общепринятых. Таким образом, изменяется понимание политического и главной его составляющей — власти. Постмодернистская установка, связанная с децентрацией, дисперсией, бессистемностью, на первый взгляд, лишает концепцию власти какого-либо смысла. Ведь власть (несмотря на множество существующих трактовок и определений этого понятия) есть организованная воля и сила, насилие, понимаемое как подчинение одних воле других. Власть — это начало системы, упорядочивания, — того, что является чуждым постмодернизму. В связи с этим возникает вопрос о том, возможно ли вообще говорить о политической власти в рамках постмодернизма.

Ранее уже отмечался тот факт, что важнейшие категории политического остаются неизбылемыми в любую эпоху, а вот средства достижения политической власти, сферы распространения, способы восприятия меняются. Здесь вновь неизбежно обращение к связи постиндустриализма и постмодернизма. В постиндустриальном обществе самым ценным товаром становится информация. Она же оказывается средством достижения любых целей, в том числе и политических. Этот признак постиндустриального общества изначально присутствует в постмодернизме. Постструктуралистское восприятие мира как текста, впоследствии получившее развитие в работах постмодернистов, есть не что иное, как признание информации в качестве главной ценности современной жизни.

Канадские политологи А. Крокер и Д. Кук, говоря об особенностях постмодернистского понимания политической власти, отмечают, что власть эпохи постмодерна абстрактна, нигилистична и абстрагирована от материального состояния³⁴. Последнее из трех названных положений требует определенных пояснений. Эффективность политической власти в данном случае находится в непосредственной связи с властью знака, символа, текста, информации.

Как отмечают Крокер и Кук, постмодернистская политическая власть все переводит на язык семиотики, «превращает в круговое движение замкнутой информационной системы с единственной целью осуществить деструкцию в относительном процессе символического обмена, лежащего в основе постмодернистской власти»³⁵.

Необходимая информация в виде текста или визуального образа доносится до огромного количества людей и закрепляется в их сознании. Так

формируется образ (например, политика), которому достаточно просуществовать ровно столько времени, сколько требуется на прочтение статьи или на просмотр видеосюжета. Объединив высказывания Деррида и Делеза, их можно интерпретировать следующим образом: в эпоху постмодернизма вне текста (информации) не существует политики.

Проблема взаимодействия СМИ и политической власти получает развитие в работах Жана Бодрийяра³⁶. Согласно позиции Бодрийяра, в эпоху постмодерна местом и одновременно инструментом политического действия становятся СМИ. В данном контексте политическая власть превращается во власть медиа. Таким образом, политика в эпоху постмодерна превращается в форму манипуляции, поскольку в ее основе лежит игра визуальных образов, знаков, текстов, благодаря которым создаются определенные условия воздействия на публику.

Преимущество в данном случае заключается в том, что длительность сообщения или объем текста могут быть минимальными, а эффект от информации, полученной посредством СМИ, оказывается колоссальным, исходя даже из одного критерия массовости. Политическая цель (внимание и поддержка электората, обличение политического оппонента, убеждение зрителей в правильности того или иного политического действия и т. д.) при наличии необходимых технологий достигается в кратчайшие сроки.

Этот вид власти, эфемерной на первый взгляд, нельзя недооценивать. В эпоху постмодерна деятельность журналистов может иметь гораздо более убедительные результаты, чем действия дипломатов или государственных лиц самого высшего звена. Однако эффективность власти СМИ была бы безусловной только в том случае, если бы не существовало одной из основных постмодернистских установок: единой цели быть не может, существует множество целей для множества индивидов.

В каком бы ракурсе ни рассматривалась концепция власти, в ней всегда присутствует идея цели. С одной стороны, власть как главная политическая ценность — сама по себе цель. С другой стороны, власть как часть государственного механизма имеет целью организацию политического и социального пространства сообразно некоторым принципам. В постмодернизме отрицается построение системы, в рамках которой существует одна главная цель.

Согласно этому выводу, сделанному опять-таки на основе одного из главных постмодернистских принципов (принцип игры), политика в эпоху постмодерна является бесцельной. Множество целей не предполагает борьбы. Нет борьбы за власть — нет политики.

Конфронтационный смысл укрепился в понимании политического начиная с эпохи Макиавелли. Именно тогда борьба за власть стала главным содержанием политики. Но нельзя забывать о древнегреческой традиции, согласно которой условием политики является свобода, так как государство в политической мысли эпохи Античности понимается как союз свободных людей.

Можно было бы спроецировать античное понимание политического на постмодернистский подход, предложив утверждение, что целью в полити-

ке эпохи постмодерна является свобода или множество индивидуальных свобод (свобода существовать по своим правилам, свобода устанавливать свою власть и т. д.), но в постмодернизме нет объединяющего начала, которое существовало, например, в античной традиции.

Итак, согласно предшествующим концепциям политического от Античности до Современности (эпохи модерна), власть может быть средством достижения свободы, ведущей к обретению блага, или же целью, которая завоевывается в результате борьбы. С этой точки зрения постмодернистское понимание ближе к неконфронтационной модели восприятия власти. Однако данный тезис не является поводом отождествлять постмодернистскую концепцию политического с какой-либо из предшествующих. Отсутствие единой цели в пространстве постмодерна отличает понимание проблемы политического в постмодернизме от любой предшествующей теории.

В данном контексте неизбежно возникает вопрос о том, не означает ли такое восприятие власти конец политики или, по крайней мере, политики в традиционном понимании. Следуя постмодернистскому принципу, согласно которому все сферы общественного существования взаимосвязаны, очевидным кажется вывод о том, что «конец политики» может соотноситься с концепцией «конца истории», предложенной американским политологом Френсисом Фукуямой³⁷.

Здесь следует обозначить одну особенность, отличающую работы французских постмодернистов. Во французских текстах редко встречается само понятие «конца истории», однако смысл концепции Фукуямы во многом совпадает идеями, лежащими в основе явлений, которые описываются представителями постмодернизма. В качестве примера можно провести параллель между статьей Фукуямы «Конец истории?» (1989) и сочинением Ж. Бодрийера «Прозрачность зла» (1990).

Суть концепции «конца истории» заключается в следующем: идеологическая эволюция человечества и универсализация западной либеральной демократии как окончательной формы правления завершились. Дальнейшее развитие смысла не имеет. Однако Фукуяма говорит о «конце истории» только в сфере идей, в области сознания: «То, чему мы, вероятно, свидетели, — не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой... Это не означает, что в дальнейшем никаких событий происходить не будет и страницы ежегодных обзоров “Форин Аффферз” по международным отношениям будут пустовать, — ведь либерализм победил пока только в сфере идей, сознания; в реальном, материальном мире до победы еще далеко. Однако имеются серьезные основания считать, что именно этот, идеальный мир и определит в *конечном счете* мир материальный»³⁸. Надо отметить также, что тезисы о будущей политико-исторической картине мира, приводящиеся Фукуямой, носят весьма вероятностный характер. Да и в конце названия этой программной для постмодернизма статьи помещен вопросительный знак. Возможно, «конец истории» наступит в материальной сфере, и автор представляет вполне

убедительные доводы, но пока это понятие, существующее лишь в сознании. А человечество лишь стоит на пороге «постисторической» эры.

Жан Бодрийяр формулирует похожую идею в несколько ином ключе: «...Идея прогресса исчезла, но прогресс продолжается. Идея богатства, которая предполагает производство, исчезла, но производство как таковое осуществляется наилучшим образом. И по мере того, как исчезает первоначальное представление о его конечных целях, рост производства ускоряется. Идея исчезла и в политике, но политические деятели продолжают свои игры, оставаясь втайне совершенно равнодушными к собственным ставкам. О телевидении можно сказать, что оно абсолютно безразлично к тем образам, которые появляются на экране, и, вероятно, преспокойно продолжало бы существовать, если бы человечество вообще исчезло»³⁹.

Очевидно, Бодрийяр говорит о том же явлении, что и Фукуяма, но воспринимает его по-другому. Американский ученый утверждает, что идея «конца истории» сформировалась в сознании человечества, и нужно какое-то время, чтобы она воплотилась в жизнь, чтобы осуществился переход в «постисторическую эпоху». Французский мыслитель настаивает на том, что функционирование всех сфер материального мира происходит по инерции, и за этим существованием не стоит никакой мысли, цели. Все прежние идеи изжили себя, а новых пока нет. При этом главное отличие от статьи Фукуямы состоит в том, что в работе Бодрийяра трудно найти намек на будущее благополучное существование человечества: «На самом же деле мы спешим в пустоту, потому что все конечные цели освобождения остались позади, нас неотступно преследует и мучает предвосхищение всех результатов, априорное знание всех знаков, форм и желаний»⁴⁰.

Важно отметить, насколько по-разному Фукуяма и Бодрийяр расставляют акценты в понимании проблемы «конца истории». Для американского исследователя главное то, что все сферы жизни максимально развиты технически, поэтому роль человека оказывается совершенно незаметной. Фукуяма пишет: «Конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого — экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя... Я ощущаю в самом себе и замечаю в окружающих ностальгию по тому времени, когда история существовала. Какое-то время эта ностальгия все еще будет питать соперничество и конфликт. Признавая неизбежность постисторического мира, я испытываю самые противоречивые чувства к цивилизации, созданной в Европе после 1945 года, с ее североатлантической и азиатской ветвями. Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт?»⁴¹ Действительно, на данном этапе нет насущных целей дальнейшего прогресса. Но парадокс заключается в том, что именно по этой причине развитие продолжается. Тогда логичным кажется сделать следующий вывод: человечество должно при-

способиться к ускоряющемуся техническому развитию и находить новые цели, сообразуясь с новым ритмом жизни. Таким образом, Фукуяма утверждает возможность дальнейшего развития, которое будет обусловлено в большей степени внешними факторами. Просто пока человечество сковано усталостью, вызванной тем, что все желаемое когда-то достигнуто.

По мнению Бодрийяра, никакие внешние условия, развивающийся прогресс не смогут изменить направления движения человечества, итогом которого будет пустота. Причиной тому — само человеческое сознание. Все цели достигнуты. В этом мнения Бодрийяра и Фукуямы совпадают. Однако дальнейшее развитие невозможно потому, что сознание человека способно лишь воспроизводить то, что уже было когда-то. Данный тезис является одним из основополагающих в творчестве Бодрийяра.

По замечанию российского исследователя французского постмодернизма С.Н. Зенкина, «состояние постмодерна» по Бодрийяру — это постапокалиптическое состояние, когда «приходит конец» историческим институтам, привычным человечеству по стадии «политической экономики», — производству, политическому представительству, революционному движению, диалектике»⁴².

Мир, по мнению Бодрийяра, превратился в симулякр, копию, выдумку. Данную позицию можно было бы соотнести с высказыванием П. Клоссовски о конце истории, означающем теперь, что человечество готовится выйти из исторического времени, чтобы снова войти во «время мифа»⁴³. Однако за словами Клоссовски стоит идея «вечного возвращения», которая связана с возможностью забыть прошлое и начать жизнь заново. Позиция Бодрийяра основана на идее «вечного повторения», в которой он видит суть существования истории человечества.

Подход Бодрийяра к социальной, политической, экономической реальности как к пространствам, где происходит игра подобий, позволяет ему сделать следующий вывод: вместо «подлинной» трансисторической катастрофы — конца света — западная цивилизация последних десятилетий XX века живет ее ослабленно-симулятивными формами⁴⁴. Здесь и «возвратный ход» истории, реутилизирующей (наподобие моды, но уже в «серьезном» государственно-идеологическом регистре) собственное прошлое — от помпезного 200-летнего юбилея Французской революции до ретроспективных, запоздавших «на одну войну» попыток расчета с прошлым вроде судов над коллаборационистами и военными преступниками. Здесь и полная отмена реального развития и реальных событий в «реальном времени» современных систем информации — феномен, который позволил Бодрийяру в 1991 году объявить «несостоявшейся» войну в Персидском заливе, от начала до конца демонстрировавшуюся в режиме виртуальной реальности телекамерами CNN⁴⁵.

Парадоксальность выводов по проблеме политического связана с фактом отрицания Бодрийяром политики в традиционном понимании. Надо отметить, что такое положение дел характерно для большинства французских

философов-постмодернистов. Круг политических тем, наиболее важных для французских авторов, может быть определен весьма условно. Тем не менее, разработку вопросов, связанных с изменением структуры политической власти, новыми принципами существования в политическом пространстве, отношением индивида и политической власти, можно наблюдать в текстах большинства представителей французского постмодернизма.

¹ Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 37.

² См.: Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. 1992. № 1. С. 109–136.

³ Тойнbee А. A Study of History. Abridgement of Volumes I–VI by D.S.Sommerville. Oxford, 1947. P. 39.

⁴ См.: Фидлер Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы // Современная западная культурология: самоубийство дискурса. М., 1993. С. 462–518; Hassan I. From Postmodernism to Postmodernity: The Local/Global Context // Critical Issues Series. № 3. 2000; Hassan I. The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Columbus, OH, 1987; Hassan I. The Question of Postmodernism // Bucknell Review. 1980; Hassan I. The Culture of Postmodernism // Theory, Culture, and Society. Cleveland, 1985.

⁵ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 9.

⁶ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 9.

⁷ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 9.

⁸ Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 58.

⁹ Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 59.

¹⁰ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 10.

¹¹ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 13.

¹² Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. 2000. № 4. С. 64.

¹³ Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998. С. 12.

¹⁴ Декомб В. Современная французская философия. М., 2000. С. 161.

¹⁵ Декомб В. Современная французская философия. М., 2000. С. 161.

¹⁶ Декомб В. Современная французская философия. М., 2000. С. 162.

¹⁷ Декомб В. Современная французская философия. М., 2000. С. 162.

¹⁸ См.: Бодрийяр Ж. К критике политической экономики знака. М., 2004; Барп Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989; Делез Ж. Переговоры. СПб., 2004; Фуко М. Интеллектуалы и власть: В 3 т. М., 2002–2006; Birnbaum J. Je suis en guerre contre moi-même. Interview avec J. Derrida // Le monde. 12.10.2004.

¹⁹ См.: Ferry L., Renault A. La pensée 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain. P., 1985. P. 106–164.

²⁰ Автономова Н.С. Постструктурализм // Современная западная философия: Словарь. М., 1991. С. 243.

²¹ Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrénie: L'Anti-Oedipe. P., 1972. P. 340.

²² Бодрийяр Ж. Америка. М., 2000. С. 81.

²³ См., например: Ryan M. Politics and culture: Working hypotheses for a postrevolutionary society. L., 1989. P. 62.

²⁴ Под «разрушительными стратегиями письма и жизни», очевидно, подразумевается постмодернистский метод деконструкции, который широко используется, например, в работах Жака Деррида.

²⁵ Ryan M. Politics and culture: Working hypotheses for a postrevolutionary society. Цит. по: Цурина И. В. Социально-политический контекст философии постмодернизма. М., 1994. С. 4.

²⁶ Цурина И. В. Социально-политический контекст философии постмодернизма. М., 1994. С. 48.

²⁷ См., например: Foucault M. Microphysique du pouvoir. Turin, 1977.

²⁸ Deleuze G. Foucault. P., 1986. P. 33.

- ²⁹ Цурина И.В. Социально-политический контекст философии постмодернизма. М., 1994. С. 6.
- ³⁰ May T. Is post-structuralist political theory anarchist? // *Philosophy and social criticism*. 1989. Vol. 15. № 2. P. 168.
- ³¹ Постиндустриализм // *Политология. Энциклопедический словарь*. М., 1993. С. 307.
- ³² Постиндустриализм // *Политология. Энциклопедический словарь*. М., 1993. С. 307.
- ³³ См., например: *Bell D. The end of ideology*. N.-Y., 1960; *Sorokin P. Mutual convergence of the United States and the USSR to the mixed sociocultural type* // *International journal of the contemporary sociology*. 1960. № 1.
- ³⁴ *Kroker A., Cook D. The postmodern scene: Experimental culture and hiper-aesthetics*. L., 1988. P. 74.
- ³⁵ *Kroker A., Cook D. The postmodern scene: Experimental culture and hiper-aesthetics*. Цит. по: Цурина И. В. Социально-политический контекст философии постмодернизма. М., 1994. С. 26.
- ³⁶ См., например: *Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака*. М., 2004; *Baudrillard J. La Société de consommation: ses mythes, ses structures*. P., 1970; *L'Echange symbolique et la mort*. P., 1976; *The Mirror of Production*. St. Louis, 1975.
- ³⁷ Фукуяма Ф. Конец истории? // *Вопросы философии*. 1990. № 3. С. 134–148.
- ³⁸ Фукуяма Ф. Конец истории? // *Вопросы философии*. 1990. № 3. С. 135.
- ³⁹ *Бодрийяр Ж. Прозрачность зла*. М., 2000. С. 12.
- ⁴⁰ *Бодрийяр Ж. Прозрачность зла*. М., 2000. С. 8.
- ⁴¹ Фукуяма Ф. Конец истории? // *Вопросы философии*. 1990. № 3. С. 148.
- ⁴² *Зенкин С. Н. Жан Бодрийяр: время симулякров* // *Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть*. М., 2000. С. 24.
- ⁴³ *Klossowski P. Un si funeste désir*. P. 193 // Цит. по: *Декомб В. Современная французская философия*. М., 2000. С. 176.
- ⁴⁴ *Зенкин С. Н. Жан Бодрийяр: время симулякров*. С. 23.
- ⁴⁵ См.: *Baudrillard J. La guerre du Golf n'a pas eu lieu*. P., 1991.

Война и идеи Клаузевица в концепции
политического Карла Шмитта

Современная политика, в том числе в ее военно-силовом проявлении, становится все более динамичной в глобальном, региональном и внутригосударственном измерениях. Естественной реакцией научного сообщества, заинтересованного в объективной познании происходящих процессов, становится формирование адекватной методологии.

Думается, прежде всего, данным обстоятельством объясняется существенное повышение научного интереса к идеям двух немецких мыслителей, в центре познания которых находилась политика и война. Речь идет о Карле Клаузевице и Карле Шмитте. Можно констатировать как активное издание (и переиздание) в России в последние годы их трудов, так и работ и дискуссионных материалов, связанных с осмыслением взглядов и того, и другого теоретика. Такое положение естественно, если принять во внимание то, что труды Клаузевица о войне давно признаны классическими, а Шмитт является автором оригинальной концепции политического. Ее неотъемлемым компонентом является война.

Вообще, осмысление Шмиттом феномена войны до сих пор остается вне фокуса научного интереса отечественных исследователей, что урезает восприятие шмиттовского понятия политического. Научных работ, посвященных выявлению места войны в понятии политического, явно недостаточно¹. Практически единственным доступным российскому читателю трудом о видении войны Шмиттом выступает недавно вышедшая книга представителя французских «новых правых» Алена де Бенуа².

Следует отметить то, что прямо или косвенно война присутствует в целом ряде работ Шмитта, непосредственных упоминаний о Клаузевице и его идеях в большинстве из них можно обнаружить совсем немного.

Так, в объемном «Номосе Земли», увидевшем свет в 1950 году, Клаузевиц упоминается лишь однажды, и то лишь в связи с принадлежащим ему образным сравнением с весовыми камнями многочисленных небольших немецких государств XVIII и XIX веков, предназначенными для периодического уравновешивания отношений между великими державами³. Вместе с тем даже подобные упоминания свидетельствуют, как минимум, о внимательном прочтении Шмиттом его работ и знании его основных идей.

Прямое же обращение к Клаузевице и анализ его взглядов, равно как и последствий их реализации, имеют место в самой известной работе Шмитта «Понятие политического», а также в «Теории партизана». Имен-

но в данных работах им излагается концепция политического. То есть обращение к феномену войны обусловлено обоснованием понятия политического. Оно, как известно, тесно связано с войной, которая незримо присутствует в понимании Шмиттом политического. Причем уже в различных изданиях «Понятия политического» прослеживается эволюция взглядов Шмитта на войну. Как известно, названная работа выходила в трех различных авторских редакциях — в 1927, 1932 и 1933 гг.⁴ Подсчитано, что первоначально в статье, вышедшей в 1927 году, 77 раз говорится о войне, но при этом гражданская война не упоминается ни разу⁵. Вместе с тем в дальнейшем в течение длительного времени Шмитт, в отличие от Клаузевица, не проявлял стремления обозначить и раскрыть характеристики (что это за война, как и за что она будет вестись и т.д.). На первых этапах формирования концепции политического, судя по всему, для него это не представлялось важным. Константацией того, что война неотделима от феномена политического, было вполне достаточно. К необходимости же дать свое видение войны Шмитт пришел лишь после Второй мировой войны, по результатам осмысления социально-политической действительности, сложившегося послевоенного статус-кво, действий глобальных политических акторов в лице держав-победительниц, прежде всего США.

И все же изначально Шмитт просто не мог уклониться от комментария классической формулы Клаузевица о войне как продолжении политики. Вместе с тем он трактует ее под иным углом зрения, с точки зрения представления того, как она связана с понятием политического: «Военная борьба, рассматриваемая сама по себе, не есть “продолжение политики иными средствами”, как чаще всего — неправильно — цитируют знаменитые слова Клаузевица, но, как война, она имеет свои собственные, стратегические, тактические и иные правила и точки зрения, которые в совокупности, однако, предполагают уже наличествующее политическое решение о том, кто есть враг»⁶.

Аргументация снабжена сноской, как представляется, неправомерно опущенной в российских изданиях «Понятия политического», в которой Шмитт поясняет свою мысль: «Клаузевиц говорит: “Война есть не что иное, как продолжение политических отношений другими средствами”. Война для него есть “подлинный инструмент политики”. Разумеется, это правильно, но ее значение для познания сущности политики этим не исчерпывается. Внимательное осмысление показывает, что война у Клаузевица всегда не один лишь из многих инструментов, а “ultima ratio” группирования на друзей и врагов. У войны есть собственная “грамматика” (т.н. повседневная военно-техническая закономерность), но ее “мозгом” остается политика, у нее нет “собственной логики”. Таковая может образоваться именно из понятий друга и врага, и это ядро всего политического раскрывается в следующем тезисе: “Раз война есть часть политики, то, следовательно, она будет принимать и ее свойства. Когда политика становится более грандиозной и мощной, то таковой же становится и война; и

этот рост может дойти до такой высоты, что *война приобретет свой абсолютный облик*». Вместе с тем и многие другие фразы указывают на то, что любое специфическое политическое рассуждение основывается на соответствующих политических категориях, особенно, это касается рассуждений о коалиционных войнах и союзах»⁷.

Основатель и теоретик движения «Новых правых» Алан де Бенуа полагает, что Шмитт «не подписывается под известной формулой Клаузевица»⁸, считая недостаточным понимание войны исключительно как продолжения политики. По мнению Бенуа, возникшему на основе изучения подходов Шмитта и Клаузевица, война «продолжает политическое, поскольку последнее предполагает враждебность, но не сводится к нему, поскольку обладает собственной сущностью»⁹. Бенуа солидарен со Шмиттом в том, что войне всегда предшествует политическое решение, указывающее на то, кто есть враг. Подытоживает же французский исследователь тем, что «Шмитт занимает позицию, близкую к взглядам Клаузевица, но не смешивающуюся с ними; скорее, она должна дополнить их и превзойти. Клаузевиц видит то, что есть в войне от политики, а Шмитт — то, что в политике есть от конфликта»¹⁰.

С предложенной трактовкой Бенуа нельзя безоговорочно согласиться. Прежде всего, потому, что война для Клаузевица — целостное политическое явление. Поэтому неправомерно говорить о наличии собственной сущности войны, обладающей, как он сам признавал в восьмой части своего главного труда, собственной грамматикой, но никак не собственной логикой. Кроме того, взгляды «двух Карлов» следует рассматривать не как вертикально организованные и иерархические отношения, а как рядоположенные и взаимодополняющие феномены. Французский исследователь, к сожалению, по неизвестным причинам фактически проигнорировал то весьма важное обстоятельство, что Клаузевиц является политическим мыслителем, необоснованно обедняя и упрощая тем самым его теорию.

В действительности, как представляется, Шмитт, не стремясь опровергать Клаузевица, сосредоточил внимание лишь на том его тезисе, связанном с войной, который был необходим ему для раскрытия содержания понятия политического, выявления детерминанта политического поведения. Одновременно Шмитт предостерегает об ущербности рассмотрения войны автономно от политики, что де-факто означало бы милитаристскую трактовку последней. Формула же Клаузевица была использована для определения, указания места феномена войны в понятии политического: «Война — это вообще не цель и даже не содержание политики, но, скорее, как реальная возможность она есть всегда наличествующая *предпосылка*, которая уникальным образом определяет человеческое мышление и действие и тем самым вызывает специфически политическое поведение»¹¹.

Получается, что война — постоянная перспектива политики. При этом война для Шмитта — предельное понятие, характеризующее специфику исключительного случая, особого, максимального обостренного состояния

политических отношений, вероятность наступления которого народу и его руководителям никогда нельзя упускать из виду. Строго говоря, в этом вопросе подходы Шмитта и Клаузевица созвучны. Философ войны, как известно, последовательно доказывал, что война есть частный случай политики, все ее своеобразие заключается в применяемых средствах: «Война есть орудие политики; она неизменно должна носить характер последней; ее следует мерить мерой политики. Поэтому ведение войны в своих общих очертаниях есть сама политика, сменившая перо на меч...»¹² Продолжая мысль Клаузевица, можно сказать, что смена пера на меч, равно как и демонстрация возможности такой смены, практически постоянно имеет место в политике. Созвучны и оценки двух мыслителей относительно статуса, характера взаимоотношений противоборствующих сторон в политике и в войне. По мнению Клаузевица, «война не относится к области искусств и наук, а к области общественной жизни. Война есть столкновение значительных интересов, которое разрешается кровопролитием, — и только этим она отличается от других общественных конфликтов... Война есть деятельность воли против одухотворенного *реагирующего* объекта»¹³. Фактически Шмитт пишет о том же.

Вместе с тем следует отметить, что за определение войны как предпосылки политического, особенно в связи со сведением политического к оппозиции друга и врага, Шмитт периодически подвергается критике. Так профессор Гейдельбергского университета Х. фон Хофмайстер упрекает его в милитаристской сущности указанной оппозиции, поскольку «друг и враг суть категории войны, а не политики»¹⁴. Полемизируя же одновременно с Клаузевицем и Шмиттом относительно видения войны как возможности, придерживается той точки зрения, что «исходящая от войны опасность, которая состоит в том, что ее грамматика может превратиться в логику, заставляет воспринимать войну как политическую возможность, более того, она ставит перед необходимостью мыслить ее как невозможность»¹⁵.

Высказываются и опасения о реальных последствиях шмиттовского определения сущности политического. Таким последствием видится, например, абсолютная война: «Обострение войны до уровня различия друга и врага, при котором враг стремится к отрицанию собственной экзистенции, ведет к приближению абсолютной войны»¹⁶. Немецкий публицист и общественный деятель М. Мертес полагает, что сформулированный Шмиттом антагонизм между другом и врагом «должен привести в итоге к гражданской войне: или я уничтожу врага, или он меня уничтожит»¹⁷. Фактически приведенные оценки представляют собой указание на реальность возможности материализации теоретической конструкции Шмитта. Вместе с тем авторы приведенных суждений воздерживаются от развернутого изложения того, как и почему содержащаяся в оппозиции друга и врага «военная угроза» должна воплотиться на практике. В серьезном труде исследователя из Германии Беатрис Хойзер указывается на адаптацию Шмиттом идей Клаузевица в экстремистском ключе с указанием на его симпатии к национал-социализму¹⁸.

Все же сведение политического исключительно к «функции войны» является чрезмерно упрощенным его пониманием. Правомерно утверждать, что и концепция войны Клаузевица, и понятие политического Шмитта построены на признании политических отношений как субъект-субъектных, т.е. отношений признающих друг друга — и легитимность друг друга — субъектов. По Шмитту, исчезновение одного из субъектов влечет за собой и исчезновение политического. В таком же ключе необходимо расценивать и вывод Б. Хойзера о том, что война для Клаузевица — нормальное проявление отношений между государствами¹⁹, а не как постановку ему в вину оправдание жестокостей, вызванных войной.

В целом же критика Шмитта за установление связи политического с войной — равно как и подобная критика Клаузевица — исключительно с либерально-пацифистских позиций неоправданна и легко опровергается, если встать на позиции реальной политики. Признание возможности войны, видение в ней предпосылки политического поведения нельзя оценивать как призыв к войне, к агрессии и обязательному уничтожению политического оппонента.

Как известно, именно с учетом возможности войны общество и государство создают военную организацию, что требует сосредоточения значительных усилий и ресурсов. Само существование армии объективно обусловлено необходимостью подготовки, ведения войны (оборонительной или наступательной) и ее предотвращения, т.е. возможностью применения военного насилия²⁰. Последствия перспективы войны для общества и его политической организации проявляются не только в этом. Как пишет испанский политолог Санистебан, «феномен войны оказывает решающее влияние на политическую систему не только когда она идет, но и во времена мира»²¹.

Такой подход можно назвать реалистическим, у его истоков стояло немало мыслителей. Так, важное методологическое основание, ориентирующее на рассмотрение войны как феномена, неотделимого от политики, изложено Томасом Гоббсом. Как известно, он полагал необходимым включать в понятие войны не только непосредственно само вооруженное столкновение, но и стремление, подготовку к ней. С этой точки зрения война, будучи волевым актом, включает в себя — по временному параметру — и тот период, который предшествует боевым действиям: «...*Война* есть не только сражение или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот почему время должно быть включено в понятие *войны*... Понятие войны состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в течение всего того времени, пока нет уверенности в противном»²².

Политическая же практика дает немало убедительных примеров подтверждения тезиса Гоббса о том, что с прекращением известного состояния «войны всех против всех» — в результате общественного договора — государства тем не менее остаются практически в состоянии постоянной войны между собой. Несмотря на, казалось бы, неоднозначность исполь-

зованного Гоббсом термина, использованная аргументация представляется довольно убедительной: «Хотя никогда и не было такого времени, когда бы частные лица находились в состоянии войны между собой, короли и лица, облеченные верховной властью, вследствие своей независимости всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и в состоянии и положении гладиаторов, направляющих оружие друг на друга и зорко следящих друг за другом. Они имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов у своих соседей, что является состоянием войны. Но так как они при этом поддерживают трудолюбие своих подданных, то указанное состояние не приводит к тем бедствиям, которые сопровождают свободу частных лиц»²³. По сути, в понимании Гоббса война между государствами идет практически непрерывно и имеет лишь разные степени остроты. Воззрения английского мыслителя представляют интерес с методологической точки зрения, поскольку в них, как и у Шмитта, содержится достаточно четкое указание на постоянное незримое присутствие войны в политических отношениях.

Клаузевиц в своих трудах также очерчивает войну в самом широком спектре, допускает ее проявление и в весьма специфической форме, он весьма образно называет войну «хамелеоном, так как она в каждом конкретном случае несколько изменяет свою природу»²⁴. Знакомство с трудами Клаузевица показывает, что эволюция его идей в направлении их политизации происходила постепенно. Например, если в написанных первоначально частях книги «О войне» он видел основным объектом воздействия на войне (сокрушения) армию противника, то в дальнейшем он выделяет психологическое измерение войны. По его мнению, при определенных условиях основным объектом завоевания может выступать столица противника, или же его политическое руководство. О трансформации взглядов Клаузевица свидетельствует и многое другое, выделим лишь следующие позиции, обозначенные им в поздних разработках:

- признание полноценного вторжения в войну народных масс, которое происходит в самых различных проявлениях²⁵;

- определение сущности войны (и победы в войне) как навязывания своей воли противнику посредством подавления его воли к сопротивлению;

- идея, пусть и не в полной мере артикулированная и недостаточно развитая, о ведении войны не только государствами, но и социальными группами и сообществами;

- видение войны в самом широком ее спектре в зависимости от преследуемых враждующими сторонами целей (в том числе ограниченных), используемых средств, степени напряжения в применении насилия и др. Клаузевиц вплотную подошел к пониманию того, что война ведется не только вооруженным насилием;

- вывод об изменчивости войны в различные исторические эпохи, а также выявление ее зависимости от специфики ведущих ее субъектов, от их культурных и многих других особенностей;

– понимание политики, фокусирующей в себе различные общественные отношения, как детерминанта войны.

Каждую из приведенных позиций будет нетрудно подтвердить, если внимательно прочесть главный труд философа войны. К сожалению, как показывает ознакомление с интерпретациями идей Клаузевица, это удается не всем. Чтобы опровергнуть распространенное мнение о его приверженности исключительно к сокрушению и физическому уничтожению противника (при том, что возможность последнего не исключается Клаузевицем вовсе), все же уместно привести некоторые его суждения о войне. «...Война, не насилуя своей природы, может воплощаться в весьма разнообразные по значению и интенсивности формы, начиная от войны истребительной и кончая выставлением простого вооруженного наблюдения»²⁶. Философ войны указывал и на допустимость войны, ведущейся в рамках такой политики, которая представляет собой «...не всестороннее проникновение, а осторожное, лукавое, да, пожалуй, и нечестное мудрствование, избегающее открытого употребления силы»²⁷. Тем самым, по мнению Клаузевица, существует возможность воздействовать на политического оппонента следующим образом: «...Мы наталкиваемся ещё на одно своеобразное средство: воздействие на вероятность успеха, не сокрушая вооруженных сил противника. Это — предприятия, *непосредственно предназначенные для оказания давления на политические отношения*... Этот путь к намеченной нами цели по сравнению с сокрушением вооружённых сил может оказаться гораздо более кратким... Мы стремимся лишь показать, что при известных условиях, кроме уничтожения сил врага, имеются и иные пути достижения поставленной цели и что эти пути не содержат в себе *внутреннего противоречия*, не являются абсурдом и даже не составляют *ошибки*»²⁸. При этом известно, что Клаузевиц допускал и возможность ведения «таких войн, которые заключаются только *в угрозе противнику, — ведутся в помощь переговорам*»²⁹. Отсюда ясно, что любые обвинения Клаузевица в присущей ему кровожадности носят либо откровенно надуманный и спекулятивный характер, либо же вызваны невнимательным прочтением его работ.

По мнению Шмитта, политическое — как раз не в самой борьбе, а в отношениях, обусловленных ее возможностью. Критерий политического — различие друга и врага, необходимое для осознания и поддержания идентичности. В этой связи следует указать на важность и инструментальность содержащегося в работах Шмитта различия конвенционального, действительного врага и врага абсолютного для правового измерения войны. Именно признание законного статуса позволяет избежать демонизации, криминализации и дискриминации политического оппонента. В противном случае он лишается не просто права на признание своей идентичности и своих интересов, но и самого права на существование как таковое.

Следует отметить, что знакомство с идеями Клаузевица, судя по всему, позволило Шмитту прийти и к другим выводам при формировании поня-

тия политического. Так, Клаузевиц, фиксируя разрешение в политике самых различных противоречий и одновременно обосновывая доминирование политических установлений на войне, отрицал «чисто военную» точку зрения на войну и исходил из того, что «...политика объединяет и согласовывает все интересы, как вопросы внутреннего управления, так и вопросы гуманности и всего остального... сама по себе политика ничто, а только представитель всех этих интересов перед другими государствами»³⁰. Думается, такой подход мог выступить для Шмитта в качестве исходной посылки для обоснования известного тезиса об отсутствии у политического, в отличие от других сфер жизни, собственной питательной основы. Шмитт посвятил ему специальную статью «Клаузевиц как политический мыслитель. Заметки и замечания», которая была опубликована в немецком журнале консервативной направленности «Der Staat» в 1967 году. В ней Шмитт, исходя из понятия политического, показывает, кто для Клаузевица был враг. Шмитту явно импонирует и «партизанский» образ мыслей и действий философа войны: стремление действовать в интересах своей родины, пусть и вопреки позиции власти, в условиях гонений с ее стороны, а также готовность терпеть до конца и не отчаиваться даже после поражения. Как известно, история не раз подтвердила правоту Клаузевица, который полагал, что в победе противника «...побежденная страна часто видит... лишь преходящее зло, которое может быть исправлено в будущем последующими политическими усилиями»³¹.

Характерно также, что политическое поведение прусского генерала Йорка, подписавшего в 1812 году при непосредственном участии Клаузевица Тауроггенскую конвенцию и принявшего тем самым самостоятельно решение продемонстрировав собственную, отличную от власти, позицию, определив, кто является «действительным врагом», послужило предметом анализа для Шмитта³².

Шмитта и Клаузевица роднит и то, что оба они были государственники и исходили из примата политических установлений. Причем Шмитт приписывает автору труда «О войне» свое понимание государства, известное по работе «Понятие политического»: «Политическим единством, в рамках которого мыслит Клаузевиц, является и остается *государство*, а именно его собственное конкретно существующее государство»³³. Не удивительно, что, по оценке Шмитта, Клаузевиц снова спасал честь своей родины уже в XX веке: «Он принадлежит к немногочисленной энергичной властной элите, которая в 1807–1812 гг. настолько успешно регенерировала тотально побежденное военное государство Пруссию, что оно отважилось вступить в соревнование с бурным индустриальным развитием XIX столетия. Для того, что собственно понимают под весьма спорным названием *Пруссия*, как и для того, что от нее осталось и продолжало жить после вычеркивания Пруссии победителями во Второй мировой войне, Клаузевиц гораздо значимее, чем многие другие, чьи имена сегодня призваны для спасения чести Пруссии»³⁴.

В завершение следует отметить, что вряд ли концепция политического Карла Шмитта имела бы известный сегодня всем вид, если бы ее автор не был хорошо знаком с идеями Клаузевица, не находился бы под их впечатлением и не воспринял бы их. Следовательно, последнего можно считать в известном смысле предтечей «Понятия политического».

¹ Можно назвать, пожалуй, лишь следующую статью: *Берендеев В.А.* Политическое учение Карла Шмитта как продолжение традиции классического европейского философствования о войне // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2012. № 4. С. 44–48.

² См.: *Бенуа А.* Карл Шмитт сегодня. М., 2013. С. 33–34.

³ См.: *Шмитт К.* Номос Земли в праве народов *jus publicum eurpaeum*. СПб., 2008. С. 538.

⁴ Издание работы в 1963 году в Берлине представляет собой перепечатку текста 1932 года.

⁵ *Майер Х.* Карл Шмитт, Лео Штраус и «Понятие политического». О диалоге отсутствующих / Пер. с нем. Ю.Ю. Коринца. М., 2012. С. 31.

⁶ *Шмитт К.* Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1. С. 43.

⁷ *Schmitt C.* Begriff des Politischen. München, 1932. S. 21–22.

⁸ *Бенуа А.* Карл Шмитт сегодня. М., 2013. С. 33.

⁹ *Бенуа А.* Карл Шмитт сегодня. М., 2013. С. 34.

¹⁰ *Бенуа А.* Карл Шмитт сегодня. М., 2013. С. 34.

¹¹ *Шмитт К.* Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1. С. 43.

¹² *Клаузевиц К.* О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 2. С. 387.

¹³ *Клаузевиц К.* О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 1. С. 144–145.

¹⁴ *Хофмайстер Х.* Воля к войне, или Бессилие политики. Философско-политический трактат / Пер. с нем. и послесл. О.А. Коваль. СПб., 2006. С. 112.

¹⁵ *Хофмайстер Х.* Воля к войне, или Бессилие политики. Философско-политический трактат / Пер. с нем. и послесл. О.А. Коваль. СПб., 2006. С. 156.

¹⁶ См.: *Schwarz C.* Politische Theorie des Krieges bei Carl von Clausewitz. S. 21.

¹⁷ *Мертес М.* Немецкие вопросы — европейские ответы. М., 2001. С. 220.

¹⁸ См.: *Heuser B.* Clausewitz lesen! München, 2005. S. 59–60.

¹⁹ См.: *Heuser B.* Clausewitz lesen! München, 2005. S. 61.

²⁰ В этом отношении характерно определение армии, приведенное Ф. Энгельсом в статье, написанной для «Новой американской энциклопедии»: «Армия — организованное объединение вооруженных людей, содержащееся государством в целях наступательной или оборонительной войны» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. М., 1959. Т. 21. С. 5).

²¹ *Санитестан Л.С.* Основы политической науки. М., 1992. С. 109.

²² *Гоббс Т.* Избранные произведения: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 152.

²³ *Гоббс Т.* Избранные произведения: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 152.

²⁴ *Клаузевиц К.* О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 1. С. 57.

²⁵ Вместе с тем до рассмотрения статуса народа как несущего тяготы войны и как ее жертвы Клаузевиц не дошел.

²⁶ *Клаузевиц К.* О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 1. С. 45.

²⁷ *Клаузевиц К.* О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 1. С. 56.

²⁸ *Клаузевиц К.* О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 1. С. 63–64.

²⁹ *Клаузевиц К.* О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 2. С. 375.

³⁰ *Клаузевиц К.* О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 2. С. 380.

³¹ *Клаузевиц К.* О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 1. С. 42. К этой проблеме обращались и другие мыслители. Так, одна из глав известной работы Ш.-Л. Монтескье «О духе законов» имеет следующее название: «О некоторых выгодах побежденных народов».

³² См.: *Шмитт К.* Теория партизана / Пер. с нем. Ю.Ю. Коринца. М., 2007. С. 132–134.

³³ *Schmitt C.* Clausewitz als politischer Denker // Der Staat. 1967. № 4. S. 500.

³⁴ *Schmitt C.* Clausewitz als politischer Denker // Der Staat. 1967. № 4. S. 501.

Политическое время: основные характеристики

Время как феномен и категория представляет интерес для различных областей знаний, так или иначе касающихся политики. В том или ином качестве, с той или иной степенью глубины и детализации время рассматривается в политической философии и философии политики, политической науке, а также в таких прикладных дисциплинах, как политическая аналитика, политическое планирование и прогнозирование. В последних трех дисциплинах время присутствует в качестве фактора или ресурса. Однако понимание свойств времени, вопрос о его ценности, сущности и природе является прерогативой именно философии и теории политики, а конечная концептуализация предлагается различными теориями политической философии.

На сегодняшний день с полным основанием можно констатировать тот факт, что многие отечественные и зарубежные исследователи стали уделять концептуализации представлений о времени существенное внимание. Причины роста интереса к данному вопросу нам видятся в усложнении форм политической жизни, обострении и неразрешенности многих проблем, появлении новых акторов политики, вовлечении в политическую сферу новых участников. Исследователями и теоретиками предполагается, что временная проблематика (не являясь проблематикой в собственном смысле), прежде всего, поможет дополнить знание в сфере политической науки и, в конечном счете, предоставить более эффективные инструменты анализа и политического действия¹.

В этой связи наиболее эффективной стратегией рассмотрения феномена времени представляется «концептуальное картирование» ключевых подходов к пониманию времени и разработок в данной сфере.

Исследования по данному вопросу получили широкое распространение, выкристаллизовавшись и оформившись в такое направление политической науки, как хронополитика. Постараемся не злоупотреблять использованием данного термина (рассмотрение статуса данной дисциплины — задача отдельной работы, — и такие работы есть). Однако сразу оговоримся, что не будем исключать его при цитировании различных авторов и демонстрации их взглядов, подразумевая под ним раздел теоретического знания, занимающийся изучением «политического времени», феномена времени в его связи с политикой.

Очевидно, что само время не является сугубо политическим феноменом. Так же как и его рассмотрение началось не в политической науке. В сферу знания о политике время было привнесено.

Как будет показано ниже, в подавляющем большинстве различные концепции рассмотрения времени в политике замалчивают про те философские основания (подходы, школы, идеи), которые положены в основу рассмотрения времени. Подробно не будем останавливаться на изложении различных философских взглядов на время (с кратким, но скрупулезным изложением можно ознакомиться, например, в «Новой философской энциклопедии»²).

При этом стоит сказать, что данный вопрос является одним из ключевых. Здесь, прежде всего, следует различать **материалистическое** и идеалистическое **понимание** времени.

Следующий момент — **объективистская** и **субъективистская** трактовка времени (и различные философские подходы — от психологизма до трансцендентализма в понимании времени). Смежным с данным аспектом природы времени является **абсолютность** либо **относительность времени** и связанное с этим рассмотрение времени как:

1) определенного фона («вместилища») политической жизни (подобно физическому пространству). Возникает вопрос о специфичности именно политического времени и возможности его порождения участием (или намеренным избеганием) в политической жизни.

2) характеристики протекания политических процессов (и, в конечном счете, — меры политических изменений). Здесь наиболее дискуссионным видится вопрос свойства времени при его использовании в качестве переменной в формуле скорости. В классической механике скорость есть количество изменений за единицу времени. При этом непонятно, является ли время в данном случае одним и тем же (по умолчанию — астрономическим, ход которого можно отследить по часам, а значит — абсолютным), или имеет место говорить о разном течении времени (а если не о течении — то его однозначном восприятии, что ставит под сомнение саму операциональную возможность измерения скорости).

К первому и второму пункту примыкает вопрос о **морфологии времени** — линейность / цикличность (*спиралевидность, синусоидность* и пр.).

3) ресурса, за который разворачивается политическая борьба.

Также при рассмотрении времени в политике встает вопрос о **соотнесении политического времени** с физическим (что порой тривиально), **историческим** и **социальным** временем.

Теперь перейдем к рассмотрению конкретных концепций и взглядов на время в политике, пытаясь охарактеризовать их в свете вышеизложенных «концептуальной сетки».

Как уже говорилось, подобные систематизации заняли нишу «хронопололитических исследований».

В одной из относительно новых монографий приводится такая трактовка этого термина: «Хронополитика — область знаний, связанная с изучением временного измерения политической реальности»³.

Весьма сходную трактовку (в аспекте, касающемся времени, и вынося за скобки другие характеристики предмета) мы можем найти у Дж. Мо-

дельски: «Изучение длинных циклов — это изучение ритмов глобальной политики. Прежде всего, оно имеет отношение к временному измерению политического процесса и степени, в которой этот процесс изменяется во времени. Так оно сосредоточено на временном измерении, это измерение принадлежит полю, которое может быть названо «хронополитикой», но поскольку в первую очередь оно имеет дело с крупномасштабными системами, полным названием может быть «хрономакрополитика» (изучение ритмов крупномасштабных политических систем). Основная аллюзия в данном случае — хронобиология, где в последние годы были предприняты успешные исследования суточных и других ритмов»⁴.

В явном виде присутствует трактовка времени как феномена, на фоне (или внутри) которого протекает политическая жизнь. В этом аспекте время становится своеобразным четвертым измерением, при этом допускается возможность — установить в количественном виде характеристики тех или иных процессов. Дж. Модельски также говорит о ритмах глобальной политики. Ритмичность выступает как свойство политических процессов, понимание ритмичности мыслится по аналогии с ритмами биологии, подающимися измерению.

Другим крупным теоретиком, касавшимся проблематики политического времени, является Поль Вирилио. В своих работах он подчеркивает роль скорости в современных социальных процессах, а также трактует скорость в качестве основы современных военных и политических практик. Ключевую роль он отводит развитию технологий, которые породили эффект сжатия мирового пространства / времени и в конечном счете привели к снижению роли пространства и повышению роли времени⁵. Стоит подчеркнуть, что Вирилио не одинок в своих обобщениях и выводах. Аналогичную точку зрения мы можем наблюдать у Э. Тоффлера в его самой известной работе «Шок будущего» («Футурошок»). Таким образом, количество различного рода изменений и технологическое усложнение для авторов выступают в качестве причины сжатия времени (говорить, что время ускорилося, как минимум некорректно). Корректнее будет сказать, что за один и тот же отрезок на шкале измерительного прибора времени стало возможным осуществлять более масштабные изменения, преодолевать большие расстояния, и т.п. Сжатие времени — всего лишь результат восприятия (формы чувственности) возросшего числа фактов, данных, пройденного расстояния. При этом авторами ничего не говорится о различных экспериментах — тестах теории относительности (например, об эксперименте Хафеле — Китинга, подтверждающем замедление времени для движущихся объектов).

Отечественный специалист С. Семенов предлагает такое понимание времени: «Политическое время — атрибут согласованного политического действия (не малых, а больших групп)... Оно не только событийно, но и проективно, не столько устремлено в прошлое, сколько сосредоточено на настоящем и обращено в будущее»; — отсюда автор выводит такие свойства политического времени, как его однонаправленность и необрати-

мость⁶. За несколько поэтическим описанием скрывается всего лишь привнесение фактора времени (причем линейного и однонаправленного) в характеристику политической жизни как деятельности по согласованию интересов различных групп. Устремленность в будущее — понимаемая как проективность — скорее не характеристика политического времени, а характеристика политической деятельности. Здесь мы вплотную подходим к вопросу разграничения политики и истории. Как правило, сложность при их различении наступает сразу, как только мы вносим временной фактор. Прошлое — удел истории, приоритет в работе с настоящим и созданием перспектив будущего принято отдавать политике. Возникает вопрос — с какого момента политика становится историей, то есть когда настоящее становится прошлым? Один из способов снятия подобного вопроса нам видится в исключении темпорального фактора. Более корректно будет говорить о присутствии событий прошлого в качестве актуализированных проблем (вопросов) по поводу произошедших событий в политическом сознании и их инструментальном применении в политике. Так, подавляющее большинство попыток «пересмотреть историю» трактуются как политические действия, клеймятся ревизионизмом. *Более подробно аспект присутствия «прошлого» в политическом сознании, а также отношения истории и политики мы обсудим ниже, когда коснемся различных «масштабов рассмотрения времени» и его связи с идеологией.*

Некоторые исследователи выводят различие типов темпоральности (история, политика) опять же из опыта. «В основе различения размерности времени лежит вполне наглядное и эмпирически достоверное ощущение того, что повседневное **восприятие** (курсив мой. — *Е.Ф.*) политической реальности как процесса по самой своей природе качественно отличается от исторического представления о ней (интерпретации) как череды политических изменений, а уж тем более от обобщающей сущности этого движения — развития и «развитости» соответствующей политической реальности»⁷. Получается, что политическая реальность (понимаемая как некоторый процесс в отличие от уже свершившихся изменений — истории) обуславливает восприятие времени, специфицируя нашу чувственность.

О перцептуальных аспектах времени говорят и такие исследователи, как А.С. Панарин и В.В. Ильин⁸.

В.В. Ильин разделяет общеполитические подходы ко времени (прогрессизм, финализм, циклизм — их рассмотрим позже) и перцептуальные аспекты: время может выступать в качестве коллективной интуиции, бесперспективной, безвременной депрессии, мобилизационного или акселерационного чувства.

А.С. Панарин выдвигает 1) концепцию плюрализма типов социального времени (ключевой здесь является проблема множественности «времен» как динамики развития различных групп), а также говорит о 2) распределении общественного бюджета времени (здесь поднимается вопрос регулирования времени в современных обществах, который выходит за рамки

сугубо социологического рассмотрения — соотношение времени труда и досуга, личное время и пр.)⁹. Как мы видим, в первом случае речь о времени заходит в связи с рассмотрением изменений и их характеристикой, а восприятие времени связано с отношением к этим изменениям с позиций политического сознания.

Так, А.С. Панарин говорит, что эсхатологическое восприятие времени характерно для «революционного сознания» (требования революционных преобразований), доминирующие группы (читай — элиты) — «нуждаются» в стабильном и предсказуемом времени, а в «динамичном времени» заинтересованы группы, занимающие срединное положение. Ускорение развития для них есть способ сократить отставание от лидеров¹⁰.

Есть все основания утверждать, что данные различия в восприятии времени есть различия «классового сознания» представителей различных классов. Подобные различия напрямую связаны с идеологией. Такой представитель мир-системного анализа, как И. Валлерстайн, утверждает, что различия идеологий заключаются в различии «типов отношения к современности» и «нормализации изменений»: если консерваторы стремятся замедлить или остановить происходящие изменения, а социалисты ускорить их за счет жестокой борьбы, то либералов привлекает процесс постоянных изменений как таковой¹¹. Проективность времени, о которой мы говорили выше, приводя цитату С.И. Семенова, заключается в соответствии времени желаниям тех или иных преобразований (различных по форме реализации и целям)¹². Проективность как некую характеристику политического времени также можно обнаружить у другого российского исследователя — В. Цымбурского. В частности, в его понимании «хронополитика — это изучение неоднородности исторического времени, меняющихся в нем конъюнктур и тенденций с точки зрения их использования для постановки и достижения политических целей. Термин образован по аналогии с геополитикой»¹³. Здесь мы можем наблюдать обособленное от пространства понимание времени, что характерно для нерелятивистской классической механики. При этом проективность времени мыслится по аналогии с проективностью пространства, что характерно для геополитики, которая, в отличие от политической географии, рассматривает не географическую статику как детерминирующие факторы в политике, но стратегии пространственного развертывания политики.

Таким образом, вполне уместно говорить о конструктивистском характере политического времени. Валлерстайн идет дальше, говоря о возможных (или невозможных в силу объективных условий сложившихся производственных отношений) трансформациях времени в сознании. Так, например, такое явление, как «предательство буржуазией своих интересов», есть не что иное, как желание навсегда превратить сегодняшний доход (прибыль) в будущий (ренту), то есть, по сути, стать «аристократией». При этом одна из особенностей современных средних классов, как утверждает Валлерстайн, состоит в том, что у них существенно меньше воз-

возможностей к «аристократизации», чем у классической буржуазии. Тем самым они «не могут обеспечить то прошлое, которое смогут проживать их дети — как они, так и их дети и потомки их детей живут в настоящем»¹⁴. Очевидно, что марксистский подход не мог предложить нам какой-либо кардинально иной трактовки политического времени. Однако к взглядам Валлерстайна мы еще вернемся.

Выше нами поднимался вопрос о таких свойствах времени, как необратимость (или повторяемость как противоположное ему свойство). Такие характеристики времени нередко можно встретить у различных авторов. Так, например, А. Венгер в одной из статей, говоря об обратимости политического времени, утверждает: «общество может возвращаться в то политическое, духовное, даже экономическое состояние, которое оно уже будто проходило»¹⁵. Далее приводятся исторические примеры и аналогии, демонстрирующие сходство определенных исторических ситуаций и обстоятельств. Собственно, в приведенной цитате уже содержится ключ к разгадке данной особенности времени. Таких особенностей и свойств у времени нет. Повторяемость политических процессов может иметь место, так же как можно наблюдать сходство тех или иных политических событий. Объяснения в духе «история повторяется», как правило, имеют целью придать большую историософскую значимость тому или иному событию и свидетельствуют о невозможности установления всех причин данного события. Наиболее сильный удар подобные факты наносят по линейному (и тем более прогрессистскому) пониманию времени. Не будем подробно останавливаться на данном вопросе. Однако заметим, что методологически продуктивным будет объяснить повторяемость тех или иных процессов, исходя из системных свойств и закономерностей политической жизни.

Также стоит отметить, что повторяемость времени (как наличие определенных циклов) в качестве своих причин может иметь вещи совсем иной (отличной от политической) природы. В экономике известны различные циклы (Жугляра, Китчина, Кузнеца, Кондратьева), тем или иным образом сказывающиеся на характере протекания хозяйственной жизни. Наиболее дискуссионными и представляющими интерес для обществоведов стали циклы Кондратьева. Особую роль они занимают в концепции уже упомянутого И. Валлерстайна, являясь одним из «видов времени». Остановимся на этом подробнее.

Валлерстайн выделяет следующие «виды времени»:

1. Вечное время;
2. Эпизодическое (событийное) время;
3. Структурное время;
4. Циклическое время;
5. Трансформационное время.

Первое и второе лежит в основе всех общественных наук: вечное время — это допущение номотетических наук, позволяющее обнаруживать универсальные законы. Также вечное время позволяет конструировать метафизи-

ческие теории. В то время как эпизодическое время допускает существование уникальных объектов, которые изучаются историей, литературой, искусствоведением, и познаются с помощью идеографических методов.

Структурное время — это время существования мир-системы. Современная мир-система существует в виде капиталистической мир-экономики. Циклический характер ее существования — это циклы Кондратьева. Трансформационное время — это период крупных изменений мир-системы. Однозначно говорить о том, как соотносятся между собой все эти типы, сложно. Можно лишь предположить, что исходя из логики Валлерстайна, отвергающего жесткое разделение наук на историю, социологию, экономику и политические науки (и предлагающего заменить их мир-системным анализом), вечное и эпизодическое время всего лишь не очень удачный интеллектуальный конструкт. Трансформационное время — модифицированный вариант такого понятия, как время протекания реакции в неравновесных системах, время жизни «диссипативных структур». Его особенностью является то, что оно, по сути, представляет собой феномен несколько иного порядка, нежели привычное время. Трансформационное время — это вхождение системы в точку бифуркации, где крайне высокую роль начинают приобретать такие феномены, как «свобода воли»¹⁶.

При этом охваченность всей мир-системы капиталистической мир-экономикой не подразумевает тождества времени его подсистем. Здесь Валлерстайн наследует введенное Ф. Броделем понятие «социального времени разных скоростей»: «Нет социального времени с единым и простым течением, но есть социальное время с тысячами замедлений, которые не имеют почти ничего общего с временем однодневок, хроники и традиционной истории»¹⁷. Между крайними точками эпизодической истории, рассматривавшей отдельные события, и вневременными истинами обобщений Бродель располагал структурное время и циклические процессы в рамках этих структур тенденции мир-экономики. Различие в восприятии времени и эскапизм в собственное время рассматриваются Валлерстайном как проявление антисистемных (направленных против капиталистической мир-экономики) движений.

Сходные тенденции отмечает А. Пятигорский, в работе «Размышляя о политике»¹⁸ (Приложение 1. Хронополитика). Как и П. Вирилио, Пятигорский утверждает, что время приобретает все большее значение в сфере политики, и возводит причины его трансформации к технологическому развитию. «Вследствие феноменально быстрого развития средств массовой информации и феноменального ускорения технологических коммуникаций и средств массового передвижения в современном мире возникает и получает свои формулировки идея “единого гомогенного мирового пространства”... Из гомогенизации мирового пространства никак не следует гомогенизация политического времени в современном мире». Одной из главных задач хронополитики для Пятигорского является исследование тенденции к гетерогенизации времени. При этом сама хронополитика

«конструируется как определенный образ политического действия, выработанный в процессе рефлексии над политическим мышлением» в противоположность пониманию хронополитики как суммы представлений о времени в политике. Исходя из этого, ставятся задачи пересмотра критериев политического времени: прежде всего, отвергается его объективность (и идеализация), а также произвольность в использовании времени (выбор временных отрезков).

Что касается соотношения с историческим временем, то А. Пятигорский утверждает, что историческое время является внешним для хронополитики (а в свою очередь астрономическое время является внешним для исторического). Следствием этого является релятивизация исторического времени хронополитикой, заключающаяся в отмене «единого для всех исторического времени».

Подводя итог выполненному обзору основных взглядов на время в политике, можно заключить следующее:

1. Многие исследователи утверждают такие свойства времени, как его неоднородность, не абсолютность (относительность). Подобные характеристики подразумевают понимание времени как феномена сознания (формы чувственности). Время рассматривается в его тесной связи с политическим сознанием (индивидуальным, коллективным).

2. При этом в своих рассуждениях многие продолжают использовать категорию времени как определенной меры протекания политических процессов и их характеристики (а потому — объективной, универсальной, квантифицированной).

3. Для многих исследователей приоритетным (и ключевым) для понимания проблематики времени является вопрос о его соотношении с социальным и историческим временем. Политическое время нередко дедуцируется из времени более высокого порядка (социального или исторического).

4. Время как ресурс может быть истолковано как в сугубо социологическом ключе (свободное время и пр.), так и как одно из проявлений сознания, на которое также могут распространиться властные отношения (постмодернистская критика историцизма, «гетерогенность» времени, присвоение времени как исторической памяти).

5. В большинстве подходов ко времени не учитываются достижения современной физической науки, где с появлением теории относительности (сначала специальной, а затем — общей) время стало неотделимо от трех пространственных измерений и зависит от скорости наблюдателя.

¹ Современные концепции политического времени стремятся расположиться между двумя полюсами исследовательского кругозора — сиюминутностью и вечностью. — См.: *Modelski G. Time, Calendar and International Relations* // faculty.washington.edu/modelski. Об этом же пишет и А. Пятигорский, критикуя прагматический и догматический («практицистский» и «догматистский») подходы в политике. — См.: *Алексеев О., Пятигорский А. Размышляя о политике*. М., 2008.

² Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Институт философии РАН, Нац. обществ.-науч. фонд; Науч.-ред. совет: В.С. Степин — пред. [и др.]. М., 2010.

³ *Чихарев И.А.* Хронополитика в теоретических исследованиях мировой политики: Диссертация кандидата политических наук / МГУ имени М.В. Ломоносова. Философский факультет. Кафедра мировой и российской политики. М., 2003.

⁴ *Modelski G.* The Study of Long Cycles // Exploring Long Cycles / Ed. by G. Modelski. London, 1987. P. 1–2.

⁵ *Рыклин М.К.* Деконструкция и деструкция: Беседы с философами М., 2002.

⁶ См.: *Семенов С.И.* Хронополитические аспекты кризисов культуры // *Общественные науки и современность.* 1993. № 4. С. 154.

⁷ *Ильин М.В.* Хронополитическое измерение: за пределами повседневности и истории // *Полис.* 1995. № 1. С. 56.

⁸ См.: *Ильин В.В.* Философия политики. М., 1994.

⁹ О контроле над временем также говорит Ч. Маер, рассуждая о соотношении времени и политики. При этом еще одним аспектом для него выступают общественные представления о политических устремлениях — то есть то, как политические сообщества воспроизводят себя во времени.

¹⁰ *Панарин А.С.* Философия политики. М., 1996.

¹¹ *Wallerstein I.* French Revolution as a World-Historical Event // *Social Research.* L., 1995. Vol. 56. № 1. P. 33–52.

¹² Уже упоминавшийся М.В. Ильин утверждает, что «...политические изменения обретают свой смысл и значение только благодаря тому, что им предшествовало и что последовало за ними, становясь историческими обобщениями, целыми квантами темпоральности, уже достаточно продолжительными и превосходящими размерность (диапазон) “реального” времени» (*Ильин М.В.* Феномен политического времени // *Полис.* 2005. № 3. С. 12). Таким образом, получается, что выбор временного интервала задает нам масштаб рассмотрения (и анализа) политических событий. Наиболее актуальным этот вопрос становится для таких дисциплин, как политическое планирование и прогнозирование, где одной из ключевых задач является выбор «временного горизонта».

¹³ *Цымбурский В.Л.* Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы, 1993–2006. М., 2007.

¹⁴ *Wallerstein I.* The bourgeoisie as concept and reality // *New left review.* London, 1998. № 167. P. 91–105.

¹⁵ *Венгеров А.Б.* Политическое пространство и политическое время (опыт структурирования понятий) // *Общественные науки и современность.* 1992. № 6. С. 49–63.

¹⁶ См.: *Валлерстайн И.* Изобретение реальностей времени-пространства: к пониманию наших исторических систем // *Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций.* Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 102–116.

¹⁷ Цит. по: *Соколова М.Н.* Современная французская историография. М., 1979. С. 86.

¹⁸ См.: *Пятигорский А.М.* Размышляя о политике. М., 2008.

РАЗДЕЛ II

«Политика» и «политическое» в современном мире

РАСТОРГУЕВ В.Н.

Политическое действие
и ответственность¹

Источник и цена радикализма

Политические мысли и политические действия только на первый взгляд существуют порознь, в двух разных мирах. Но это только иллюзия. Можно назвать множество «переходных форм», когда даже продуктивная научная идея, теория или гипотеза почти «сливаются» с самым грубым и необратимым прямым политическим действием, в том числе силовым, например, в рамках уже «запущенного» политического проекта или принятой и ставшей руководством к действию политической доктрины, идеологии или реализуемой стратегии. Любая из этих форм синтеза политического *ведения* и *ведЕНИЯ* может носить открытый или закрытый характер, по-разному проявляясь в сфере публичной и непубличной политики. Это принуждает всех, кто хотел бы провести четкую водораздельную линию между явным и неявным политическим знанием, договоренностью или сговором, согласием «основных игроков» или заговором, включаться в процесс концептуальной реконструкции принимаемых решений, что размывает границы между демократией и тоталитаризмом². Причем «современная» политика во всех своих проявлениях, включая сюда «геополитическую игру», становится все менее прозрачной, но все более непредсказуемой и безответственной, даже в сравнении с теми образцами политической деятельности, которые по традиции относили к разряду самых опасных заговоров, ставящих под удар все международные соглашения и нормы.

Примеров не счесть, но наиболее значимый из них и катастрофический по возможным последствиям — искусственно развязанная гражданская война на Украине, которую почти все политики и «политкомментаторы» рассматривают в качестве иллюстрации к теории управляемого хаоса (правильнее было бы сказать, политической методологии), многое объясняющей в специфике геополитического планирования нашего времени. Почти никто из аналитиков не сомневается и в том, что трагические события развивались по заранее подготовленным и тщательно выверенным сценариям, которые написаны очень далеко от границ Украины, и написаны людьми, меньше всего озабоченными судьбой украинцев. Естественно, что в такой ситуации многие специалисты, подвизающиеся на «политической кухне» и в массмедийных структурах, стремятся выявить и распутать «клубок заговоров», чтобы обнаружить хоть какую-то логику в том хаосе, в который погружается страна. Но надежды их тщетны. И не потому, что нет заговоров — они всегда были и будут, а по совершенно другой причине. Дело в том, что самые продуманные сценарии, положенные в основу проектов и программ (в том числе заговоров), живут после своего «запуска» собственной жизнью, а иногда в самый неподходящий момент полностью выходят из-под контроля. К примеру, не сложно было взрастить нацистские организации, обязанные в случае «красной угрозы» потопить в крови социальное недовольство или «переключить» его на внутренних и внешних «исторических врагов», повинных в бедах страны, как это и было «на Майдане», погрузив страну в «управляемый хаос» в интересах ее «стратегического репрофилирования» под плацдарм НАТО. Куда сложнее будет справиться с самими нацистами — и не только в самой Украине, а и в Европе. Именно здесь в результате другой долгосрочной социальной болезни (неконтролируемая миграция и нагнетание социального недовольства со стороны и коренного населения, и мигрантов, озабоченных культом всех мыслимых пороков) уже созрели предпосылки для прихода к власти и радикальных фундаменталистов, и нацистов новой генерации. Воистину, история возвращается, но, как и прежде, ничему не учит.

Граница между политической мыслью и действием, с одной стороны, как бы «стирается» из-за императивного характера политических знаний или из-за незаметного перерождения теорий в конкурирующие «великие политические учения», доктрины и сценарии, о чем уже говорилось. Однако, с другой стороны, эта почти условная граница превращается в пропасть, поскольку логика развития идей и логика политического действия, в том числе политической борьбы, не совпадают в принципе.

Есть и еще один аспект этой темы: риски, заложенные в политической мысли, несущей в себе заряд агрессии и радикализма, подобны инфекции, что превращает их в прямое действие. В этом случае даже отвлеченные философские идеи, замыслы, концепции свободно преодолевают пропасть между знанием и политическими практиками, переводя радикализм идейный в радикализм политический. Как заметил М. Фуко, мысль, начиная от

самых ранних ее форм, является уже действием, и действием опасным³. При этом Фуко особо подчеркивает, что о возможных последствиях «материализации» своих идей, безусловно, прекрасно знали и Ницше, рассматривавший жизнь как результат войны, а общество как средство для войны, и Гегель, учивший о высоком предназначении войн, «сохраняющих нравственное здоровье народов».

Это же можно сказать и о Марксе с его апологетикой классовой войны, и, конечно, о Ленине — идеологе гражданской войны и массового террора. А не замечают этого лишь те, кто сводит всякую мысль к примитивной идеологической схеме: «прогрессивная — реакционная». Таким образом, подъем нигилизма как господствовавшего умонастроения стал не только предупреждением о надвигающихся мировых катастрофах, но и катализатором этих катастроф. Не случайно именно нигилизм был характерен для наиболее значительных политических доктрин конца XIX и всего XX века — времени исторических войн. Творцы политических доктрин не могут не знать о направленности заложенной в них энергии и потому несут известную долю ответственности за деяния тех, кто сделал их доктрины оружием разрушения.

Известно, что Маркс и его последователи, рассматривавшие Марксово учение как руководство к действию, ставили вопрос о власти в политической борьбе бесконечно выше всех рассуждений о политической этике, человеческой морали или правосознании. «В политике, — по откровенному признанию Маркса, ставшему крылатой фразой, — ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом — нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя». Еще более емко выразил эту же мысль В.И. Ленин: «плох тот революционер, который в момент острой борьбы останавливается перед незыблемостью закона»⁴ (заметим, что это высказывание сделано в 1918 году по поводу декрета об отмене смертной казни). В своем известном «Письме к американским рабочим», которое было опубликовано в прокоммунистической прессе США в 1918 году, Ленин писал, что сотрудничество классов в интересах мира — это вредная утопия.

Никакие законы и человеческие жертвы не должны мешать делу революции, а самая изуверская форма войны — гражданская война с ее губительными последствиями, кровавым террором и самоистреблением нации — это всего лишь необходимая плата за мировую пролетарскую революцию.

«В эпоху революции классовая борьба неминуемо и неизбежно, — подчеркивал Ленин, — принимала всегда и во всех странах форму гражданской войны, а гражданская война немыслима ни без разрушений тягчайшего вида, ни без террора, ни без стеснения формальной демократии в интересах войны. Только слащавые попы — все равно, христианские или “светские” в лице салонных, парламентарных социалистов — могут не видеть, не понимать, не осязать этой необходимости. Только мертвые “человеки в футляре” способны отстраняться из-за этого от революции, вместо того чтобы со всей страстью и решительностью бросаться в бой тогда, когда история требует решения борьбой и войной величайших вопросов человечества»⁵.

Разумеется, учения, о которых идет речь, демонстрируют крайнее проявление радикализма в политической мысли. В целом для современной политологии свойственно стремление вытеснить из массового сознания радикалистские политические идеи. Это относится в большей степени к теоретическим разделам науки, а также к так называемой университетской политологии и в значительно меньшей степени — к ее прикладным направлениям. Прикладная политология часто выполняет функции научно-аналитического обеспечения текущей политики, а исследования и разработки в этой области иногда носят закрытый характер, что существенно изменяет функциональные цели производимого знания, снимая со специалистов целый ряд ограничений и самоограничений, свойственных представителям научного сообщества. К примеру, правительства и военные ведомства многих стран все чаще привлекают политологические центры к разработке различных альтернативных сценариев, связанных, к примеру, с силовым разрешением конфликтов или с анализом последствий нанесения упреждающих ударов в случае чрезвычайной опасности. Но даже так называемые политтехнологи и те ученые, деятельность которых сводится к выполнению «политических заказов», сегодня, как правило, отдают себе отчет в разрушительной силе политического нигилизма, способного в любой момент спровоцировать массовый террор или разжечь войны — гражданские, захватнические и даже межцивилизационные.

Политические доктрины несут в себе различные, а иногда и взаимоисключающие представления о целях политики, о границах допустимого и недопустимого. Они находятся в состоянии постоянной борьбы и за умы граждан, что не должно препятствовать их изучению, сопоставительному анализу и даже распространению. Но распространение (особенно в сфере преподавания политологии) также является своеобразной *политологической миссией*, поскольку требует большой аналитической работы и критического отношения к предмету. Распространение информации о конкурирующих политических концепциях и доктринах не должно сводиться ни к механическому обзору, ни к поиску «золотой середины» и «баланса мнений», поскольку между двумя противоположными мнениями, как точно подметил Гёте, находится вовсе не истина, а проблема. Это важно для того, чтобы конкуренция доктрин не выходила за рамки мирного и правового разрешения конфликта интересов и мнений, чтобы никто не мог устанавливать монополию на истину в политике, запретив гражданам под угрозой уголовного преследования самим определять достоинства и пороки того или иного политического учения.

Но чтобы самостоятельно справиться со столь непростой задачей, требуются особые навыки *реконструкции политических доктрин*: для этого нужно в уме проделать как бы обратный путь: от политической доктрины дойти до той теории, иногда вполне состоятельной научной теории, которая когда-то стала зерном доктрины, овладев сознанием миллионов людей. Теория еще поддается критике, но политическая доктрина — это не что иное, как адаптированная для массового сознания, а потому «отраженная» теория или даже механическая

совокупность связанных идей, даже не претендующая на «теоретическое оформление», но не предполагающая никакой критики от адептов.

Фактор методологической субъективности и предметная область политической науки

Существуют определенные различия между методами, посредством которых *открывается* объект познания, и методами, используемыми для *конструирования теоретических построений* (гипотезы и теории), в рамках которых осуществляются открытия, а также описываются и обосновываются уже сделанные открытия. По сути, *главным методом познания в политологии*, как и в большинстве других наук, была и всегда будет сама теория. Именно с этого тезиса американские политологи Дж.Б. Мангейм и Р.К. Рич начинают свою книгу «Политология. Методы исследования», признанную во многих странах одним из лучших пособий по изучению методов политологии. Авторы подчеркивают, что *любое научное исследование — это уже метод*. Здесь имеются в виду приемы проверки теорий и гипотез, а также соответствующие правила и ограничения, которые «мы должны изучить, если перед нами стоит задача приобретения знаний в области политологии».

Именно благодаря поиску методов, позволяющих совершать открытия и конструировать предметную область науки, строится *здание знаний* в области политики, т.е. ее систематическое видение предмета или, точнее, сама политическая наука. Выбор уже существующих или создание новых методов, которыми пользуется политология, обусловлен рядом факторов — как *экстранаучных*, т.е. не имеющих прямого отношения к собственно научной деятельности, так и *собственно научных*, связанных с особенностями научного познания.

Политика, так же как и наука о политике и политиках, представляет собой специализированную человеческую деятельность и особую сферу общественного сознания, которая, по логике вещей, должна иметь собственную *предметную область*, существенно отличающуюся от предметной области науки в целом и политологии в частности. Но отличие этой области в том и заключается, что политика, по словам К. Шмитта, извлекает свою силу из различных сфер человеческой жизни, из религиозных, экономических, моральных и иных противоположностей. Поэтому, как считает Шмитт, можно утверждать даже, что политическое сознание не имеет никакой собственной предметной области, но только — степень интенсивности ассоциации или диссоциации людей, мотивы которых могут быть религиозными, национальными (в этническом или в культурном смысле), хозяйственными или же мотивами иного рода⁶.

В число интересов политики и, соответственно, предметов, которыми она «ведает», входит почти весь социальный мир — и материальный, и духовный, включая сюда и научное знание о самой политике. Таким образом, делая своим предметом политику, механизмы политического планирования,

прогнозирования и контроля, политология вынуждена изучать и то, что составляет предмет интересов политики. А это слишком обширная область, не знающая четких границ. Дело осложняется и тем, что предметная область политики и политологии включает в себя не только реально существующие предметы, но и целый мир образов, идей, представлений, целей и планов, которые могут не иметь никакого отношения к реальности.

В данном случае имеется в виду только *существующая* реальность, поскольку *будущая* политическая реальность слишком сильно зависит от субъективного фактора, чтобы отбросить возможность *завтра* повстречаться с сегодняшними фантомами в реальном мире. В данном случае мы коснулись предметной области *политической футурологии* и специализированной деятельности в сфере политического планирования. Важно заметить, что именно эти *пока не существующие предметы политического знания* составляют значительную часть того, чем живет, чем занимается и что производит реальная политика. Впрочем, как выразился Р. Арон, осознание действительности — часть самой действительности.

Если предмет науки — это предмет познания, а ее методологический арсенал — это методы теоретического освоения политического мира, то предмет политики — это уже область постоянного преобразования: все, до чего она дотягивается, так или иначе используется для решения политических задач и превращается тем самым в инструмент, метод воздействия — созидательного или разрушительного. Фактор методологической субъективности проявляется и в том, что каждый, кто прикасается к политике, ее ценностям и целям, в свою очередь, становится *другим человеком*, изменяется, не замечая этого. Так осуществляется *политическая самоидентификация* личности и рождается *политический человек*. Разумеется, разграничение «специализаций» между теорией политики и политической практикой носит условный характер, но, тем не менее, оно чрезвычайно осложняет ответ на вопрос, что же на самом деле изучает политология. Добавим к сказанному, что политология как наука находится в процессе становления и даже зарождения основных научных дисциплин, которые мы подводим под это понятие. Соответственно, далеко не всегда можно говорить и о сложившемся, точно определенном предмете научного познания.

Фактор методологической субъективности выявляется при первом же знакомстве с позициями политиков и авторскими концепциями политологов. Для всех ученых, и политологов в частности (и не в меньшей степени, чем для самих политиков), важно заявить о собственной точке зрения, отличной от воззрений других специалистов, «братьев по цеху». И в политике, и в политологии равно ценится самобытность, оригинальность мышления, способность найти нетрадиционные приемы анализа и подходы даже к избитым темам, по-новому увидеть проблему и, главное, при первой же возможности *опровергнуть* какую-нибудь систему устоявшихся взглядов, т.е. взломать систему защиты чьей-то теории, научной доктрины или, если повезет, то и самой научной дисциплины.

То, что «подрывом устоев» заняты публичные политики, вполне объяснимо: они борются за сердца и голоса избирателей, занимаются дискредитацией конкурентов и позиций, которых те придерживаются. Но и в поиске научной истины, как заметил Шеллинг, бесконечно большее значение имеет «скептик, заранее объявляющий войну всякой общезначимой системе, чем догматист, заставляющий всех принести клятву верности символу теоретической науки»⁷.

Но что же мы имеем в итоге? В результате в сознании почти каждого самостоятельного политика и ученого-политолога формируется *своя* политика, а точнее, ее оригинальный образ. Если бы в русском языке слово *политика* имело множественное число, мы могли бы смело сказать: *сколько политиков и политологов — столько политик*. Отметим, что переводчики с иностранных языков на русский, стремясь сохранить мысль оригинала, все чаще вынуждены пользоваться словом *политика* именно во множественном числе, поскольку крайне трудно иначе перевести такие термины, часто встречающиеся в международных договорах и специальной литературе, как, например, «*отраслевые политики*», «*частные политики*» и т.д.

Но вернемся к фактору методологической субъективности. В любой хорошей библиотеке найдется десяток книг по политологической проблематике. Но, ознакомившись с ними, читатель, скорее всего, встретится уже не с десятками, а с сотнями различных и даже конкурирующих авторских концепций. Дело в том, что отдельные авторы только тем и занимаются, что пересматривают собственные же позиции и постоянно их меняют. Как остроумно подметил французский мыслитель и литератор Поль Валери, «я не всегда разделяю свои взгляды». Что же происходит в головах читателей?

Результат известен: в их головах рождается невообразимое количество вторичных и эклектичных или, напротив, совершенно новых и оригинальных представлений о природе политики, что только умножает споры. И это никого не удивляет.

Люди покупают книги по политологии или идут в библиотеки вовсе не для того, чтобы выписать бесспорные формулы и рецепты. Читателей влечет желание найти опровержение общеизвестному, встретить новое видение политических проблем и способов их решения. Кто же тогда выступит в качестве третьей стороны и скажет: истина лежит здесь и только здесь? Да и насколько применимо понятие «истина» к политике и политологии? А главное, надо ли бороться с тем многовариантным видением политики, которое так раздражает представителей «точных наук»?

Вопрос о «святости» в политике и науке и практике

Но есть и еще одна, не менее важная причина отвергнуть проект «политика без политиков», «политология без политологов». Дело в том, что у *чистой политики* и у *чистой науки* нет ничего святого в самом прямом смысле понятия

«святость». Сама способность понять смысл слова «святость» предполагает у человека ряд качеств. Во-первых, это обостренное чувство совести и ответственности за последствия своей деятельности. Во-вторых, постижение духовного начала политики требует уважения к культурным и религиозным традициям собственных предков и, следовательно, терпимость по отношению к чужим традициям (но не в обратном порядке: нельзя научиться любить родную мать, привив себе навыки почтительного отношения к малознакомым женщинам). А в-третьих, развитое в обществе религиозное сознание, обеспечивающее не только временную, преходящую солидарность морально развитых и ответственных людей в борьбе за какие-то высокие ценности (предотвращение войн, экологическую безопасность, спасение культурного наследия), но и солидарность многих поколений, не знающую временных границ и служащую основой цивилизационной идентичности.

Политики, осознающие, что святость — не пустой звук, а нормальное состояние собственного самосознания, и являются подлинными гарантами того, что политика, функциональная цель которой заключается в борьбе за власть, где все средства хороши, будет хотя бы считаться с непреходящими ценностями.

Такие люди, к сожалению, никогда не составят большинства в структурах власти, но их авторитет и возможность использовать имеющиеся у них инструменты политической власти *во благо* составляют ядро *нормальной и подлинно рациональной политики*. К подобным выводам приходят многие выдающиеся политологи. Но, пожалуй, наиболее значителен был вклад в изучение вопроса о соотношении святости и политики, сделанный Карлом Манхеймом. В «Социологии культуры» он пишет, что святой, конечно, представлял бы собой аномальное явление на фондовой бирже или в разведывательной службе. Однако холодно-реалистическое аналитическое отношение к «высокой политике», сущностью которой является борьба за власть, в которой все делается с расчетом, и нет ничего святого, возникло не сразу. Оно распространилось лишь в XVII веке и постепенно стало общепринятым.

Среди причин того, что люди не верят в святость целей политики и политиков, не только указанные исторические особенности развития европейских народов, но и отсутствие демократических механизмов распределения власти, изолированность узкой верхушки властной пирамиды, представителям которой незачем и не от кого было скрывать отсутствие в их деятельности каких-либо высоких мотивов. Это положение, по мнению Манхейма, сохраняется до тех пор, пока народ не участвует в политическом процессе и не имеет представления о внутренних механизмах политической власти. Все изменилось, когда начался процесс демократизации, и значительные группы людей, стоявших прежде за пределами властных структур, стали интересоваться процессом управления и бросили вызов авторитету властей предрержащих. Так возникла необходимость представить управление государством как процесс, направленный на достижение определенных *идеалов*.

Причем, что очень важно, это существенное изменение в представлениях о природе политики не было имитацией, а «соответствовало появившейся у буржуазного среднего класса и профессиональной бюрократии потребности в осуществлении функций власти, причем не как орудия голого принуждения, а как инструмента всеобщего блага»⁸.

Позднее эта тенденция приведет к созданию демократической теории социального государства, одна из разновидностей которой в наше время нашла свое отражение (формальное отражение) в ныне действующей Конституции Российской Федерации.

Однако Манхейм, выделяя роль демократии в защите святости, видит и обратную сторону процесса. Демократия не только возвращает политике интерес к духовным ценностям, но и вновь, как в эпоху Возрождения, восстанавливает и укрепляет в массовом сознании неуважение к политике и политикам: «Фактически демократизация означает разрушение иллюзий; часто указывают на то, что демократические парламентские режимы не могут внушать уважение, поскольку общественность постоянно в курсе недостойных мелочных свар между партиями, в значительной степени определяющих характер парламентского процесса... Таким образом, приход массовой демократии заменяет *Gestalt* (дух) “анализом” точно так же, как это делал аналитический метод, открытый поколением Макиавелли. Однако существует разница между двумя эпохами: в эпоху Возрождения только немногие выдающиеся интеллектуалы стояли на “аналитической” точке зрения, тогда как в эпоху современной массовой демократии такой подход разделяется всеми. Секреты политического анализа раскрываются уже не только на страницах “наставлений для князя” или “политических завещаний”, предназначенных для элиты, а становятся достоянием общественности»⁹.

Впрочем, с большим трудом, но пробивает дорогу осознание того, что политика без человека, а точнее, без достойных людей, посвятивших себя этому делу, — это *бесчеловечная политика*, поскольку *созидательная политика* всегда держалась и держится на лучших человеческих качествах и политиках, которые ими обладают. Мыслящие и образованные люди способны убедиться в этом на основании бесчисленного количества примеров из мировой и отечественной истории. В роковые эпохи политических нестроений, когда на поверхность политической жизни поднимаются далеко не лучшие социальные силы и даже темные личности, главный удар наносится именно по национальным героям, культурным лидерам и духовным светочам нации.

В этот момент кажется, что мировая и отечественная политика всегда была сборищем злодеев и казнокрадов. Эта *десероизация* истории творится сознательно и только для того, чтобы скрыть противоестественность политики, основанной на лжи и предательстве национальных интересов. Но бури проходят, а с ними и вся наносная грязь смывается временем. Имена подлинных столпов культуры и достойных представителей национальной политики возвращаются на свое законное место.

Труднее обстоит дело с наукой в целом и политологией в частности. Подавляющее большинство людей, получивших образование (а сегодня это подавляющее большинство граждан в развитых странах), понимают, что научное познание разрушает все установленные Богом и человеком границы, в том числе и моральные запреты. Ни один мораторий не может длиться вечно, даже мораторий на проекты в области генной инженерии, связанные с клонированием людей, в том числе, кстати, и политических вождей из далекого прошлого и недавнего настоящего. В мире уже действуют политические организации столь экзотической направленности, заявляющие о первых успехах на этом поприще. Недалек день, утверждают сторонники подобных научно-политических проектов, когда новоявленные нероны и фюреры вернутся в большую политику... Сколь бы абсурдны ни были эти декларации, но эксперименты по клонированию продолжают и не испытывают затруднений ни с финансированием, ни с национальными законодательствами: глобализация позволяет осуществлять в режиме единого времени масштабные проекты усилиями научных центров, разбросанных в любых регионах планеты.

Сделанный вывод верен и в методологическом отношении: дело в том, что у науки нет даже «методологических святынь», не говоря уже о собственно духовном начале. Конечно, каждая из научных дисциплин, а тем более отдельных концепций и теорий, имеет свое *аксиоматическое основание*, т.е. систему аксиом — неких базовых положений и принципов, не доступных критике методами данной науки, на основании которых строится ее здание.

Однако все то, что является аксиоматическим фундаментом какой-то конкретной науки, т.е. ее своеобразными «*научными святилищами*», становится совершенно открытым объектом анализа и критики со стороны другой науки, методы которой способны вскрыть данный уровень «аксиоматической защиты», хотя эти же методы бессильны перед той аксиоматикой, на которую сами же опираются. И так до последних, базовых оснований, которые со знанием дела «расщепляет» и превращает в предмет своих исследований философия. Эта прабабушка всех наук особенно бодро чувствует себя в семье старых, молодых и только что отпочковавшихся дисциплин, поскольку у нее есть то, чего нет по определению у *конкретных наук* со строгим аксиоматическим фундаментом. Как точно подметил В.И. Вернадский, «научно принятые аксиомы и основные принципы представляют для философа огромный интерес и являются тем общим полем изучения, которое неизбежно *объединяет* научную и философскую мысль». В основе всей научной работы, в том числе, разумеется, и работы социолога или политолога, лежит главная аксиома любой науки, кроме философии, взятая как единое целое в его историческом развитии, — это «единое аксиоматическое положение о реальности предмета изучения науки — о реальности Мира и его законосообразности, т.е. возможности охвата научным мышлением»¹⁰.

Все это лишь подтверждает тот факт, что не следует искать святости ни в какой-то отдельной науке, ни в философии, ни во всех науках, вместе взя-

тых. Ее носителями могут в какой-то степени быть только сами ученые, для которых служение истине не исключает служения долгу. Поэтому вопрос о социальной ответственности политики и политологии как науки — это вопрос, обращенный не к обезличенной деятельности, а к конкретным людям и научным сообществам.

¹ Статья развивает ряд положений, изложенных в первом выпуске этого сборника. См.: *Расторгуев В.Н.* Предметная область философии политики как научной и вузовской дисциплины // *Философия политики и права: Сборник научных работ. Вып. 1 / Под общ. ред. профессора Е.Н. Мошелкова, научный редактор профессор О.Ю. Бойцова.* М., 2010.

² См. подробнее: *Расторгуев В.Н.* Единодержавие: новые лики тоталитаризма // *Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки.* М., 2009. № 1.

³ *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.

⁴ *Ленин В.И.* Полное собрание сочинений. Т. 36. С. 504.

⁵ *Ленин В.И.* Полное собрание сочинений. Т. 37. С. 57.

⁶ *Шмитт К.* Понятие политического // *Вопросы социологии.* 1992. № 1.

⁷ *Шеллинг Ф.В.Й.* Сочинения: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 58.

⁸ *Манхейм К.* Избранное: Социология культуры. М.; СПб., 2000. С. 203.

⁹ *Манхейм К.* Избранное: Социология культуры. М.; СПб., 2000. С. 203.

¹⁰ *Вернадский В.И.* Размышления натуралиста. М., 1975. С. 21, 91.

Политическое в сетевом обществе:
поиск нетотализируемого порядка

В российской политической науке осознание значения политических сетей и сетевого анализа политики приходит только сейчас. Хотя первые статьи по сетям появились в России еще во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг., однако только в последние годы опубликован ряд обобщающих работ, где предпринимается попытка анализа сетей и их влияния на политическую жизнь. Данная ситуация объясняется недостаточностью методологических знаний в области сетевого анализа и неразвитостью самой сетевой структуры в России. Хотя сети конца XX — начала XXI вв. изучались в отечественной и зарубежной политической науке, концептуальные исследования соответствующей проблематики в России встречаются относительно редко. Несмотря на актуальность, эта тематика по-прежнему во многом остается достоянием узкого описательного подхода, скорее фиксирующего, чем объясняющего данный феномен. Вместе с тем, в условиях накопленного эмпирического материала сохранение подобной практики является сдерживающим фактором развития отечественной науки, поскольку снижает роль политологии в обсуждении актуальнейших проблем публичной политики и управления. Тем самым явно недооценивается общественная значимость соответствующего блока социально-политических вопросов и на практике. Дополнительную важность этому вопросу придает и тот факт, что в последнее время социальные сети стали заметным фактором политики в мире и в России, что придает изучению этого предмета дополнительную значимость. Отсюда проблематизируются темы политического участия и мобилизации, соотношения государства и социальных сетей, трансформации функций государства в сетевом общественном формате.

Те, кто следит за политическими событиями в мире, конечно, отметили ряд важных перемен, которыми сопровождается политический мир последних десятилетий. Среди этих перемен — возрастание роли политических сетей и огромное влияние социальных сетей на политическую мобилизацию и участие. И этот сдвиг определяется новыми возможностями, открываемыми технологиями, которые получили наименование Web 2.0. Их главное достоинство состоит в высокой степени интерактивности, открытости к участию, самостоятельности действия и интенсивности общения.

В 2003 г. в Венгрии появляется первая киберпартия «Йоббик» (За лучшую Венгрию), которая строит свою стратегию и тактику на основе прямого общения с избирателями через Интернет. Первым использованием

новых ИКТ по модели Web 2.0 была президентская кампания демократа Говарда Дина в 2004 г. в США, в которой использовались блоги и новые каналы коммуникации. Хотя для данного претендента кампания была неудачной, но уже в 2007–2008 гг. Барак Обама выиграл президентские выборы благодаря не в последнюю очередь активному использованию новых возможностей Интернета. Массовые движения начинают использовать новые средства коммуникации для активизации деятельности. Первым опытом такого использования являлось леворадикальное движение Запатисты в Мексике, которое с конца 1990-х гг. начинает активно использовать новые электронные средства коммуникации (Интернет, мобильная связь). Так называемая «спорная политика» в виде движений против реконструкции вокзала в Штутгарте (Германия, 2010), «Захвати Уолл-стрит!» (США, 2011), «За честные выборы» (Россия, 2011) символизируют новую эпоху политического участия. Наконец, известные революционные протесты, приведшие к смене политических режимов в ряде стран Северной Африки в 2011 г. Технологии Web 2.0 стали новым мощным средством политической активности. Все более активное участие населения в таких социальных сетях, как Twitter, Facebook, «В Контакте», Youtube и др., является фактом, недоучитывать который означает ставить проблему управляемости обществом под вопрос. Это привело к тому, что и государство стало более активно обращать внимание на этот потенциал социальных сетей и новых ИКТ, включая их в пространство обеспечения управляемости государства и общества. Наиболее явным здесь является формирование электронного правительства, которое берет старт во второй половине 1990-х гг., но набирает новые обороты в нынешнем столетии.

Движение за «электронное правительство 2.0» позволяет говорить об этапе, связанном с развитием коммуникационных связей между органами государственной власти, бизнесом и гражданами. Исследователи говорят о наиболее высоком этапе развития электронного правительства, когда оно включается в систему электронной демократии, позволяющей осуществлять электронное голосование, сетевые публичные форумы, сетевые социологические обследования, экспертные оценки и т.д. Некоторые исследователи говорят о том, что, по-видимому, необходимо отказаться от прилагательного «электронный» в описании структуры и деятельности государственных органов и говорить либо просто о «правительстве 2.0», либо акцентировать внимание на его новых механизмах и культуре взаимодействия с гражданами, используя термин «ориентированное на граждан правительство» (citizen-centric government). Этот акцент на расширении участников публичного управления является, в том числе, ответом на вопрос, как повысить управляемость современного государства в условиях вызовов сложности, неопределенности и риска. И здесь, как считается, адекватным ответом может быть сетевое управление, базирующееся на новой структуре политических возможностей, предоставляемых электронными и неэлектронными средствами организации взаимодействия, которые получили наименование «платформы».

Все подобные факты и тенденции имеют еще одно измерение, которое не всегда заметно, но является значимым основанием понимания сетевого общества и сетевых процессов. Это измерение связано с тем, как сети трансформируют политику и какое понимание политического они влекут за собой. Существует убеждение, что современные сетевые структуры, характеризующие глобальные тенденции взаимосвязи, которые ведут к нарушению традиционных отношений политического, укорененных в принадлежности к определенному месту, занимаемому государством, порождают угрозу существованию политики и политического. Оценивая концепцию политического Карла Шмитта, которая опирается на логику Земли и определенность разделения на друзей и врагов, следовательно на динамику внешнего и внутреннего, плюральности и единства, различия мест, Алан де Бенуа пишет: «В той мере, в какой глобализация характеризуется распространением сетей и всякого рода потоков (торговых, финансовых, технологических, коммуникационных и т.д.), она также относится к логике Моря, которому не известны ни границы, ни замкнутые территории. Мы привычно (и сама эта обыденность показательна) говорим о глобализации, будто она объединяет землю, но на самом деле, объединяя ее, она подчиняет Землю логике Моря, то есть логике уничтожения границ, владычеству потоков и оттоков... В своем дневнике Карл Шмитт описал свой ужас, внушаемый перспективой того, что Поль Вирильо назвал "глобалитаризмом", то есть пришествием глобализованного мира, который по определению был бы миром без внешнего и, следовательно, без возможной политики»¹. Действительно ли сетевой мир создает угрозу политическому? Означает ли глобализация переход к сетевому миру, т.е. насколько тождественны эти процессы по логике развития? Уничтожает ли сетевизация проблему «как жить в различии»? Или она создает новые условия для ее решения, а следовательно, для рождения нового политического, более сложного, чем потенциальная вражда друзей и врагов?

Глобализация, сетевое общество и политика плюрализма.

Именно возникновение сетевого общества создало условия для глобализации. Однако глобализация, используя сети, является отнюдь не однородным движением, которое часто отождествляется с возникновением единого образа и поражения партикуляризма. Как пишет Дерин Барни, «в центре всех теорий глобализации находится заявление о том, что национальные государства были поставлены перед вызовом их способности организовать и объединить ключевые элементы современной экономической, политической и социальной жизни»². Все же, наряду с глобализацией как «универсализацией» следует выделять еще ряд тенденций, которые находятся в состоянии конфликта с первой. Контрколониализм и национализм могут представлять здесь особый интерес.

«Универсализация» есть процесс распространения (объективного и названного) способа рациональной организации жизни. Экономика (доллар, ТНК, массовое производство), политика (либеральная демократия), социальные условия жизни (благополучие), культура (массовая культура), коммуникация (электронные формы), мультикультурализм и другие сферы и характеристики становятся образцами, которые задействованы сознательно лидерами других стран или проникают под влиянием силы США. Общим признаком универсального глобализма может служить массовизация всех сторон жизни, юридизация отношения к общественному взаимодействию и рационализация общественных процессов. Доллар, Макдональдс и американский английский язык стали символами глобализации. «Универсализация» выражается и в создании международных объединений, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всеобщее соглашение о тарифах и торговле (подписанное 124 государствами в 1994 г.), Всемирная торговая организация и др.

«Универсализация» прежде всего связана с логикой неолиберализма. В логике развития экономики глобализация знаменует успех свободного рынка и транснациональных форм организации производства. Так называемая неолиберальная экономическая политика наконец получает адекватное пространство для осуществления, когда подрываются национальные границы, государственная регуляция и принцип справедливости распределения результатов экономического развития.

Неолиберальная стратегия в свою очередь порождает стремление юридизации взаимодействий. В логике развития права глобализация представляет собой универсализацию рациональных норм, регулирующих поведение субъектов общественной жизнедеятельности как путем приоритетности норм международного права, так и посредством унификации национальных правовых систем. Создание соответствующих юридических институтов, которые занимались бы правотворчеством, правоприменением и правоконтролем на международном уровне, вполне вписывается в эту логику. В эту логику вписывается также мировое правительство и региональные демократические организации, типа Европейского союза с его управляющими органами. Здесь нормы позитивного права просто переносятся на иной уровень — на уровень мировой системы.

Контрколонизация стран так называемого «третьего мира» есть попытка восстановить справедливость посредством не только своей собственной экспансии (населения, культуры) на Запад, но и пересмотра основ конструирования своей идентичности в идеях «постколониализма», «лиминальности» и «политики народов». Этот процесс приводит к сопротивлению со стороны развитых стран, что в целом порождает угрозу «войны цивилизаций». Контрколонизация имеет экстенсивные и интенсивные измерения; она захватывает как глобальные территории, огромные массы людей, так и внутренний мир человека, его культуру и на Западе, и на Востоке. При этом, если логика американизации порождает феномен

«мультикультурализма» с его акцентом на толерантности и получает положительное описание с попыткой найти новые парадигмы для таких политических концепций, как права человека и гражданство, то логика контрколониализации подчеркивает сохраняющиеся в мультикультурализме ориентации на дистанцирование и отчуждение. Эта логика предлагает не редукцию различий, а ценность жизни с различиями, которые, однако, не фиксируются в противоречии, а сохраняют открытым потенциал политического действия «вместе». Здесь следует отметить новую эпистемологию политической лиминальности Хоми Бабы, который рассматривает саму политическую реальность на границе теории и практики, идеи и действия, смысла и его референции. Он пишет: «Язык критики является эффективным не из-за того, что он навсегда сохраняет раздельную терминологию господина и раба, меркантилиста и марксиста, но в той степени, в которой он преодолевает данную основу противоположности и открывает пространство для перевода: пространство, говоря фигуративно, гибридности, где конструкция политического объекта является новой, ни одной ни другой, собственно, отвергает наши политические ожидания и изменяет, как это и должно быть, любую форму нашего узнавания момента политики. Вызов состоит в рассмотрении времени политического действия и понимания как открытого пространства, которое может принимать и регулировать различные структуры момента интервенции без стремления производить единство социального антагонизма или противоречия. Это есть знак того, что история происходит на страницах теории, внутри систем и структур, которые мы конструируем, чтобы участвовать в историческом движении»³.

Национализм (или автономия) следует обозначить в качестве третьего измерения глобализации, возникающей в сетевом обществе. Но это не тот национализм закрытости и жесткой идентификации, а космополитический национализм, который выставляет национальную особенность как глобально значимую и ценную, при этом не противопоставляя один вид такого национализма другому. В этом отношении следует обратить внимание на концепцию партикуляризма С. Поллока, которая проводит различие между “проповедническим партикуляризмом” с его настойчивым акцентом на источнике и “партикулярным бытием”, возникающим в локальных формах или практиках, которые определяются местом, но не сводятся к нему⁴. Современные страны, регионы и мир в целом демонстрируют возрастание значения разнообразия форм организации экономики, культуры и политики не только в качестве фактора, но и цели динамичного развития. Глобальный мир, характеризующийся интенсификацией обмена ресурсами в различных сферах общественной жизни, становится более сложным и противоречивым. Усиливаются внутренняя и международная конкуренция фирм, университетов, театров, городов, регионов, государств, различного рода объединений и союзов. При расширении общих стандартов оценок конкурентоспособности на первый план выходят уникальные ресурсы, обеспечивающие конкурентное преимущество. В числе послед-

них немаловажное значение приобретают факторы духовного развития — знания, культуры, национальная особенность. Нередко это проявляется в грубых формах национализма и культурной исключительности, однако интенсивный поиск духовной самобытности всеми государствами вовсе не сводится к этим архаичным формам. Более того: растет понимание значимости культурного разнообразия и национальной идентичности не только в качестве ресурса, но и цели общественного развития. Вместо универсального прагматизма XX века, сделавшего ставку на рационализм технического детерминизма, все более привлекательной становится умонастроение, где развитие не выступает самоцелью, а становится инструментом для национального прогресса. При этом целью и инструментом такого прогресса выступают особые стратегические ресурсы стран и регионов. В этом отношении внимание к консерватизму как наиболее чувствительной к национальной специфике идеологии и политической практике становится оправданным и разумным в тех пределах, которые соотносят его с фактором конкурентоспособности и смыслом цивилизованного развития.

Именно «универсализация», как считается, порождает угрозу политическому, создавая гомогенизацию пространства политического и скрывая политическое под флагом тотальной войны за справедливость и мораль, тогда как политика различий, выраженная в контрколонизации и в космополитическом национализме (партикуляризме) противостоит гомогенизации и вводит в рассмотрение плюрализм сложного сетевого взаимодействия.

Сети, структуры и политика принадлежности

Часто политические сети отождествляют с политическими структурами, а сетевой подход к политике со структурным. В политической науке структурный подход вот уже более 60 лет используется для анализа и объяснения политики. Разработанный применительно политическому исследованию Дэвидом Истоном и Гэбриэлом Алмондом, он до сих пор является одной из ведущих методологий, позволяющей выявлять в политике общие элементы, связи и функции, объединяя все это в понятии политической системы. Его основными принципами выступают целостность системы, принцип функциональной необходимости, приоритет отношений над элементами, неоднозначное соответствие между структурой и функциями. Реляционность, т.е. систематичность отношений между элементами, выступала главной характеристикой структурного функционализма. Некоторые авторы в последние годы стали определять сетевой подход к политике через реляционность. Как пишут Скотт Маккларг и Дэвид Лезер, «политика по своей сути является сетевым феноменом. Власть — центральный конструкт политической науки — существенно реляционная, когда власть существует между акторами в сложном, дифференцированном состоянии»⁵. Эти и другие авторы пытаются в последнее время доказать, что по-

литические сети и сетевой подход — это прежде всего связи. В этом ключе они пытаются противопоставить сетевой анализ политики бихевиоризму и институционализму, которые рассматривают политику как деятельность дифференцированных акторов в институциональной среде. В какой-то степени — это правомерный подход. Мануэль Кастельс — ведущий исследователь сетевого общества — подчеркивал, что в современном обществе структуры доминируют над деятельностью. Он писал: «Наше исследование возникающих социальных структур, которые захватывают человеческое действие и опыт, приводит к важному выводу: историческая тенденция состоит в том, что основные функции и процессы в информационном веке в основном организованы в сети. Сети составляют новую социальную морфологию нашего общества, и распространение сетевой логики модифицирует операции и результаты в процессах производства, опыта, власти и культуры. Хотя сетевая форма социальной организации существовала в другие времена и в иных местах, новые информационные технологии обеспечивают материальную основу для ее безграничного расширения во всем социальном мире. Более того, я хотел бы доказать, что эта сетевая логика производит социальный результат более высокого уровня, чем тот, который социальные интересы связывали с сетями: власть потоков имеет преимущество над потоками власти. Присутствие или отсутствие в сетях и динамика взаимодействия сетей являются решающим источником доминирования и изменения в нашем обществе: общество, которое, следовательно, мы можем собственно назвать сетевым обществом, характеризуется преобладанием социальной морфологии над социальным действием»⁶.

Это так, но не всякая структура является сетью. Более того, если брать структурный подход и структуру, то есть принципиальное различие между ними и сетевым подходом и сетью. Действительно, в политических сетях отношения являются конституирующим элементом, но не составляют всего многообразия их существенных характеристик. Следует различать структурный (реляционный) и сетевой подходы в политической науке (см. табл. 1). Если рассмотрение политики как структуры было достижением методологическим, т.е. изменились наши представления о политических феноменах, то сетевой анализ базируется на изменении самой политической реальности, а не только нашего подхода к ней. Сегодня сетевизация составляет существенную характеристику общества, не только связывая акторов и меняя характер отношений между ними, но и создавая другое пространство осуществления жизненных целей. В этом смысле, находясь всегда в определенной системе отношений, человек не всегда находится в сетевых отношениях и не всегда является актором сетевого взаимодействия. Сети и структуры — это различные феномены. Как пишет Кай Эрикссон, «идея сети, очевидно, служит решению определенной задачи: сделать возможной единую речь о сложных, нередуцируемых и гетерогенных феноменах с показом их множественности. Следовательно, понятие сети не предполагает какой-либо особой структуры, ибо сеть явно не структура»⁷.

ТАБЛИЦА 1. *Различие между структурами и сетями*

Критерий	Структура	Сеть
состав	• агенты и отношения	• акторы-отношения
характер отношений	• функциональный	• коммуникационный
процессы	• передача команд и отклик	• обмен
направленность на другого	• инструментальность	• взаимность
сигналы	• информация	• знание
порядок	• определенный и устойчивый	• неопределенный и неустойчивый
положение	• включенность/исключенность	• принадлежность
значимость	• статусы	• процессы
характер целого	• интеграция через тоталитаризацию	• интеграция без тоталитаризации

Структуры отличаются от сетей по сумме критериев. Наверное, следовало бы указать на еще ряд значимых отличий, но они будут прояснены по ходу дальнейшего изложения материала. Здесь же отметим, что структуры и сети отличаются по составу, т.е. в структурах действуют агенты, значение которых определяется их вполне определенным положением. При этом агенты и их отношения разделены, действует принцип приоритета отношений над агентами. В сетях каждый элемент является действующим лицом (актором) и без активности в сетях не может подтвердить свое положение. По сути, актор в сети является соотносимым с другими акторами посредством своей деятельности и рассматривается в единстве с отношениями. Это, в определенной мере, соотносимо с пониманием актора в акторно-сетевой теории французского ученого Бруно Латура, в которой актор рассматривается фундаментально неопределенным, без заранее известной сущности. Он формирует свою природу в ходе взаимодействия в сети. Хотя для Латура сеть скорее является методологическим ключом для открытия того, что такое социальное, однако его трактовки понятий сетевого анализа имеют и онтологическое значение. Латур пишет, что под сетью он понимает «вереницу действий, где каждый участник рассматривается в качестве полномасштабного медиатора. Скажу проще: хорошее понимание АСТ (акторно-сетевой теории) состоит в том, что это нарратив или описание или предположение о том, что все акторы что-то делают, а не только сидят рядом. Вместо простой передачи результатов без учета их трансформации, каждая точка в тексте может стать бифуркацией, событием или источником нового перевода. Вследствие того, что акторы рассматриваются не как агенты, а как медиаторы, они делают социальное видимым для читателя»⁸. Функциональный характер отношений в структуре определяет цели и задачи элемента, тогда как коммуникационный характер отношений в сетях может не предполагать выполнение определенной структурной задачи. Процессы в структуре строятся по типу передачи команд и

получения отклика на них, тогда как заинтересованность участника сети во взаимодействии определяется наличием разнообразных ресурсов, которыми обмениваются акторы для решения общих и частных задач.

Инструментальность отношений в структуре основана на зафиксированных положениях ее участников, которые ждут от другого только эффективного выполнения функции. Взаимность в сетях определяется условиями вхождения в сети. Если сети фиксируют принадлежность, то структуры фиксируют включенность / исключение. Последнее является значимым для структуры, которая строит свой порядок на основе нормы. Включенность означает нормальность, т.е. соответствие норме. Исключение применяется к тем феноменам, которые не соответствуют норме. Определенный и устойчивый порядок в структуре обеспечивается принципом функциональной необходимости, когда каждый элемент функционален для структуры. Неопределенность и неустойчивость в сетях возникает на основе их открытости и постоянно изменяющихся конфигураций, определяемых по случаю. И наконец, структура пытается оформить целое чрез тоталитаризацию своих элементов, сети отдают приоритет многообразию и возникновению единства без тоталитаризации. Важно подчеркнуть, что реляционный подход к политике, хотя и составляет определенную характеристику политических сетей, но все же к ним не сводится.

Различие между структурной и сетевой организацией имеет решающее значение для критики универсализма тотального подчинения единому стандарту деятельности, предполагающему понимать политическое как централизованную структуру насилия / подчинения, а политический порядок как универсальную беспристрастность нормы. В этом отношении, конечно, угроза политическому в глобальном сетевом мире связана с «универсализацией». Но если принять во внимание и другие тенденции глобального мира (именно глобального, а не противоречащего глобализации), как например, контрколониацию и космополитический национализм, то глобальное сетевое общество создает новое политическое в том значении, что история не завершается, а приобретает новые черты и возможности. Новые черты и возможности связаны не только с верой в положительное решение вопроса. Новые угрозы и вызовы не менее важны, но поиск не должен, как представляется, вести к восстановлению старых разделений и гегемоний, тотальных подчинений и вытеснений. «Текущая современность» (З. Бауман), заменяющая структуры сетями, приводит к политическому как действию без цели, но со смыслом. И этот смысл связан с решением вопроса о том, как «жить в различии», не подвергая ее (жизнь) соблазну включения / исключения. Сетевое политическое не является беспорядком или анархией, а предполагает установление новой политической принадлежности, которая устанавливается без тоталитаризации, т.е. с сохранением различий и дифференциаций, и в постоянном утверждении. Патриция Христенсен правильно, в общем, отмечает всю сложность и неопределенность, которая здесь возникает: «В отсутствии ясных разделений»

тельных линий и в контексте, когда перемены рассматриваются как панацея, а устойчивость подобна смерти, индивидам нужно использовать свое воображение для изобретения своей идентичности, полагаясь на каждый отдельный шаг в своей жизни. Так как нет общего правила, люди находят свой собственный путь, проверяя различные возможности, создавая новые, адаптируясь все время к изменяющимся обстоятельствам так, как текучесть заставляет их делать»⁹. При этом территориальность не отменяется в качестве условия принадлежности. Важно лишь помнить, что она также меняется, и коммуна, на ней базирующаяся, является «воображаемым сообществом», реальность которого подтверждается участием.

Четыре оппозиции можно отметить, чтобы провести демаркационную линию между структурным и сетевым политическим, в центре которых лежит проблема политической принадлежности. Основываясь на концепции «народной политики» Эша Амина, Сюзанн Холл пишет о следующих оппозициях¹⁰ (с некоторой моей реконструкцией. — Л.С.): (1) участие vs патернализм; (2) множество vs тотальность; (3) сотрудничество vs коллаборационизм; (4) традиция как поиск vs традиция как практика. Первая оппозиция указывает на то, что современное государство способствует скорее участию, чем простой заботе о гражданах (патернализм), и, следовательно, поощряет государственные инвестиции в людей и децентрализацию ответственных и гибких институтов. Вторая оппозиция поддерживает множество против тотальности, т.е. дифференцированные союзы против сцепленных сингулярностей. В этом отношении для вовлечения необходимо широкое множество моделей и типов ассоциаций и платформ, где экспериментирование поощряется технологиями и сетями, которые пересекают локальные границы. На этой основе возникает эффективное и активное сотрудничество граждан с государством в политике, которое должно быть признано и поддержано. И, наконец, преимущество плюральных демократических сетей как пространств для экспериментов и обновлений может быть объединено с локальной жизнью и научением так, чтобы местные традиции были лучше поняты и включены в действие, но не как ретроспективные практики, а в качестве инструмента поиска продвижения вперед.

* * *

История сетевого политического только начинается. Пока не до конца ясны все перспективы и не до конца проявились все тенденции, связанные с трансформацией политики под влиянием политических сетей, сетевого сознания и образа жизни. Современное государство встало перед проблемой, как относиться к данному феномену, к сетевому обществу вообще. С одной стороны, стратегия электронного правительства и электронной демократии создает условия для более эффективной реализации государственных функций. Государство стремится повысить управляемость за счет использования социальных сетей. В последние десятилетия повышается

значение самоорганизации, управления через сообщества, интенсификация отношений между обществом и государством. В этом отношении говорят, что государство в общественных делах не должно само «грести», оно должно «быть капитаном». Здесь функция координации приобретает решающую роль, а вовлечение всех в публичность становится новой мобилизацией для бизнеса и гражданского общества. Поэтому понятными становятся социальная ответственность для бизнес-структур и гражданских ассоциаций. Каковы возможные тенденции в государственном управлении, которые будут связаны с этими изменениями? Можно ли признать все современные трансформации в них перспективными? Как быть со случайными событиями, которые могут значительно повлиять на возможную конфигурацию государственного управления в этих странах? Например, отмечено, что часто неэффективность государственных структур в этих странах компенсируется активностью сообществ, в том числе и сетевых. Это заметно особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. В целом управляемость и конкурентоспособность повышается за счет управления за счет сообществ. Что в этом случае означает бездеятельность или слабая эффективность государственного управления? Каковы способы взаимной поддержки и стимулирования активности государства и сообществ? С другой стороны, в ряде стран мы можем наблюдать факты, которые свидетельствуют о настороженном отношении к сетевым платформам. Государство ограничивает доступ к сетям, регулирует, устанавливая более жесткие нормы, сетевую активность. Многие исследователи говорят также о том, что новые информационные технологии создали дополнительные угрозы для демократии, позволив государству усилить контроль над обществом. Конечно, сетевые технологии расширили пространство политического для участия и влияния, но они же способствовали такой активности, которая ставила под угрозу управляемость современных государств. Расширение демократических возможностей политических сетей и проблема государственной управляемости вышли сегодня на первый план. Никто пока не знает ответа, как удачно и во благо всех совместить новые формы активности и управляемость, «спорную политику» и эффективность решений, прозрачность и контроль. Отсюда, часто мы наблюдаем неадекватные действия то со стороны мобилизованной общественности, то со стороны государства. Видимо, пока действия осуществляются по методу «проб и ошибок» без какой-либо четкой стратегической линии. Ряд обнадеживающих тенденций в этом плане все же можно наблюдать. И основной стратегической идеей здесь является совместная деятельность государства и общества на основе взаимного доверия и сотрудничества.

¹ Бенуа А. де. Карл Шмитт сегодня. М., 2013. С. 165–167.

² Barney D. The Network Society. Cambridge, 2004. P. 25.

³ Bhabha H. The Location of Culture. L., N.-Y. P. 24.

⁴ Pollock S. Cosmopolitan and vernacular in history // Public Culture. № 12. P. 620.

⁵ McClurg S., Lazer D. Political Network // Social Network. 2014 . Vol. 36. № 1. P. 1.

⁶ *Castels M.* The Rise of the Network Society. 2nd ed. Malden, MA, Oxford, UK, Chichester, UK: Wiley-Blackwell. 2010. P. 500.

⁷ *Eriksson K.* On the Ontology of Networks // *Communication and Critical / Cultural Studies*. 2005. Vol. 2. № 4. P. 309.

⁸ *Latour B.* Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford, P. 128–129.

⁹ *Christensen P.V.* Until Further Notice: Post-Modernity and Socio-territorial Belonging // *International Review of Sociology*. 2005. Vol. 15. № 3. P. 553–554.

¹⁰ *Hall S.* The Politics of Belonging // *Identities: Global Studies in Culture and Power*. 2013. Vol. 20. № 1. P. 52.

О влиянии тенденций глобализации
на прагматический строй языка политики¹

Традиционный подход к рассмотрению языка (языков) в контексте глобализации исходит из сложившегося понимания предмета социолингвистики и оперирует преимущественно количественными (этно-демографическими) параметрами, с одной стороны, и статусными характеристиками языков, с другой стороны.

Анализ этнодемографических и социальных переменных опирается на сведения, показывающие: а) количество говорящих на языке; б) соотношение этого количества с численностью соответствующей этнической группы; в) использование языка младшим поколением; г) количество билингвов; д) наличие программ поддержки языка².

Социолингвистические измерения языкового распространения и использования оперируют демографическими данными, а также статистическими параметрами, отражающими социальное функционирование языков. В более широком плане — это определение жизнеспособности языков (их витальности) как сложной совокупности показателей. Это набор независимых переменных (географических, экологических, социально-культурных, демографических, экономических), во-первых. Во-вторых, сюда же входит сумма переменных зависимого — субъективно обусловленного — свойства (состояние этнической самоидентификации, нормативно-ценностные установки, речевое поведение на индивидуальном и групповом уровнях). Интегрированными показателями витальности языков выступают: количество социальных функций, выполняемых языком, и интенсивность их использования в тех или иных коммуникативных целях. Жизненность языка напрямую зависит от того, в каком объеме он функционирует в важнейших областях общественной жизни: в образовании, в производственно-технологической деятельности, в торгово-экономических отношениях, в науке, в массмедиа, в практике вероисповедания, в художественном творчестве (шире — в создании, распространении и потреблении культурного продукта), в административно-правовой и управленческой практике, в общественно-политической системе. Состояние письменных языков определяется тем, как они представлены в современном массово-информационном пространстве, включая его традиционные способы организации (книгоиздание, печатные СМИ, радио и телевидение), а также новейшие информационно-коммуникативные технологии (Интернет, социальные сети, блогосферу).

Специалисты в области социолингвистики отмечают, что национальный язык того или иного народа не обязательно должен выполнять все социаль-

ные функции. Это характерно для ограниченного числа мировых языков. Следовательно, при оценке витальности национальных языков следует брать в расчет то, каким образом народ-носитель языка приобщен к другим, более мощным коммуникативным средствам — языкам международного общения, «которые находятся с этим языком в отношениях функциональной дополнителности и выполняют часть функций, актуальных для данного социума». При этом «уровень активного билингвизма, зависящий от социальных и экономических факторов, а также от ценностных ориентаций носителей языков, их языковой компетенции, может играть положительную роль в развитии национального языка, служить источником его пополнения, обогащения, так как второй язык может являться языком-посредником между мировой культурой и национальной культурой»³. Тема «язык — политика — глобализация» в качестве исходных сюжетов включает качество культурно-языкового многообразия в общемировом масштабе, в макрорегиональных трансграничных пространствах, на национальном и субнациональных уровнях, в локальных условиях отдельных провинций или поселений.

В проекциях, оперирующих наиболее крупными — континентальными — единицами анализа, картина, судя по данным периодически обновляемой базы данных «Ethnologue: Languages of the World», выглядит по состоянию на 2009 год следующим образом⁴:

ТАБЛИЦА 1. ???

	Живые языки		Численность носителей			
	число	процент	число	процент	в среднем	медиана
Африка	2 110	30,5	726 453 403	12,2	344 291	25 200
Северная и Южная Америка	993	14,4	50 496 321	0,8	50 852	2 300
Азия	2 322	33,6	3 622 771 264	60,8	1 560 194	11 100
Европа	234	3,4	1 553 360 941	26,1	6 638 295	201 500
Тихоокеанский бассейн	1 250	18,1	6 429 788	0,1	5 144	980
ВСЕГО	6 909	100,0	5 959 511 717	100,0	862 572	7 560

Приведенные показатели свидетельствуют: почти каждый пятый из языков, используемых в современном мире, насчитывает чуть больше пяти тысяч говорящих (Тихоокеанский бассейн). Если бы языки распределялись в демографическом отношении равномерно, то в среднем на каждом языке изъяснялись бы приблизительно 7,5 тысяч человек. Однако в действительности положение дел таково, что некоторыми языками пользуются десятки и сотни миллионов человек, что возводит эти языки в принципиально более высокий ранг с точки зрения демографической мощности. Помимо прочего, далее, языки приобретают престижность, которая становится элементом «гибкой власти», что ведет также и к качественным ресурсам в деле укрепления их международных позиций.

Глобализация не сводится к конкуренции национальных языков за позиции в мировых, региональных или национальных координатах, или к их борьбе за трансграничные коммуникативные пространства или за приоритетность использования в тех или иных общественных сферах. Соответствующие тенденции оказывают свое влияние на «отраслевые» подсистемы языка, на язык в его применении для общения в отдельных сферах, таких как политика. Иначе говоря, под влиянием факторов глобальности происходят процессы трансформации языкового оснащения политики, что подпадает в предметную зону междисциплинарного направления, образующегося при взаимодействии языкознания, с одной стороны, и политической науки, с другой стороны.

Вопрос, касающийся самой природы феномена «язык политики», продолжает оставаться открытым. В публицистических оценках практически безраздельно преобладают мотивы третигования риторического (антириторического) поведения отечественных политиков либо то, что польский лингвист Мариан Бугайский называет «ляпсологией»⁵.

Доминирующие академические версии предмета формулируются за счет дискурсивных ракурсов. Так, Е.И. Шейгал, предлагая ограничивать «язык политики» как средство профессиональной деятельности, одной стороны, от «политического языка» как общедоступного ресурса, с другой стороны, определяет *язык политики* в качестве структурированной совокупности знаков, образующих семиотическое пространство политического дискурса⁶.

В последнее время свет увидели исследовательские начинания, связанные с определением языка политики в качестве собственно лингвистического феномена, опирающегося «лишь на лексический уровень». О. Воробьева пишет: «Политический язык определяется тезаурусом, который раскрывается в ходе изучения концептуального поля “политика” и формируется тремя главными конституентами: политическая власть, политическая идеология, государство. Данные концепты включают *все референты* (выделено мной. — Н.М.) политического лексикона и структурируются как семантическое пространство, ядром которого являются политемы и идеологемы»⁷.

Приведенные подходы, лежащие по преимуществу в русле языковедческого познания, обладают, вне всякого сомнения, серьезным эвристическим потенциалом. Однако определенные черты недостаточности здесь присутствуют.

И рассмотрение языка политики сквозь призму политического дискурса, и сведение этого языка исключительно к политической лексике («политемам») несут на себе печать некоторой тавтологичности.

Когнитивные приемы идентификации языка политики способны компенсировать названную недостаточность, включая в аналитическую картину инструменты и результаты рефлексии по поводу собственно политологических смыслов.

Отправными исследовательскими установками здесь могут выступать элементы аппарата когнитивной лингвистики — прототипическая теория,

описание ментальных пространств и когнитивных моделей, структурирующих эти пространства. В концепции Дж. Лакоффа *политическое* отнесено к областям абстрактного характера. Из этого вытекает потребность в *способности концептуализации*, способности «формировать символические структуры, коррелирующие с *доконцептуальными* структурами нашего повседневного опыта»⁸.

В свете теории прототипов становится проблематичным выявление лексических единиц языка политики («политем») в статусе подобия «наилучшим» образцам понятия — власти, например, или государства и идеологии.

Язык политики как объект идеализированного когнитивного моделирования можно представить в разных ипостасях. Одна опирается на мотивировки критической направленности и выявляет потенциал языка как орудия закрепления господства (теории критического дискурс-анализа). Аналитический упор в данном случае приходится на технологии манипуляции массовым сознанием. Условно такую модель можно обозначить как некое подобие «политического реализма». Другая модель выглядит своего рода аналогом «институциональной», «идеалистической» парадигмы — создания институтов согласования интересов и коллективных действий, ориентированных на общее благо.

И в том, и в другом случае язык политики выступает в виде относительно автономной когнитивной модели, обладающей очевидными отличительными характеристиками по сравнению с административным «канцеляритом», например, или «бюроязом», с моноцентричным языком управления, с языком власти в «чистом виде».

Язык политики, с одной стороны, фрагментирован по множеству оснований — групповых, идеологических, фракционных, стилистических. С другой стороны, этот язык в когнитивных отношениях может быть идентифицирован в виде относительно обособленной подсистемы.

«Реалистическая» модель языка политики демонстрирует, как пишет И.В. Анненкова, *единство стратегий и тактик дискурсивной власти*. Определяющую роль играют не партийность политика и не его жанр его присутствия в медийном пространстве. «Вся дискурсивная деятельность *дискурсивной власти* подчинена одной и той же *риторической модельности* — убедить массовый адресат в том, что она («элита») имеет право на управление им, что ее место на вершине пирамиды социально-политического устройства — не просто правильно, но объективно и закономерно»⁹. Конструируемая когнитивная модель языка политики в данном случае строится вокруг возвышения элиты как таковой (вне властного статуса и идейно-партийных позиций) на массовую аудиторию.

«Институциональная» модель языка политики имплицитно и/или эксплицитно формируется вокруг базового концепта легитимности как интенционального начала политической деятельности, как процесса. Ядром когнитивной модели языка политики в этой ипостаси становится притязание на легитимное представительство многообразных общественных ин-

тересов. Это артикулируется в виде продукта символических договоренностей, которые могут быть подвергнуты периодическому пересмотру.

Разрабатываемая тема включает перспективные направления в изучении прагматических аспектов взаимодействия языка и политики. Исследовательская перспектива, связанная с прагматикой, открывает новые гносеологические возможности. Это связано с идентификацией специфики такого лингвистического объекта, как политический язык в его относительной самостоятельности и качественной соотнесенности с языком власти. Далее, прагматические подходы снимают аналитические разночтения между такими ракурсами, как «язык в политике» и «политика в языке», перенося акцент на задачи языкового культивирования в политической сфере.

Исследовательское поле, образуемое вокруг языка и политики в их многообразных способах соединения, содержит определенные моменты проблематичности. Это изначально относилось к идентификации собственного предмета, к феноменам, возникающим при взаимодействии двух названных начал социальной действительности, к понятийному аппарату формирующейся трансдисциплинарной области научных разработок.

Одна из особенностей становления политической лингвистики, как неоднократно отмечалось в научной литературе, состоит в сохраняющихся разночтениях относительно исследуемых материй. «Выражение *политическая лингвистика*, — пишет В.З. Демьянков, — означает не только “исследование языка политики”, но и “лингвистические теории, окрашенные той или иной политической идеологией”. Поэтому некоторые авторы предпочитают термин *политологическая лингвистика*, такой неоднозначностью не обладающий. Еще точнее, впрочем, было бы назвать эту дисциплину *лингвистической политологией*: в ней понятия и реалии, интересующие политологов, исследуются лингвистическими методами»¹⁰.

Здесь обозначены некоторые альтернативы, которые можно расценивать как ключевые и отражающие реальные аналитические дилеммы.

Во-первых, до сих пор оспаривается само наименование рассматриваемой субдисциплины социально-гуманитарного знания — «политическая лингвистика», «лингвистическая политология», «политология языка», «политическая филология», «политическая семантика» и т. д.

Во-вторых, языковые измерения политической коммуникации терминологически оформляются во множестве вариантов: «употребление языка в политике», «политическое использование языка», «политическая речь», «политическая терминология», «политический словарь», «политическая семантика», «идеологический язык», «институциональный язык». Ключевая дилемма здесь формулируется через соотнесение конкурирующих концептов — «язык политики» («политический язык») vs «язык в политике»; «язык политики» как отражение гомогенного состояния общества или «языки политики» как атрибут плюралистических систем¹¹.

В-третьих, традиционный и наиболее распространенный аналитический ракурс, который можно условно обозначить как «язык в его полити-

ческом использовании», не снимает с повестки дня вопрос о другой исследовательской перспективе — о политической интервенции в области языковой реальности.

Приведенные установки, которые, разумеется, не исчерпывают все существующие коллизии, — во многом возникают как продукт субъективного и вполне правомерного исследовательского выбора и индивидуальных методологических ориентаций. Проблема состоит не в оценке научной релевантности любых возможных подходов к обоим фундаментальным началам — языку и политике. Скорее, под вопросом остается сама принципиальная возможность целостной картины взаимопроникновения того и другого в рамках общей концептуальной версии: «язык в политике» и «политика в языке». Предлагаемый в данном изложении ракурс ориентирован на ключевое методологическое положение: все способы взаимной детерминации, диффузии языка и политики по множеству встречных направлений обладают общей природой, корящейся в прагматических проявлениях.

В прагматике коммуникации в системное сочетание приходят все элементы, присущие политико-лингвистическим объектам, самой онтологии взаимодействия языка и политики. Прагматические аспекты здесь представляют собой моменты пересечения активных начал языковой деятельности в сферах политического, с одной стороны, и политического воздействия на языковое использование, с другой стороны. В центре внимания — как с лингвистической, так и с политологической точек зрения — здесь оказываются качества субъектности: интенции говорящего и установки политического актора (как адресанта, так и адресата). В силу этого теоретические подходы в области прагматики, начиная с конца 1960-х годов, были включены в исследовательские проекты, инициирующие становление европейской «политической лингвистики»¹².

Перспективы эвристики прагматически ориентированного анализа языка и политики связаны с аналитическими акцентами, которые обладают общей значимостью применительно к лингвистическим, паралингвистическим и экстралингвистическим аспектам коммуникативных событий, актов и процессов в политике. Политически значимая языковая деятельность, ее статусно-ролевые параметры, особенности политических социолектов и идиолектов, так же как и политические мотивы и установки, позиции и ориентации — все это свойства одной и той же индивидуальной субъектности как целостного функционального феномена.

Методологическая платформа прагматики обладает ценностью в силу того, что она открывает возможности для исследования политико-лингвистической деятельности, погруженной в ситуативный контекст, в конкретную среду, в отношения между участниками коммуникации — в субъектно-объектных и субъектно-субъектных аспектах.

Далее, прагматический анализ дает возможность вовлечь в сферу внимания исследователя имплицитные составляющие языкового функционирования. В политической жизни особая — а подчас и решающая — роль

приходится на долю смыслов, остающихся в области невербализованного, неартикулированного, либо имплицитного, иносказательного, содержащегося «между строк».

Сказанное напрямую выводит на решение наиболее, по-видимому, принципиальных задач для исследовательской программы, посвященной различным граням взаимной (обоюдной) детерминации языка и политики.

Одна из таких задач предполагает процедуры идентификации лингвистического объекта, который принято с известной долей условности называть «язык политики». Точнее — процедуры конструирования идеализированной модели этого объекта в его сущностных основаниях в отличие от «языка власти» или «языка права», «языка управления», «языка администрирования» («бюрократа», «канцелярита») и проч.

Существует — и, вероятно, доминирует — традиция отождествления языка политики и языка власти, тенденция известной этатизации предмета. Наиболее концентрированным выражением такого инструментального подхода выглядит позиция одного из «гуру» политической лингвистики Гарольда Лассуэлла (в иной транскрипции — Лассвелла), сформулированная еще в середине прошлого столетия. «Когда мы говорим о политике как науке, мы имеем в виду науку о власти, — писал этот авторитетный ученый, — следовательно, язык политики — это язык власти. Это язык решений. Он регистрирует решения и вносит в них поправки. Это боевой клич, вердикт и приговор, закон, постановление и норма, должностная присяга, спорные вопросы, комментарии и прения. Когда мы рассматриваем функции языка, мы исследуем бинарные отношения между функцией и языком. Наши главные вопросы при этом: каково влияние функции на язык и наоборот, языка на функцию? (по терминологии Чарльза В. Морриса, это прагматика коммуникации)»¹³.

Тесная взаимная обусловленность обоих феноменов — политики и власти — с одной стороны, является бесспорной, а всякие суждения на этот счет звучат вполне аксиоматично. С другой стороны, политическая деятельность как таковая и во всем свое многообразии, разумеется, не сводится к практике властвования. Эта деятельность может ориентироваться не только на отношения господства/подчинения, но и на взаимовлияние субъектов, на согласование интересов, на консультации и договоренности между правящими и подвластными (между последними — «по горизонтали», не в последнюю очередь). Иными словами, состав участников и их статусно-ролевые позиции в сферах властного и политического имеют свои особенности. Все это с точки зрения политической науки звучит вполне тривиально, чего нельзя сказать об области политико-лингвистических исследований.

Язык политики и язык власти, таким образом, образуют и общее коммуникативно-прагматичное пространство, но и занимают в нем собственные и относительно обособленные сегменты. Разграничение того и другого не может быть жестко механическим. Здесь имеют место, скорее, условные и во многом проницаемые перегородки, фиксация которых име-

ет, прежде всего, аналитический смысл. Однако такое разграничение представляет собой принципиальную задачу не только с академической точки зрения, но и по прикладным (прагматическим) соображениям.

Язык политики (или: язык в политике, язык в политическом применении и т. п.) обладает собственными когнитивными укладами, отличающимися и на уровне онтологии, и на уровне идеализированного моделирования от языка власти. Концептуально развернутая картина типологически различий — это дело, требующее крупных исследовательских форматов. В данном случае уместно указать лишь на некоторые отличительные существенные черты того и другого.

Рассматриваемые лингвистические феномены в их взаимосвязи и относительной самостоятельности в чем-то совпадают и функционируют в общем тематическом поле, но в чем-то качественно различны. И то, и другое имеет дело с отношениями социально-волевого типа. При этом, если прибегать к общепринятой политологической терминологии и «классике», язык политики занят артикуляцией и агрегированием публично значимых интересов, связанных с общим благом. Язык же власти предназначен, скорее, для имплементации воли в виде уже принятых решений и осуществления практического курса. В первом случае имеется в виду коммуникация во имя достижения согласованности по поводу общей воли, а во втором — во имя системной организации деятельности тех целей, о которых уже предположительно имеется какое-то достигнутое согласие.

Далее, одна из продуктивных методологических установок при типологическом сопоставлении языка политики и языка власти состоит в том, чтобы выявить специфическое — как синтаксическое, так и семантическое — соотношение субъектно-предикатных взаимодействий. В идеализированной модели речевого функционирования власти она (власть) одновременно исполняет и субъектную, и предикатную роль, претендуя при этом на своего рода эксклюзивные полномочия. Круг субъектов (агентов) в социальном и синтаксическом отношениях и, соответственно, агентов со своими семантическими ролями здесь по определению не может быть безграничным. Право институционального голоса, роль того, кому принадлежит решающее слово, — все это приобретает вместе с властными полномочиями. Характерно в этом смысле замечание — по-своему металингвистическое — Д. Медведева, сделанное в статье «Россия, вперед!»: «Общественное согласие и поддержка обычно выражаются молчанием. Возражения очень часто бывают эмоциональными, хлесткими, но при этом поверхностными и безответственными. Что ж, и с этими явлениями Россия знакома не первые сто лет». Язык власти, следовательно, — это «уполномоченный язык» (“authorized language”), который, правда, по П. Бурдые, нуждается в признании.

В языке политики тема власти наделяется преимущественно статусом и семантической ролью предиката — значения, приписываемого объектам свойства (то, что говорится). Субъектами (агентами) же здесь может вы-

ступать практически безграничный состав персонажей, акторов, участников. Право голоса в этом коммуникативном пространстве неотчуждаемо de jure, ни в какой специальной «авторизации» оно не нуждается.

Параметры субъектно-предикатных (в терминах семантики — актантно-предикатных) отношений позволяют взглянуть на язык политики и язык власти с более широких позиций, чем это принято сегодня. Например, О. Воробьева пишет: «Несомненно, термин “политический язык” весьма условен, это не “язык” в сосюрсовском понимании, так как опирается лишь на лексический уровень, но это образование нельзя назвать и лексико-семантической группой, так как оно имеет четкую коммуникативную обусловленность и специфику функционирования, эту систему нельзя определить и как стиль. ... Политический язык определяется тезаурусом, который раскрывается в ходе изучения концептуального поля «политика» и формируется тремя главными конституентами: политическая власть, политическая идеология, государство. Данные концепты включают все референты политического лексикона и структурируются как семантическое пространство, ядром которого являются политемы и идеологемы»¹⁴. Жесткие рамки, задаваемые набором таких «политем», удаляют за рамки политического языка важнейшие жанрово-дискурсивные феномены. Это, к примеру, — гражданская самодеятельность, местное самоуправление, меж- и внутрипартийные коммуникации, медийные практики, лидерство, лоббизм и проч.

С точки зрения прагматики или фактора субъектности язык политики и язык власти также демонстрируют существенные различия, весьма удачно подмечаемые польским исследователем Петром Червьиньски. Он акцентирует ту особенность языка и политики, что связана с трехчастной ролевой структурой в языке политики: «Участниками коммуникативного взаимодействия оказываются не два как минимум (говорящий и адресат), а три речевых субъекта (говорящий — предполагаемый его оппонент — адресат). Причем позиция оппонента для говорящего будет настолько важной, что его появление и присутствие, его отражение в речи будет всегда почти обязательно. Облигаторность его позиции, выражая себя оценочно, воплощается в типе, в коннотативном, сигнификативном и денотативном характере слова-номинатива»¹⁵. Трехчленная схема (агент, контрагент-оппонент, адресат) для языка политики является чем-то облигаторным. Для языка же власти, по-видимому, она важна, но в принципе — факультативна. Очевидно, что властвующий субъект, в процессе говорения постоянно — пусть имплицитно — апеллирующий к оппонентам, тем самым признавая наличие значимой альтернативной позиции, рискует утратить свою коммуникативную успешность. Напротив, оспаривание ресурсов и позиций власти в ее потенциальных и актуальных изводах — это имманентные свойства политической деятельности.

Идентификация языка политики предполагает, следовательно, анализ спектра используемых речевых стратегий. Центральное место здесь принадлежит, как пишет Г.М. Костюшкина, «во-первых, положительной самопрезентации

партии, общественно-политического течения или конкретного лидера (стратегия самопрезентации), во-вторых, побуждения общественных групп к каким-либо действиям (императивная стратегия), в-третьих, разграничения “своих” и “чужих” (стратегия формирования “своего круга”) и т. д.»¹⁶.

В связи с анализом языка политики в перспективе прагмалингвистики широко используется познавательный арсенал теории речевых актов в различных вариантах их номенклатурной систематизации. Академический канон здесь включает ряд таксономий.

По Дж. Остину, это:

- вердиктивы (вердикт — приговор)
- экзерситивы (акты осуществления власти)
- комиссивы (акты обязательств)
- бехативы (акты общественного поведения — извинение, ругань)
- экспозитивы (акты-объяснения типа «Я доказываю», «Я призываю»).

Дж. Серл разграничивает иллюкутивный и пропозициональный элементы высказывания и выстраивает свою таксономию:

- 1) репрезентативы, фиксирующие ответственность говорящего и приспособляющие слова к реальности;
- 2) директивы, добывающиеся чего-либо от слушателя и приспособляющие реальность к словам (вопросы, приказы, просьбы);
- 3) комиссивы или обещания, также приспособляющие реальность к словам;
- 4) экспрессивы, выражающие психологическое отношение к состоянию дел (например, благодарности, поздравления);
- 5) декларации как установление соответствия между пропозициональным содержанием и реальностью¹⁷.

Очевидно, рассматриваемые здесь лингвистические образования — в сфере собственно политического и в сфере властного — демонстрируют разные иерархии в типологии речевых актов, их разную приоритетность или предпочтительность.

Можно, вероятно, предложить рабочее определение языка политики в отличие от языка власти, языка права или административного языка. Это — язык притязаний на легитимное представительство многообразных общественных интересов.

Из этого определения следует, что язык политики оперирует интенциями — притязаниями на легитимность, тогда как язык власти эту легитимность постулирует уже в готовом виде (с той или иной, разумеется, мерой обоснованности). Символическая фигура политика в прототипических же случаях — это фигура претендента на мандат в широком и не обязательно формальном смысле, соискателя в контексте, по П. Бурдьё, «магии делегирования». Символическая же фигура властителя прототипически — это фигура обладателя, держателя полномочий.

Естественным образом возникает вопрос: в чем смысл и какова польза от такого дифференцированного видения языка политики, с одной сторо-

ны, и языка власти, с другой стороны? Ответы здесь связаны с рядом обстоятельств.

Во-первых, коммуникативное состояние в обеих рассматриваемых сферах — это, по существу, весьма точный индикатор положения дел, демонстрирующего уровень профессиональной специализации в контексте разделения не только властей, но и политически релевантных видов деятельности. Ясно, что «рядовые» граждане и общественно-политические активисты, партийные функционеры и парламентарии не должны изъясняться так, как это делают администраторы-чиновники, служащие исполнительных органов, «крепкие хозяйственники» или правоохранители. Речь, в конечном счете, идет о достижении коммуникативного идеала — взаимного понимания — и об ответственности.

Во-вторых, широко распространенное и в обществе, и в экспертной среде недовольство качественным состоянием речевого поведения агентов властно-политической сферы не подлежит сомнению. Сетования по поводу раздаются повсеместно и беспрестанно. Это — и об отсутствии релевантного политического языка, который был бы пригоден для диалога ни по вертикали («верхи — низы»), ни по горизонтали. Общий язык отсутствует, следовательно, возможность договориться недостижима. Это — и об его деградации по сравнению с богатствами литературного языка XIX — начала XX столетий, и о наплыве заимствований (этих «слов-гастарбайтеров»), полукриминальной «фени» и сетевого «стеба». Помимо всего прочего, канцеляризм наносит поражающее действие на общую языковую культуру общества. Вспоминается знаменитое из Корнея Чуковского: «По какому вопросу плачете, девочка?»

Печальному состоянию в этой области посвящены бесчисленные оценки и суждения публицистов, ученых и руководителей высшего ранга. Как бы утопично это ни звучало, язык политики сам нуждается сегодня в исправляющем политическом воздействии. Возвращаясь к ранее приведенной антиномии — «язык в политике» и «политика в языке», следует обратиться к возможностям прагматики, к тому, что помимо прагмалингвистики существуют «приложения» к области социолингвистической проблематики. Языковое регулирование изучается в контексте этой последней, в контексте многоплановых взаимоотношений языка и общества, а прагматика содержит социопрагматические составляющие. Традиционный взгляд на предмет тяготеет к сохранению жестких разделительных барьеров между субдисциплинарными исследовательскими доменами. «Необходимо различать политическую лингвистику, ориентированную на изучение политической коммуникации, и исследование в области языковой политики государства, которые относятся к сфере интересов социолингвистики, — пишет А.П. Чудинов. — Несколько упрощая проблему, можно сказать, что специалистов по политической лингвистике интересует то, как говорят политики, а специалисты по языковой политике занимаются тем, что политики делают (или должны делать) для оптимального использования языка»¹⁸. Однако следует

учесть, что собственно прагматические ракурсы рассчитаны на преодоление дихотомии слова и дела, языка и действия.

В связи со сказанным существенное значение приобретают интерпретации языковой политики, своего рода прагматики политического вмешательства в отношения по поводу языковых процессов и языкового функционирования. Сами концептуальные образы языковой политики разнообразны и подвержены возможностям расширяющего пересмотра. Наряду с этатистскими трактовками практики централизованного регулирования языкового употребления («языковой дирижизм») рассматриваются также иные — более широкие — смыслы. Языковую политику в одних случаях понимают как дискретные централизованные нормативно-регулятивные акты в сфере «планирования статуса» и «планирования корпуса». В русле этой парадигмы осуществляются меры языковой «пурификации», языковых реформ (например, в области использования графических основ — буквы «ё», к примеру), стандартизации, модернизации, унификации терминологических систем. В ряде случаев такие меры получают чрезмерное, экстраординарное политизированное и идеологизированное обострение (связанное, кстати сказать, чаще всего не с коммуникативными, но с символическими измерениями), как это происходит с языковым вопросом в условиях современной Украины. В других случаях языковая политика понимается в качестве целенаправленного воздействия не столько на языковую ситуацию с точки зрения взаимодействия двух или нескольких моноцентричных идиомов (одно-, дву- или многоязычие), сколько на коммуникативный режим в обществе и на доступность ресурсов для участия индивидов и групп в коммуникации. Это, если угодно, — своего рода прагматический поворот в исследовательской повестке, подобный лингвистическому повороту в социально-гуманитарном знании в целом. На место языковых компетенций (владения языком) приходит интерес к возможностям и условиям участия в практиках коммуникации со статусно-ролевой точки зрения (не только владение языком, но и обладание голосом, не только знания в области языка, но доступ к языковым репертуарам). Языковая политика в этом свете предстает как производство того или иного режима взаимодействия языка и политики, того или иного «порядка». Статуса научной парадигмы этот подход, вероятно, пока не получил, но он выглядит по-своему многообещающим.

Политический язык, таким образом, вряд ли можно рассматривать как объект «языковой политики» в традиционном — нормативно-регулятивном — смысле. Любые попытки директивного управления или законодательного оформления в этой области изначально бесперспективны. Язык политики можно мыслить как объект не столько «планирования» (или языкового «менеджмента» и «инжиниринга»), но культивирования. Общество вправе и в состоянии требовать от политиков, законодателей и чиновников (а также — от экспертов, аналитиков, профессионалов в области СМИ) изъясняться, придерживаясь богатых возможностей литературного языка, ориентируясь на че-

ловеческие критерии ясности и чувства меры. В этом многотрудном и, возможно, все еще утопичном стремлении общественность в лице авторитетных публичных инстанций — творческих, научных, гражданских, политических, — в лице «лидеров общественного мнения» способна позитивно влиять на ситуацию. Небесполезным здесь может стать и восприятие зарубежного, международного опыта. В «Декларации о парламентской открытости», получившей в августе 2012 года поддержку почти от восьми десятков организаций из 53 стран содержатся рациональные и правомерные требования:

– Продвигать гражданское образование, включая «предоставление детальной парламентской информации, так же, как и выдержек и разъяснений «простым языком» парламентской работы, что могут эффективно использовать граждане, обладающие различным образованием и жизненным опытом»;

– «Парламенты должны гарантировать, что правовой и технический языки не будут служить барьером для граждан, ищущих возможности доступа к парламентской информации. Парламент обязан разрабатывать обобщения и изложения на простом и понятном языке и иные инструменты для предоставления парламентской информации, легко доступной и понимаемой широкими слоями граждан»¹⁹.

Формирование и распространение стандартов лингвистической чувствительности как в среде политиков, так и у массовой аудитории или культивирование языка политики — сложная, но жизненная миссия, требующая системных усилий всех общественных сил. Воздействие факторов глобальности на процессы языковой трансформации сферы политического происходит в виде многоуровневого процесса. На поверхности это выглядит как лавинообразное нарастание иноязычных заимствований, прежде всего, англицизмов. Характерно, что собственно лексический пласт изменений, которые затрагивают рассматриваемую здесь подсистему языковой жизни российского общества, содержит относительно немногочисленную категорию новшеств собственно политической природы. Во всяком случае, импортированная новейшая политическая терминология в современном русском языке количественно заметно уступает словарным подсистемам, характерным для других сфер — бизнесу, например, информационно-коммуникативным технологиям, массовой культуре или шоу-индустрии. «Институциональные “трансплантации” всегда свидетельствуют об отставании страны-реципиента от более развитых стран по темпам и глубине дифференциации видов и способов деятельности, — пишут О.В. Иншаков и Д.П. Фролов. — Закономерно, что заимствование иностранных институций в постсоветской России наиболее активно происходило в сравнительно слабо развитых сферах досуга и развлечений, финансов и маркетинга, компьютерных технологий и др.»²⁰. Примеры «ксенолексики», принадлежащей к практике функционирования политической системы, или превращения прежних политических экзотизмов в актуально функционирующие институциональные термины, составляют достаточно краткий перечень — мэрия, муниципалитет, парламент, спикер²¹. В этот же пере-

чень можно было бы добавить реанимированную номинацию — статс-секретарь, импичмент, праймериз...

Заемствования в масштабах больших или меньших сами по себе не означают переход от использования одного национального языка к использованию другого языка в качестве средства общения. Значительно более существенное значение приобретают последствия того, что в условиях глобализации в трансграничных пространствах «путешествуют» не только слова как таковые, но и так называемые «дискурсивные формации», дискурсивные стили, целые смысловые комплексы. Последние способны модифицировать онтологические основания тех или иных сегментов общественной практики, целых сфер социальной деятельности и отношений.

В одних случаях это происходит на принципах линейной модернизации, прежде всего, там, где имеет место внедрение технологических новаций и, соответственно, их языкового оснащения. Сказанное иллюстрируется концепцией торгового порядка, предложенной Жаком Аттали. Нынешний девятый Торговый порядок определяется тем, что «продукты компьютеризации в девятой форме играют ту же роль, какую в двух предыдущих формах играли автомобиль и бытовые приборы», а «развитие нанотехнологий и миниатюризация средств информации, развлечения, связи, транспорта серьезно увеличат кочевую вездесущность»²². Футуристическая проекция таких изменений на область политического, разумеется, становится элементом общей концептуализации. Однако в этой сфере, так же, как и в культуре в целом, линейная модернизация столь же бурными темпами невозможна. Революционные преобразования в технологиях не могут сопровождаться такими же непрерывными изменениями в политике.

Политическое и его языковое оснащение под воздействием глобализации претерпевают модификацию собственной онтологии в контексте качественно иных причинно-следственных связей. Влияние планетарных «подвижек» здесь ощущается, скорее, по линии опосредующих детерминантов. Если применительно к технологиям можно говорить о ежеминутном переходе от вчерашнего, устаревшего, утратившего востребованность, переставшего отвечать потребностям момента, то в политике речь идет об изменениях иного, не темпорального характера. Политика в условиях глобализации подвергается воздействию, условно говоря, «межсекторальных» факторов — со стороны принципиально «не политического».

Политическое как таковое и его соответствующее языковое оснащение в условиях глобализации трансформируется не столько в векторах «архаика — авангард — модерн», сколько под влиянием других детерминирующих обстоятельств. Анализ политико-лингвистических реалий в современном мире подводит исследователей относительно метаморфозы, затрагивающей саму природу политики.

Первое. Глобализация несет с собой процессы «маркетинга» рассматриваемой сферы, процессы «коммодификации» политических материй. В когнитивных характеристиках политического усиливаются призна-

ки рыночной природы. «Все коммерческие отношения и через них многие социальные отношения опосредуются рынком, — пишет известный специалист в области лингвистики Флориан Коулмас об экономических вызовах глобализации. — Это означает, что блага, люди и их способности в возрастающей мере становятся предметом коммодификации, наделяемые рыночной ценой»²³.

Период «классовых войн» в развитых странах остался в прошлом, рассуждает о феномене деполитизации политики Чарлз Тейлор: «То есть была борьба людей, демоса: рабочие и крестьяне против остальных, и эти остальные также мобилизовывались. Это вело к формулированию четких альтернатив и высокому уровню вовлеченности народа»²⁴.

Перспективы перехода к «неполитической модели политики» в связи с глобализацией рассматривает в своих концептуальных построениях Ульрих Бек. Отталкиваясь от высказывания бывшего министра иностранных дел Германии Йоски Фишера («Нельзя проводить политический курс, противоречащий рыночным законам»), этот автор разворачивает систему аргументации, призванную лишить дискурс глобализации статуса некоего алиби. «Политические деятели рассматривали себя лишь в качестве пешек в игре, в которой тон задавал глобальный капитализм. Такой подход создавал, конечно же, иллюзорное представление о том, что политики не несут ответственности за возможные провалы... Ведь именно политический класс, действующий под флагом “политики реформ”, навязал отдельным нациям правила глобальных рынков и заставил всех поверить в вышедшую из-под контроля “фатальность глобализации”. Когда политика активно содействует самоуничтожению, глобальный капитализм приобретает “неотразимую” власть. ...Таким образом, девиз “все глобально, а значит, сделать ничего нельзя” позволяет заранее разделить слова и дела»²⁵. Как подчеркивает этот автор, за словом «глобализация» просматривается смысл: «организованное отсутствие ответственности»²⁶.

Применительно собственно к политическому языку феномен «маркетинга» («коммодификации») означает в плане лингвистической диагностики несколько заметных признаков.

Прежде всего, в языковом функционировании политического заметно расширяющееся место начинает занимать риторический инструментарий и дискурсивные стилистики менеджмента, а не собственно политической субъектности в ее разнообразных статусно-ролевых вариантах (компетентный избиратель, активист, функционер, политработник, лидер). Шкала престижности формируется в публично-информационном пространстве таким образом, что номинативные категории наподобие «эффективного менеджера» из корпоративных сфер вторгаются и в культуру, и в образование, и — разумеется — в политику. Люди, профессионально занятые политико-управленческой деятельностью, практически всегда избегают самопрезентаций в качестве политиков. Отсюда — их тяготение к словарию, свойственному, скорее, бизнес-процессам. Язык участия в социально-

идеологическом противоборстве замещается риторикой «корпоративного управления». Концепт «эффективности» в идеологии менеджериализма занимает место первичной ценности. Деятельность, в том числе — политическая, тотально инструментализируется. Наиболее характерным симптомом здесь выглядит квалифицирующая характеристика партий как чего-то «проекта». «Для менеджериализма основной функциональной социальной единицей являются не индивиды, не государство, а организации. Социальные решения возникают из трансакций, в которых участвует менеджмент организаций. Движение от индивидуальной оценки социального выбора через организацию осуществляется с помощью трансакций менеджеров организаций. Таким образом, менеджериализм, с одной стороны дистанцируется от радикального либерализма, с другой — от социализма», — пишет Р.Н. Абрамов²⁷.

Парадоксальным образом при отсутствии вынятных идеологически оформленных политических стратегий главенствующую роль начинают играть языковые инструменты стратегического менеджмента — дорожные карты, миссии, видения, форсайты и проч. Сюда же можно отнести массу лексических «красивостей» — бенефициары, стейкхолдеры, бенчмаркинг.

Небывалый вес вместо «аппаратчиков» прежних времен набирают политехнологи и эксперты, стремящиеся артикулировать свои функциональные компетенции на «птичьем» языке или бизнес-сленге. Это призвано повысить привлекательность их услуг в глазах политического руководства (которые в рассматриваемых координатах по-своему занимают место владельцев фирм). При этом в составе символических персонажей политики в прототипическом смысле, носителем престижных форм речевой деятельности становится не только политик как соискатель легитимного представительства, но агент организации, менеджер — носитель «продвинутых» лингвистических навыков, сведущий в арготизированных (понятных только для «своих») словарных запасах, изысканный, если использовать слова Ф.М. Достоевского, «компетентным слогом».

Это, с одной стороны, можно было бы расценивать как безобидные «языковые игры» — извинительные для неопитов и заслуживающие ироничного отношения со стороны общественности. С другой стороны, увлечение языковой модой такого рода чревато новыми формами социально-группового отчуждения и, в конечном счете, вырождением политического языка в том смысле, о котором говорилось выше.

Развивая концептуальную логику Ю. Хабермаса, Б. Брюс специально акцентирует одну из линий, связанных с морально-дискурсивными критериями. Для речевого поведения менеджеров характерно различие базовых ориентаций: инструментальная (стратегическая) и коммуникативная. В первом случае высказывания действующего лица рассчитаны на успех, во втором — на достижение взаимопонимания²⁸. Применительно к рассматриваемому предмету это содержит очевидные угрозы. Для языка политики перекося в сторону менеджерской инструментальности чреват бло-

кированием коммуникативных каналов со многими социальными аудиториями (особенно, если их третируют как лингвистически профанные). Для языка власти такая дискурсивная деполитизация особенно губительна. «Ведь в отношениях власть-подвластные, помимо воздействия одного человека на другого, — пишет В. Согомонян, — между ними происходит и взаимодействие, но этот процесс осуществим только тогда, *если властвующие имеют с управляемыми общий язык*, на котором можно договариваться и приходиться к соглашениям»²⁹.

Если говорить обобщенно, влияние глобализации на языковой обиход властно-управленческой сферы сопровождается множеством признаков контекстуализации политики.

Второе. В русле рассматриваемых процессов языкового переопределения политической жизни в связи с когнитивными сдвигами глобального характера существенное значение приобретает меняющаяся роль публично-информационных стандартов и технологий. Происходит планетарный сдвиг в направлении медиатизации политического. Как отмечает Чарльз Тейлор, в позднем потребительском капитализме информация превращается в развлечение. «Люди потребляют новости как развлечение. Средства массовой информации, предлагающие это, являются частью капиталистической системы. Они преследуют собственную выгоду, но в то же время хотят казаться, будто бы они на “хорошей стороне”. Все большие корпорации рекламируют себя подобным образом»³⁰. То, что не совсем точно называют «пиаром», становится поистине предметом культа, поклонения не только со стороны субъектов рынка, производителей товара и услуг, информационного продукта. Государственные деятели, политические акторы здесь вполне могут дать фору создателям потребительских брендов или звездам шоу-бизнеса.

В классическом понимании политика как конкуренция в деле распределения властных ресурсов (пусть и в символических формах) уступает место состязанию в привлекательности имиджа, в TV-картинках, а сегодня — в сетевой представленности, в погоне за количеством «лайков».

В логически убедительных формулах это резюмирует С. Бодрунова применительно к практике Англии: «Выстроим последовательность перехода политического истеблишмента Британии (прежде всего партий) к медиapolитике: от классовой идеологии и ее продвижения через правление — к срединному этапу “маркетинговой политики” (“атаки на повестку дня”, скатывание к центризму через пересмотр идеологических платформ, унификация предвыборных программ) — к медиатизированной политике, в которой различия проводятся не на идеологической основе или на основе повесток дня, а на имиджевой основе и на основе доступа к контролю над информационными ресурсами»³¹. Обобщающей характеристикой всех последствий медиатизации по отношению к языку политики выступает, как подчеркивается в анализе, проведенном этим автором, «спин» (“spin”) — «подкручивание повестки дня» профессионалами-медиаменеджерами.

Существо такого вмешательства сводится к тому, что стиль презентации превалирует над содержанием и сущностью сообщения (по формуле “*style over substance*”), когда способ изложения информации, способы ее «подачи» приобретают более весомую значимость по сравнению со смыслами, заложенными в этой информации³².

Очевидно, что последствия такого влияния глобализации на язык политики, все, что связано с его трансформацией в направлении превращения в коммерциализированный информационный товар, могут означать перерождение: из диалога относительно общего блага в инструмент манипуляции. Когда выхолащиваются мотивы легитимного представительства — этого прагматического начала языка политики, верх будут брать мотивы отчуждения граждан — как от власти, так и от осмысленного политического участия.

Предотвращение тенденций коммуникативного отчуждения власти и политического истеблишмента, с одной стороны, и общества, с другой стороны, если только возможно, то на принципах культивирования языка политики в духе взаимопонимания. Воля высшего руководства России здесь прокламирована недвусмысленно: «Нам не нужна ситуация, когда демократия сводится к вывеске, когда за “народовластие” выдается разовое развлекательное политическое шоу и кастинг кандидатов, где содержательный смысл выхолащивается эпатажными заявлениями и взаимными обвинениями, — писал В.В. Путин в статье «Демократия и качество государства». — А настоящая политика — уходит в тень закулисных сделок и решений, которые ни с какими избирателями не обсуждаются в принципе. Вот такого тупика, соблазна “упростить политику”, создать фиктивную демократию “на потребу” — мы должны избежать. В политике есть неизбежная доля политтехнологий. Но имиджмейкеры, “мастера билбордов” не должны управлять политиками. Да я уверен — и народ больше на такое не купится»³³. Дело остается за тем, чтобы такая установка была реализована — в том числе и с использованием позитивного зарубежного опыта организации широких общественных движений за ясный и понятный большинству политический язык.

¹ Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Грант 13–03–0334а.

² См.: Солнцев В., Михальченко В. Введение // Письменные языки мира: Языки Российской Федерации. Социолингвистическая энциклопедия. М., 2000. Кн. 1. С. XII.

³ Солнцев В., Михальченко В. Введение // Письменные языки мира: Языки Российской Федерации. Социолингвистическая энциклопедия. М., 2000. Кн. 1. С. XIII.

⁴ См.: Lewis M. Paul (ed.) Ethnologue: Languages of the World. Dallas, Texas: SIL International // www.ethnologue.com/16.

⁵ См.: Бугайский М. Язык коммуникации. Харьков, 2010. С. 137–145.

⁶ Шейгал Е. Семиотика политического дискурса. М., 2004. С. 21–22. См. также: Паршин П.Б. Исследование практики, предмет и методы политической лингвистики // Scripta linguisticae applicatae. Проблемы прикладной лингвистики. 2001. М., 2001. С. 181–208.

⁷ Воробьева О. Язык политики конца XX–XXI вв. в России. Политическая лингвистика. Saarbrücken, 2011. С. 236.

⁸ Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. Книга 1: Разум вне машины. М., 2011. С. 365–366.

⁹ Анненкова И.В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. М., 2011. С. 185.

¹⁰ Демьянков В.З. Реставрация и модернизация: заметки по лингвистической политологии // Политическая лингвистика. 2010. № 2. С. 32.

¹¹ См., например: *Burkhardt A. Politlinguistic Versush Orstbestimmung* // Klein J., Deikmannshenke H. (Hrsg.) *Sprachsstrategien und Dialogblockaden. Linguistische und politikwissenschaftliche Studien zur politischen Kommunikation*. Berlin; New York, 1996. S. 75–100.

¹² См.: *Wodak R., De Cillia R. Politics and Language: Overview* // *Encyclopedia of Language & Linguistics*. Vol. 9. Oxford, 2006. P. 707.

¹³ Лассвелл Г. Язык власти // Политическая лингвистика. Вып. 20. Екатеринбург, 2006. С. 296.

¹⁴ Воробьева О. Язык политики конца XX–XXI вв. в России. Политическая лингвистика. Saarbrücken, 2011. С. 7, 236.

¹⁵ Современная политическая коммуникация. Екатеринбург, 2009. С. 109.

¹⁶ Костюшкина Г.М. Когнитивная прагматика // www.islu.ru/files/tar/2011/Professores/kostushkina_2007_kognitivnaya_pragmatika.pdf.

¹⁷ См.: *Карасик В.И. Язык социального статуса*. М.; Волгоград, 1992; *Кронгауз М.А. Семантика*. М., 2001. С. 342.

¹⁸ Чудинов А.П. Политическая лингвистика. М., 2012. С. 8.

¹⁹ www.openingparlament.org/organization.

²⁰ Инишаков О.В., Фролов Д.П. Лингвистика институциональной экономики. Волгоград, 2010. С. 236.

²¹ См.: *Березовская О.М., Кирьянова Л.Г. Тенденции этноязыковых процессов в условиях глобализации современного общества* // Известия Томского политехнического университета. 2009. Т. 315. № 6. С. 145–146.

²² Фурсов А., Фурсов К. Будущее капитализма. Мировое правительство, глобальная эпоха воюющих царств или триумф США? // Свободная мысль. 2013. № 6. С. 193, 200.

²³ *Coulmas F. Changing language regimes in globalizing environments* // *International Journal of Sociology of Language*. 2005. № 175 / 176. P. 8.

²⁴ Тейлор Ч. Деполитизация политики. Трансформации демократии // www.eurozone.com/articles/2011-11-10-sierakovski-en.html.

²⁵ Бек У. Глобальная внутренняя политика: пять заблуждений относительно национальной политики в эпоху глобализма // Партнерство цивилизаций. 2012. № 2. С. 37–38.

²⁶ Бек У. Призрак нового космополитизма. Семь тезисов // www.signandsight.com/features/1603.html.

²⁷ Абамов Р.Н. Менеджеризм: экономическая идеология и управленческая практика // Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 2. С. 97.

²⁸ См.: *Bruce B. The discourse of management and the management of discourse* // *International Journal of Strategic Change Management*. 2011. Vol. 3. № 1/2. P. 146.

²⁹ Согомонян В. Публичность власти: лингвистика или политология? // «21-й ВЕК». 2012. № 5. С. 116.

³⁰ Тейлор Ч. Деполитизация политики. Трансформации демократии // www.eurozone.com/articles/2011-11-10-sierakovski-en.html.

³¹ Цит. по: os.colta.ru.literature/projects/119/details/17927/.

³² Цит. по: *Морозов А. Человек в постдемократии должен адекватно понимать, что стоит за такими словами, как «модернизация», «демократия», «ценности», «свобода»* // www.openspace.ru.

³³ www.kommersfnt.ru/doc/1866753.

Глобализация и этнополитический процесс в современной России

Наступивший XXI век принес человечеству не только смену тысячелетий, но, что гораздо важнее, он широко открыл двери глобализации всех процессов, включая экономику, культуру, социальную сферу. В условиях глобализации наиболее очевидной становится аксиома — побеждает сильнейший. И это в полной мере относится к существующим ведущим государствам. Но вместе с тем в наступившем XXI столетии геополитическое положение некоторых государств в мире, особенно после распада Советского Союза, суверенизации новых независимых государств (СНГ), последствий балканских событий (Югославия, Чехословакия) и, как следствие, активизации внешней политики США на мировой арене, значительно изменилось. Вследствие этого произошла коренная перестройка международных отношений и перестановка политических сил основных игроков на мировой арене. Более того, сегодня тенденции современного развития политических процессов в государствах обусловлены еще и рядом существенных факторов, которые связаны, прежде всего, с общими глобализационными изменениями в мире. Наиболее важный фактор последнего времени — прошедший мировой экономический кризис, повлиявший на геополитическое положение некоторых стран и в целом на Европейский союз, вследствие миграционных, экологических и демографических проблем в ряде европейских и ближневосточных государств. Разумеется, в основе этих изменений и ведущими факторами, влияющими на данные процессы, являются ухудшение социально-экономической и политической составляющей положения основной части населения этих стран. В результате таких негативных процессов возникают противоречия и конфликты между правящими элитами и их оппозицией в лице основной массы населения, которые дошли сегодня, например в некоторых государствах до гражданских войн. Показательным примером в настоящее время является цепная революция в странах Северной Африки и Ближнего Востока (Тунис, Египет, Ливия, Бахрейн, Йемен, Сирия и др.). Данная ситуация доведена до того, что без серьезных кардинальных изменений, осмысления и принятия чрезвычайных мер в этих странах невозможно будет урегулировать создавшееся положение в этом регионе¹.

Кроме такой обостряющейся ситуации есть ряд стран, где также начинает назревать аналогичная обстановка или имеются некие тенденции к появлению противоречий, ведущих к конфликтам и вооруженным столк-

новениям. Понятно, что все эти противоречия непосредственным образом связаны с общими глобальными процессами. Похожие процессы, как уже отмечалось, после Сирии, Ирака и Афганистана этнополитического характера нарастают и в странах Западной Европы в результате миграционных потоков из исламских государств. Сегодня серьезную озабоченность вызывает у ряда европейских стран складывающаяся ситуация во Франции, Германии и особенно в Италии, куда направлен поток беженцев из Туниса, Ливии и других стран. Так, например, небольшой итальянский остров Лампедуза подвергся сначала нашествию беженцев из Туниса. Остров с населением в 4,5 тысячи человек давно служит одним из основных перевалочных пунктов для африканских мигрантов, пытающихся перебраться в Европу. Но такого нашествия он еще не видывал: с африканского берега (находящегося всего в 110 км) уже прибыло больше мигрантов, чем само коренное население, проживающее на острове. И это только начало, поскольку желающих форсировать Средиземное море в стабилизированном Тунисе становится все больше, а в соседней Ливии, видимо, будет еще больше. Из этой страны на территорию Туниса уже переправились более 50 тысяч человек, спасающихся от возникновения гражданской войны².

Разумеется, Европа не в восторге от таких перспектив. Лидеры трех крупнейших государств Евросоюза — Германии, Франции и Великобритании — уже сделали еще в 2011 году заявления, суть которых сводится к тому, что глобализация и политика построения «мультикультурного общества» потерпела крах, и приходят к тому, чтобы ужесточить социальную политику и миграционное законодательство³.

Сегодня в связи с глобализационными процессами стремительно изменяется геополитическое положение составляющих некогда самой значительной в мире территории Советского Союза. В настоящее время происходят различные внутренние преобразования, доходящие до различных катаклизмов и социальных взрывов в странах бывшего СНГ, что, естественно, влияет на межгосударственные отношения соседних территорий и их национальную безопасность. Современные социально-политические процессы в мире, изменяющееся геополитическое положение многих ведущих государств, а также их расстановка на политической арене приводят соответственно и к внутренним трансформациям в этих странах. Достаточно вспомнить события, начиная с Прибалтики, затем Азербайджана с Арменией, вооруженные столкновения Грузии и России и кризисную ситуацию в Украине под названием «Евромайдан». Ученые эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) следующим образом дают оценку последнему событию: «Распад страны — самый плохой сценарий для Украины, Европы и России. Некоторые эксперты считают, что раскол Украины выгоден для России, но не надо забывать, что тогда Москва получит еще одно недружественное государство, которое всегда будет претендовать на восточные территории... Нас ждет распад государства не географический, но сущностный. И чем дальше, тем этот сценарий реаль-

нее. При этом симулякр государства может сохраняться, однако оно не сможет собирать налоги и сдерживать волну насилия»⁴.

Надо отметить, что последние события вокруг Украины подтверждают печальную реальность, а в долгосрочной перспективе могут иметь негативные последствия для России, Европы, США, всех граждан Украины, поскольку глобализация не может влиять локально на отдельные страны.

В основе данной проблемы — губительное отсутствие доверия между народами регионов, которое усугубляется сохраняющимися сложными коррупционными проблемами, угрожающими региональной безопасности. «Дефицит доверия» в евроатлантическом сообществе подрывает сотрудничество, усиливает напряженность в государствах, ведет к дополнительным расходам и, в конечном счете, подвергает граждан этих стран к ненужным рискам.

В итоге, события на Украине представляют серьезную опасность и требуют совместных действий. Украина не должна превратиться в новую Берлинскую стену в Европе. Раздел Украины будет означать новый раздел Европы⁵.

Для современной политической науки это обстоятельство создаст дополнительные стимулы, новые задачи и цели в исследовании данных процессов. Что касается отечественной исследовательской практики, то в данном случае особенно актуальным становится изучение проблем сохранения с трудом достигнутой стабильности 1990–2000-х гг., предусматривающее, в частности, этнополитическую устойчивость общества и деэскалацию наиболее значимых конфликтов в некоторых регионах страны в целях установления своих геополитических приоритетов в мире.

В связи с многонациональным, поликультурным характером российского общества важным для нас представляется региональный уровень анализа, особенно для Прикаспийского региона и южной части России: субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где угрозы, выраженные в конфликтах, сопровождающиеся терроризмом и экстремизмом, создают серьезное напряжение и ставят под определенную угрозу будущее развитие страны. Поэтому вполне обоснованно и необходимо выявление факторов и путей консолидации общества, анализ взаимосвязи федеральной и региональной напряженности, поиск внешних и внутренних вызовов и угроз, что предполагает широкое обсуждение учеными и специалистами этих проблем и в первую очередь со стороны экспертного сообщества.

Известно, что политические конфликты определяются исследователями в большинстве случаев как вид социального этнополитического конфликта, ядром которого является проблема политической власти. Ориентация на политическую власть предполагает столкновение и разрешение конфликта посредством господства одной стороны конфликта над другой. Между тем политолог А.А. Васецкий в своем исследовании отмечает, что существует обособленная группа конфликтов, которую можно определить как «системные политические конфликты»⁶. Причиной возникновения большинства таких конфликтов, на первый взгляд, представляющих собой обычное столкновение интересов национальных групп, политических партий, групп

влияния, общественных объединений, становится характер политической системы, проявляющийся в особенностях ее организации. Однако такие конфликты первоначально ставят вопрос не о завоевании власти, не о смене субъекта власти, а об изменении, корректировке основ организации политической системы, согласно современным процессам и их тенденциям.

Мировой опыт показывает, что наличие такого системного политического конфликта угрожает существованию политической системы, как это наглядно видно из современной истории ряда балканских и ближневосточных государств (Югославия, Чехословакия, Египет, Ливия и др.). С другой стороны, этот фактор выявляет то существенное противоречие, которое может являться источником развития и прогресса политической системы. Системный конфликт можно рассматривать как системообразующий, если он приводит формы, способствующие совершенствованию и устойчивости его протекания.

Общеизвестно, что на территории Российской Федерации существует несколько регионов с высокой степенью напряженности, которые в определенной степени негативно влияют на всю политическую систему общества. Наиболее конфликтогенным оказывается ее южный регион, в котором сохраняется, а по отдельным направлениям нарастает концентрация рисков и угроз региональной нестабильности. В последние годы произошло заметное обновление этих угроз и рисков⁷. При этом сохранили свое влияние «старые», действовавшие, как минимум, на протяжении всего постсоветского периода. Иерархия этих угроз и рисков, что потребовало пересмотра среднесрочных и долгосрочных прогнозов и конфликтологических сценариев развития исследуемых макрорегионов⁸.

Поэтому одним из актуальных аспектов современного геополитического процесса в России, если касаться непосредственно ее южной части и Прикаспийского региона, являются вопросы, связанные со стабильностью политической системы и проблемами этнополитической безопасности государства. Общеизвестно, что наиболее дестабилизирующим и конфликтогенным регионом во всем бывшем СССР оказался Кавказ, на территории которого возникали и до сих пор не полностью урегулированы противоречия, которые иногда разрастаются до военных конфликтов. К ним можно отнести нагорно-карабахский конфликт, грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты, которые оказывают негативное влияние на все соседние регионы, а в пределах или внутри России противоречия и террористические акты на Северном Кавказе. На данных территориях, как мы видим, не всегда готовы к межнациональному взаимодействию, компромиссам, изменениям этнического состава, а также принятию соответствующих политических решений для стабилизации положения. Все это требует компетентного анализа специалистов и выработки эффективных рекомендаций.

Почему Юг России вызывает наиболее этнополитическое напряжение и угрожает целостности государства, и именно Прикаспийский регион и Се-

верный Кавказ является наиболее дестабилизирующим? Дело в том, что одной из территорий, куда обращены взоры национальных интересов ведущих мировых держав, является Каспийский регион. Он является важным стратегическим звеном между Севером и Югом — Россией и Персидским заливом — как источник снабжения нефтью и газом рынков Европы⁹. Последствиями таких международных глобальных процессов в немалой степени являются события в Ираке, периодически обостряющиеся отношения Исламской Республики Иран с США, военный конфликт Грузии с Россией и т.д. Обусловлено это главным образом и в первую очередь природными углеводородными ресурсами, которыми обладают прикаспийские государства, а также географическим положением региона, где пересекаются транспортные, торговые пути и само море с уникальными своими биоресурсами. Кроме этого, на данный геополитический фон накладывают свой отпечаток и те миграционные процессы, которые происходят в этом прикаспийском регионе, накапливая соответственно тот конфликтотенный потенциал, который в значительной степени может изменять геополитическую ситуацию в прикаспийских регионах в пользу некоторых заинтересованных государств¹⁰. На начало 2013 г., — поясняет ведущий финансовый аналитик «Калита Финанс» Алексей Вязовский, — в России по разным оценкам проживало до 10 млн незаконных мигрантов в основном из республик Средней Азии и Закавказья (и около 2 млн законных), из года в год число мигрантов растет на 64%. «С одной стороны, дешевые рабочие руки удешевляют производство (особенно в сфере строительства, сфере услуг). С другой — межнациональный климат в России ухудшается и очевидным образом ухудшает инвестиционную привлекательность страны»¹¹.

Все эти негативные процессы косвенно или непосредственным образом касаются Юга России и Северного Кавказа. Кавказ в целом, как составляющая геополитики Каспийского региона, является территорией, за которую ведется острейшая борьба ведущих на мировой арене государств, т.к. кроме своих природных ресурсов, он является перекрестком цивилизаций, тем регионом, владение которым позволяет обеспечивать влияние на территории, выходящие за его пределы. Одновременно нестабильность на Северном Кавказе — это нестабильность на значительных евразийских пространствах не только России, но и других государств, которые многими нитями (в том числе этнокультурными) связаны со всем Кавказом¹².

Известно, что так называемые «горячие точки» существуют не только в различных регионах мира, в странах Ближнего Востока, в Северной Африке, они имеются и внутри России. Это, прежде всего — конфликтотенный Северный Кавказ, который имеет непосредственное отношение к Каспию (через Дагестан в Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Чечню и т.д.). Этот регион вызывает обеспокоенность и взрывоопасен по многим причинам, и прежде всего потому, что в регионе недостаточно развиты или вовсе отсутствуют современные демократические механизмы. Прежде

всего, не работают рыночные механизмы. Сегодня практически ощущается недостаток свободных СМИ, существуют серьезные проблемы с объективностью судов, постоянно возникают проблемы с соблюдением прав человека, отмечается высокий уровень клановости и коррупции и т.д.

Поэтому вполне логично, что этнополитические конфликты, особенно на Северном Кавказе, показывают, прежде всего, состояние и степень устойчивости существующей политической системы. Однако надо иметь в виду, что позитивные функции конфликта (сигнальная и др.) выполняют, разумеется, не все конфликты, а лишь относящиеся к интересам, ценностям, идентичностям, не затрагивающим основ, на которых строятся отношения. По Л. Козеру, свободно структурированные группы и открытые общества, в целом допуская конфликты, создают защиту против тех из них, которые угрожают базовому консенсусу, и тем самым сводят к минимуму опасность разногласий, затрагивающих коренные ценности. Взаимосвязь антагонистических групп и пересечение конфликтов, нейтрализующих друг друга, в обществах этого типа интегрируют социальную систему в одно целое и таким образом предотвращают ее распад по одной линии раскола.

Если применить эти тезисы к Северному Кавказу, то наиболее трудным представляется выделение упомянутого выше базового консенсуса. Здесь наиболее очевидными и бесспорными являются такие ценности, как: территориальная целостность российского государства, его полиэтничность, религиозная толерантность, признание титульных наций в качестве государственно-образующих, русского языка в качестве государственного. Но в начале причиной возникновения большинства таких отдельных конфликтов, на первый взгляд, представляющих собой обычное столкновение интересов национальных групп, политических партий, групп влияния, общественных объединений, бывают частные случаи и определенные события. Однако затем с нарастанием всего имеющегося негатива это все более отражается на характере политической системы, проявляющейся в особенностях ее организации. Поэтому необходимо своевременно реагировать на такие конфликты, т.к. первоначально они (конфликтующая сторона) конечно же, не ставят вопрос ни о завоевании власти, ни о смене субъекта власти, а дают сигналы к изменению, корректировке основ организации политической системы, согласно современным процессам и их тенденциям глобализирующегося мира.

Мировой опыт показывает, что наличие такого системного политического конфликта угрожает существованию самой политической системы, как это наглядно видно из современной истории ряда балканских и ближневосточных государств (Югославия, Египет, Ливия, Сирия и др.). С другой стороны, этот фактор выявляет ту существенную причину, которая в то же время может быть источником развития и прогресса политической системы. В данном случае, если касаться геополитического положения России, то, несмотря на относительную стабильность в целом по стране, все же здесь на Юге России пока сохраняется вполне выраженный, высо-

кий уровень конфликтности, который требует своего разрешения¹³. В июне 2009 году основные его элементы были обозначены Д.А. Медведевым на расширенном совещании с членами Совета безопасности в Махачкале: масштабная коррупция, высокий уровень безработицы, крайне низкая эффективность региональных органов власти, преступная деятельность бандподполья, этноклановость, относительная бедность населения; «импортируемый» извне в пределы РФ экстремизм, критическая зависимость республик Северного Кавказа от дотаций федерального бюджета, низкий уровень промышленного производства, отставание качества жизни в республиках от среднероссийского показателя. На сегодняшний день данный проблемный перечень сохранился в полном объеме. Как свидетельствует С.Я. Суций, «речь идет именно о комплексе — многосоставном, внутренне взаимоувязанном «пучке» проблем. Анализу каждой из них в настоящее время посвящено огромное множество исследований. Причем в современной научно-экспертной «кавказологии» хватает и работ, не только анализирующих ситуацию, сложившуюся в регионе, но и предлагающих более или менее развернутые пакеты рекомендаций по ее исправлению»¹⁴.

Озабоченность таким состоянием дел на Северном Кавказе не раз высказывал глава государства (ежегодное Послание Федеральному Собранию в ноябре 2009 года)¹⁵. В результате сегодня предпринимаются определенные меры по стабилизации положения в этом регионе (образование Северо-Кавказского федерального округа, дополнительное финансирование и т.д.). Другой вопрос — насколько эффективны и рациональны принимаемые меры со стороны назначенного полномочного представителя Президента в отношении тех действий и решений руководителей этих регионов и вызовов, которые нам предъявляют сегодня экстремистские силы в СКФО. Однако на настоящий момент вследствие ухудшения социально-экономического положения, безработицы, коррупции и интенсивных миграционных потоков этнополитические конфликты в некоторых субъектах южного региона дошли уже до латентных войн (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария). Терроризм, как проявление крайней формы конфликта, который мы уже наблюдаем в этих республиках, стал постепенно перемещаться в центральные регионы России (Пятигорск, Буденновск, Ставрополь, Астрахань, Волгоград, Москва).

В настоящее время исследовательскими центрами, научным сообществом осуществляется анализ и прогнозирование этнополитических процессов, влияющих на положение России, ее геополитику, вырабатывается стратегия и позиция дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами на мировой политической арене. Актуальность данной проблемы объясняется обострившимися отношениями, как между государствами Каспийского региона, (например, в споре по разделу границ Каспийского моря и ее ресурсов), так и между мировыми державами, которые состязаются за контроль над ситуацией в этом регионе. Особенно большой интерес, как мы отмечаем, проявляется мировыми державами по

вопросам разработки углеводородных ресурсов, проведения транспортных коридоров с выходом в Индию, размещения военных баз на территориях прикаспийского региона¹⁶. Все это показывает на усиливающуюся тенденцию внешней угрозы политической стабильности России и необходимости определения способов их предупреждения и парирования с целью недопущения межгосударственных конфликтов.

Следует отметить то, что отечественные и зарубежные ученые и политические конфликтологи при создании своих аналитических моделей в качестве иллюстративного материала чаще всего используют примеры из истории этноконфликтов именно Северного и Южного Кавказа, Средней Азии, Персидского залива. Само по себе это подтверждает актуальность и проблемность данного региона, и указывает на то, что он постоянно находится в поле зрения зарубежной и отечественной научной мысли¹⁷.

Характеризуя сегодняшнее положение на Юге России с ее прикаспийским вектором направленности и в особенности на Северном Кавказе, отечественные и зарубежные исследователи, политологи и обществоведы, а также авторы доклада «Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment» Берлинского центра ОЭСР, сопоставляя аналогичные данные, делают свой прогноз и оценивают ее как длительную по временному характеру, а также крайне сложную, трудноразрешимую ситуацию, которую сразу изменить введением какого-либо решения или введением новой должности или поста невозможно¹⁸. Анализируя такие выводы, отмечается, что актуальное значение Каспийского региона, а следовательно, Юга России лежит не только в энергетической, транспортной и военно-политической плоскости, имеющее, естественно, и экономическое измерение, но оно актуально и в области гуманитарного направления, представляя собой как один из главных акторов в диалоге цивилизаций со своим менталитетом, традициями и толерантностью. Таким образом, прежние подходы, методы и имеющиеся рецепты анализа этнополитической безопасности государств, существующие в мировой практике, не позволяют давать эффективных рекомендаций в нормализации и улучшении ситуации в этих странах. В этом случае, меры силового давления на инициаторов и их субъектов, откуда исходят конфликтогенные факторы, вызовы и угрозы этнополитической безопасности, только лишь обостряют создавшееся положение¹⁹. В связи с этим одной из основных задач исследований должно быть изучение тех процессов, которые происходят в этом регионе, а именно, как влияет макроэкономика, политические процессы, культура, миграция и этноконфликты на геополитическое положение прикаспийских государств. Необходимо определить те вызовы и угрозы, которые могут повлиять на этнополитическую безопасность Юга России и дестабилизацию социально-политического развития нашего государства.

В одном из последних исследований главного научного сотрудника Института социально-экономических и гуманитарных исследований профессора С.Я. Сушеного из Южного научного центра РАН указывается, что в ка-

ждом крупном регионе страны такие обозначенные проблемы образуют свою сложную геометрию и, в частности, едва ли не самый многосоставной проблемный комплекс сложился именно на Северном Кавказе²⁰.

Таким образом, в результате такого подхода, взаимодействия и понимания важности данной проблемы основной задачей таких исследований должен являться анализ, систематизация и классификация угроз и вызовов, влияющих на систему этнополитической безопасности Юга России, стабилизацию ее политической системы.

Такие проекты должны ориентироваться, прежде всего, на конфликтологическую экспертизу социально-политических проблем, угроз и рисков региональной безопасности, что предполагает сосредоточение исследовательских усилий на следующих направлениях:

- диагностика затяжных региональных конфликтов, уточнение их динамики и фазы развития, эффективности принимаемых мер по их деэскалации;

- выявление основных линий социального напряжения и очагов потенциальных системных конфликтов на макрорегиональном уровне и уточнение конфликтологического облика региона;

- выявление и мониторинг региональных проблем и региональных ситуаций, повышающих вероятность социального и политического дисбаланса в функционировании регионального социума;

- факторный анализ социальной дезорганизации на макро- и субрегиональном уровнях, уточнение иерархии конфликтогенных факторов в Южном макрорегионе;

- уточнение конфликтологических сценариев развития Южного макрорегиона до конца первого десятилетия XXI века и перспективой на второе десятилетие;

- выявление и анализ эффективных действий органов государственной власти и местного самоуправления по предупреждению, конструктивной деэскалации и разрешению региональных, локальных и блоковых конфликтов;

- разработка предложений по организации регионального конфликт-менеджмента.

Прикаспийский вектор социально-политической стабильности российского государства, как нам представляется, вызывает наибольший интерес в исследовании таких проектов для формирования адекватной модели, учитывающей угрозы и вызовы в период глобализации, мирового экономического кризиса. При этом особое место, как правило, в этих исследованиях занимают южные и пограничные регионы с высоким уровнем этнополитических конфликтов, связанные с различными социально-экономическими факторами и их дифференциацией с целью упреждения и предотвращения конфликтогенных факторов. На основе изучения общетеоретической и научной базы теории и имеющейся практики аспектов этнополитической безопасности регионов, вызовов и угроз стабильности политической системы можно провести фундаментальный категориальный анализ проблемного поля исследования. В результате определяется тенденция того,

что развитие современных политических процессов в государствах сегодня обусловлено рядом факторов, которые связаны, прежде всего, с их закономерностями и общими глобализационными изменениями в мире.

¹ Газета.Ru. 25.02.2011 // www.rosbalt.ru.

² На Европу надвигается девятый вал арабской миграции // news.rambler.ru/9205259/.

³ *Алехина Ю.* Отказ от толерантности // Комсомольская правда. 05.02.2011.

⁴ Сценарий украинского развития // russiancouncil.ru/inner/?id_4=3053#top.

⁵ Украина не должна стать новой Берлинской стеной: Д. Браун, В. Ишингер, И. Иванов, С. Нанн, А. Ротфельд // russiancouncil.ru/inner/?id_4=3293#top.

⁶ См.: *Васецкий А.А.* Системные конфликты в процессе становления современной политической системы России. Диссертация ... доктора политический наук. СПб., 2008.

⁷ *Матишов Г.Г., Авксентьев В.А., Батиев Л.В.* Атлас социально-политических проблем угроз и рисков Юга России. Ростов-на-Дону, 2008. Т. 3; *Дмитриев А.В., Карабущенко П.Л., Клочков Г.В., Усманов Р.Х.* Юг России в миграционном и этноконфликтном измерениях. Астрахань, 2010.

⁸ *Суций С.Я.* Северный Кавказ: Реалии, проблемы, перспективы первой трети XXI века. М., 2013.

⁹ *Магомедов А.К., Никеров Р.Н.* Большой Каспий. Энергетическая геополитика и транзитные войны на этапах посткоммунизма. Ульяновск, 2010.

¹⁰ *Дмитриев А.В., Карабущенко П.Л., Усманов Р.Х.* Геополитика Каспийского региона (Взгляд из России). Астрахань, 2004.

¹¹ К 2020 году Россия потеряет 5,5 млн рабочих рук. 29.11.2012 // news.mail.ru/economics/11124728/?frommail=1.

¹² *Рубан Л.С.* Каспий — море проблем. М., 2003. С. 9–10.

¹³ См.: *Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Дмитриев А.В.* Региональная конфликтология: экспертное мнение. М., 2007.

¹⁴ *Суций С.Я.* Северный Кавказ: Реалии, проблемы, перспективы первой трети XXI века. М., 2013. С. 27.

¹⁵ ЮФО уменьшился на семь регионов Северного Кавказа // Комсомолец Каспия. № 6 (6547). 22.01.2010.

¹⁶ *Жильцов С.С., Зонн И.С.* США в погоне за Каспием. М., 2009; *Дмитриев А.В., Карабущенко П.Л., Усманов Р.Х.* Геополитика Каспийского региона (Взгляд из России). Астрахань, 2004; *Магомедов А.К., Никеров Р.Н.* Большой Каспий. Энергетическая геополитика и транзитные войны на этапах. Ульяновск, 2010; *Магомедов А.К.* От Большого Каспия до Сахалина. Характер и рубежи борьбы за энергоресурсы Северной Евразии на этапах посткоммунизма. Ульяновск, 2011.

¹⁷ *Nation C.* Russia, the United States and the Caucasus. Washington D.C.: US Army War College, The Strategic Studies Institute, February, 2007; *Cohen A.* U.S. Interests in Central Asia and the Caucasus: Challenges Ahead // Institute for Central Asian and Caucasian Studies [www.cac.org/journal/eng-02-2000/02.cohen.shtml].

¹⁸ «Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment». Информационный сервис ОЭСР. Берлинский центр ОЭСР. 23.08.2012 // dx.doi.org/10.1787/9789264177185-en.

¹⁹ *Усманов Р.Х.* Роль трубопроводных проектов и этнополитических конфликтов в формировании геополитической картины Кавказско-Каспийского региона [Материалы круглого стола] // Власть. № 10. 2011. С. 169–176

²⁰ *Суций С.Я.* Северный Кавказ: Реалии, проблемы, перспективы первой трети XXI века. М., 2013. С. 17.

Политика и образование
(на примере России)

Не только история России и ее государственности, но и история Московского государственного университета — ярчайшего представителя русской культуры — дают пример неразрывного, неизменного слияния религиозно-философских, художественно-поэтических и политико-правовых начал, которые только в своем единстве, как считал специалист по русскому и римскому праву, заведующий кафедрой права, декан юридического факультета и ректор Московского университета Фёдор Григорьевич (Теодор) Баузе (1752–1812), дают представление о праве вообще и русском праве в его плодотворном преломлении в частности.

Уже первые древнерусские памятники письменности теснейшим образом связаны с правом. Так, в «Повести Временных лет» кроме событий, связанных с призванием на княжение Рюрика, Синеуса, Трувора (чрезвычайно типичных для ранних этапов истории практически всех государств Европы), содержатся интереснейшие сведения о договорах первых русских князей. И это очень важно, поскольку показывает: уже к началу X в. нашими предками был выработан необходимый юридический терминологический аппарат для адекватного выражения сложнейших ситуаций международного права.

Само призвание руссов-нориков (варягов) славянами, вёсю, мерей, печорой, мордвой, кривичами и чудью как факт истории, которое проводилось дважды (на что почему-то не обращают внимание), говорит о договорных отношениях гражданского общества с властью и опровергает так называемую «норманнскую» теорию с ее установкой на несамостоятельный и заимствованный характер русской государственности.

По свидетельству немецкого ученого И.Ф.Г. Эверса (1781–1830), мнение которого трудно признать пристрастным, так как он во многом разделял «норманнскую» концепцию Миллера, Байера, Шлёцера и Карамзина, «Русская Правда» Ярослава Мудрого, сохранный и переданный нам «Повестью», «есть самый древнейший законодательный памятник, каким только могут хвалиться новейшие народы. Сохранившийся в сей Летописи отечественный Закон, который носит на себе следы глубочайшей древности, вероятно, есть первый писанный Закон по основании Государства, — памятник, коему подобного не может представить никакое другое государство»¹.

Если же говорить об историософии, как о философии, рассматривающей конечную суть истории во всем, что касается природы, человека и Бо-

га, то историософия России, явленная, прежде всего в Лаврентьевской летописи, т.е. «Повести временных лет», ставит свои главные задачи уже в самом названии этого ключевого древнего памятника русской письменности и культуры. «Временные», т.е. проходящие лета, перед которыми — Вечность. Соответственно, Россия начинается как некий проект с Крещения, т.е. идентичность, самотождество носит метафизический, или, если угодно, культуроцентрический характер. Это проект, которому хотя и дан шанс, благоволение, но пользующийся всем этим, действующий самостоятельно. С ошибками, свершениями, успехами и неудачами, движущийся из проходящего в вечное.

История России начинается социально-сакрального действия, т.е. Крещения, которое к тому же принимается народом добровольно: «Люди с радостью идяху»². Стремление к рассмотрению России через призму теории «последних времён» и предверия «Последнего Времени, или исхода» — исконная тема русской культуры. Особо ярко она прозвучала во время Куликовой битвы, в 1612 г., в 1812 г., в 1917 г., в 1941–1945 гг. Не менее актуальна она и сейчас.

В определениях русской религиозно-философской культурной традиции очень рано, точнее — с самого начала формирования осознается и достаточно определенно формулируется идеал единства Истины, Добра и Красоты. Одним из примеров подобного настроения, считает В.В. Сербиненко, является «Моление Даниила Заточника»³. Сразу отметим единосущие этих трех понятий в древнерусском языке — «неслиянных, неразлучных, нерожденных, неизменных» — если возможно применить терминологию новоникейцев... При этом «красота»⁴ — это и совершенный миропорядок. Не только онтологический, но и нравственный космос, цветущее, как именно зрелое время жизни. Для природы, для общества, для человека, наконец. То самое «акме», когда наступает гармония внешнего и внутреннего миров, когда человек, в отличие от старости, многое еще может, но в отличие от юности многое уже понимает. В этом, собственно, и состоит Красота, достигающая именно в человеке своего пика. Истина — как именно алетейя, вечное об этом свидетельство, которое в своем красноречивом варианте и будет Добром как доброглаголением, а в экзистенциально-эсхатологическом варианте, т.е. в стремлении жить в соответствии с исповеданием, — Мужеством, т.е. Доблестью и Благородством. Собственно говоря, одно из значений Добра, по-древнерусски, и есть Благородство. Отсюда и имя дяди Владимира святого — Добрыня — того самого былинного богатыря-аристократа, который (как и богатырь-крестыанин Илья Муромец и богатырь-священник Александр (сокращенно — Алексей) имел своего прототипа. Правда, не в XII в. (Илья Муромец) и не в XIII в. (Алёша Попович), а в X в. Вместе они никогда, естественно, не встречались, но народная память-традиция, ставящая, опять-таки, Правду характера и усматривающая в этом особую Красоту, Добро и Истину выше событийных свидетельств истории и юридической мелочности, распорядилась иначе.

Отметим особую связь аксиоматических и аксиологических начал в их фабулаторном, даже можно сказать драматическом сочетании на примерах самых разных типов русских философских дискурсов, проявляющих русскую идею в разных ее осуществлениях в культуре — от самых возвышенных до самых бытовых. Иногда даже — самых парадоксальных, художественно-поэтических и романтических. Даже фантастических. Хотя бы на примере философско-фантастического творчества председателя «Общества любомудрия» князя В.Ф. Одоевского. Далее следует вычленивать проблематику символического, точнее, философско-символического характера. Русская философия — очень культуросцентрична, художественна, поэтична: возьмем ли Г. Сковороду, В.С. Соловьёва или А.С. Хомякова (стихи которого очень ценил А.С. Пушкин) и многих, многих других. Русская художественная литература — философична, даже религиозна, и любому русскому писателю и поэту чин философа, за острый интерес к роковому, конечным вопросам, подходит вполне. В этом смысле известно: «Поэт в России — больше чем поэт», если договаривать, и означает: философ или священник — и исповедник, и духовник одновременно. Здесь особую роль играет патристика — и греческая, и русская — православная, ярко и с самого начала сочетавшая и сочетающая в себе и художественно-поэтические, и философско-метафизические начала. Именно как максимально парадоксальная, фабулаторная, драматическая, художественная и в плане философского осмысления, и в плане «житийного» обеспечения (в агиобиографическом плане) восточно-христианская традиция, в которой истина не только по «силе разума» или «по силе веры». А именно по «силе всей жизни», как это великолепно была сказано в свое время преп. Исааком Сириным⁵. И действительно, что может быть драматичнее, трагичнее, парадоксальнее, что более фантастично, чем христианство, которое «эллинам безумие, а иудеям — соблазн»? Видимо, только жизнь, спасению которой и посвящено христианство, с ее трагическими драмами существования и смерти, зла и добра, истины и лжи, уродства и красоты. И арена борьбы здесь, как говорил Ф.М. Достоевский, — сердце человеческое. Повторяю, повышенный интерес русской духовной (и религиозной, и так называемой светской, философско-художественной) культуры к этим сюжетам общеизвестен во всем мире.

Органическое духовное родство восточно-христианской православной патристики и русского подвижничества — в необходимости утверждения экзистенциально-личностных параметров культуры, в перихорезисе — взаимопроникновении Божественного и человеческого. И не только в виде категорий и «концептуального аппарата», но и в виде актуальной и современной практики самых разных (и святых, и девиантных) аспектов действующей культуры. Вплоть до ее социологического исследования именно во всесторонне «целостно-человеческом» виде. Как в высотах Духа, так и в формах отклоняющегося поведения людей.

Иначе такие свойства восточно-христианского православия, как экзистенциальность; сотериология; Богочеловечность-перихорезис в чеканных

формах учения о Троице, о неслитности, нераздельности, неразлучности, неизменности; а также всеединство-соборность или сретение; поэтичность-фабулаторность, т.е. акцент на нравственно-художественном, душевно-эмоциональном, «кардионостическом» или «кардиологическом» начале или в виде «мировоззрения в красках» или в виде «символической экзегезы» — неясны. Особо отметим при этом такие, свойственные именно православно-христианскому мировосприятию черты-традиции, как особое видение Благодати, свободы воли, телесности и греховности. А главное учение о познании — о бдении-бдительности, трезвении-трезвенности, как страховке от прелести, мнимости, обманчивой искусительности («виртуальности» — мнимости) ложного могущества зла в виду безнадежности, но истинной власти добра.

Известно, что проблема свободы воли, человеческой активности-апокатастазиса, в единстве сотворчества-синергии с Божественным милосердием очень глубоко и всесторонне исследовалась в восточно-христианской патристике. Особенно — каппадокийцами, особенно — Св. Григорием Нисским и Св. Василием Великим. Г.В. Флоровский писал в этой связи в своей известной, ставшей «канонической» работе «Восточные Отцы IV века»: «В учении о Богопознании всего ярче сказывается основная идея антропологии Св. Василия, — представление о человеке, как существе динамическом, становящемся, всегда находящемся в пути. Эта общая мысль всех трех каппадокийцев, — и у обоих Григориев (Св. Григорий Нисский и Св. Григорий Назианзин, он же Богослов. — *В.Ш.*) она выражена еще резче и настойчивее, чем у Св. Василия»⁶. И именно эти идеи находят особое преемство и сохранение в русской культуре. Примеров — множество. От фольклора («свита черна — да воля своя», «каждый человек сам себе убийца», «был бы сам хорош, так бы люди не испортили», «что живо, то и хитро») — до лучших произведений русской богословской мысли. Здесь бесспорны заслуги митрополита Антония (Храповицкого) (1864–1934). Речь идет о его магистерской диссертации «Единство человеческого существа». В русской культуре в ее высших проявлениях мы, как и в патристике, видим неприятие манихейской «теории двойственной истины», эстетизацию и легитимацию зла (например, в «динамической гносеологии» П.В. Киреевского) и, особенно, — арианской ереси, по сути, отрицающей Спасителя. Этим же отличается и несторианство. Как говорится, «Бог един, да молельщики не одинаковы».

Выдающийся русский философ, историк и культуролог — Лев Платонович Карсавин писал по этому поводу: «Утверждающее тварность Сына, тело которого создается на земле, арианство отрицает единство в Граде Божьем, в церкви и в государстве, Божеского и человеческого. Оно отрицает претворение государства в церковь и обосновывает самостоятельность государства, являясь ересью империи, не желающей раствориться в Граде Божьем на земле. С другой стороны, как видимо более чистое и понятное учение о едином, безначальном и истинном Боге, арианство являет

большой соблазн для примитивного сознания»⁷. По мнению Карсавина, германцам, стремившимся к земному государству и переоценивавшим человеческое, недоступна была та идея, до которой в тяжелых исканиях доходила уже античность, и принятие готами еще до 381 г. арианства было выражением их движения к обособлению от Божества. Вообще Карсавин считает христологию западной патристики (на примере Августина и Григория Великого) внешней и формальной, теургия которой часто заслоняет Преображение.

Особо отметим еще и вот какие черты патристики и русской религиозной мысли православия. Симон Азарьин, составитель сборника чудес преподобного Сергия Радонежского, полагал, что «Бог не хочет ложными чудесы прославляем быти»⁸. Здесь мы видим особое, как нигде проявившееся чрезвычайное внимание к «страховке» от мнимых чудес, от прелести, кажимости. Более того, мы видим предостережение от губительного наслаждения псевдосушностями, иллюзиями, «виртуальностью». Это существеннейшая черта истинного православного христианства. Она выражается в учении о бдительности, трезвении, трезвенности (нэписис – νήπις). В этом смысле истинное православие, истинная Россия — мало известны и чаще всего и истолковываются, и претворяются превратно. Даже теми, кто считает себя сторонниками, но не отдает отчета и не осознает глубин догматики и практики праведной жизни великих светочей и отцов православия. Восточно-христианская патристика и русское православие в его высотах — это единственная религиозная культура, отвергающая любую экстастику и экзальтацию. Это единственно трезвая религия⁹. Отсюда, кстати, частые упреки в суровости, ригоризме, схизматизме. И даже — «мракобесии», отвергающем светлый гуманизм-либерализм. Взамен предлагается и противниками и мнимыми сторонниками (в качестве предложений, или упреков, или «истинного истолкования» — не важно) заменить христоцентризм цезарепапизмом (или папоцезаризмом) и лаицизмом; Богоматеринство — матерщиной, а радость в душе — радостью в пьянстве, как, будто бы коренными чертами.

Но вспомним, как сокрушается о пьянстве и матерщине русского народа Богородица в том же русском богословском фольклоре духовных стихов «Голубиной книги»! Такова же позиция о. Иоанна Кронштадтского и В.Н. Лосского.

Да, «абсолютное» сознание активно в человеческом сознании (Чаадаев, даже Пирогов в его концепции «мирового разума»; отчасти епископ Никанор об «абсолютном разуме»). Но именно за человеком — бдительность в постоянном поиске черты, разделяющей Божественное от внебожественного, порядок «естественный» от «абсолютного». Постоянный контроль над выбором между благодатной и тёмной духовностью, свободой добра и свободой зла, положительным и отрицательным творчеством.

Возьмем и наиболее показательное в этом смысле произведение. Имеется в виду «Сокровище духовное, от мира собираемое» Св. Тихона Задонского.

Трезвенность, бдительность — не только страховка от порока, прелести ложных чудес, но и от самонадеянности, гордыни как основы кумиротворчества. Это известная эрзац-идеология псевдорелигиозности просвещенного интеллектуала-скептика — как во времена космополитического эллинизма, так и в нынешние времена либерального постмодерна и неоглобализма. Называется она — «концепция моего Бога», будто бы сочетающая достоинства многих конфессий и отмечающая всякие их несуразности. Но что на деле означает этот синкретизм? Я способен создавать и почитать по своему усмотрению основы вселенной (или богов). Поэтому на самом деле я поклоняюсь себе, своим прихотям, капризам. Кстати, самый худший и примитивный вид язычества в истории религии, поскольку исключает любые возможности общезначимости и межчеловеческого общения. Можно говорить о язычестве как о религии племён, народов, знаковых систем-символов, т.е. — политеизме (многобожии). Но это и религия великого «я», рядом с которым все — «ничто». Религия «зычного я» или «я зычного». Может быть, поэтому в Евангелии, и у Отцов восточного христианства мы так часто встречаем предостережения против «многоглаголанья язычников». Русский термин очень точен. «Зычный» — это и «громкий», «крикливый». Так, русский церковный автор отмечает в Толковой Псалтири XVII в.: «Зычныма (на поле глосса: кричными) лаяния церковь Божию защищаху». «Бысть сеча зла и преужасна от пушечного бою, и от пищального зыку звонкого, и от гласов, воплей, кричания... яко земли колебаться», — читаем мы в Воскресенской (1453) и Новгородской (1611) летописях. Итак, в духе Святого Писания и Патристики древнерусские авторы уже самим термином определяют и критически обрисовывают суть этого культурного явления: «громогласное (зычное) многоглаголанье о собственном я».

Такого рода «сверхчеловечество», «аристократизм» (об отсутствии которого в русской культуре часто сетуют многие авторы), «титанизм», «героический энтузиазм» и, я бы сказал, «нарциссическая предприимчивость-призвание» никогда не были свойственны и не находили устойчивого сохранения в традиционной русской культуре. Более того, они постоянно отторгаются: и в прошлом, и сейчас; и религиозными, и светскими авторами, утверждающими, что именно служение, обязанность выше права на льготу, а не наоборот. И с точки зрения благодати, и с точки зрения житейской выгоды. И в сотериологическом, и в экзистенциальном, и в социально-политическом, и в семейно-бытовом планах. Автор «Поучений» Владимир Мономах, опираясь на авторитет Отцов Церкви и, в частности, цитируя Василия Великого (одного из любимейших и чаще всего упоминаемых в России в религиозных и в светских сочинениях), в этом отношении очень показателен

Сейчас много говорят об интегральной идее, способной объединить народ в России. Выдвигается, соответственно, много проектов. Однако следовало бы обратиться к опыту истории. Если политическая элита в духе Владимира Мономаха, или Минина и Пожарского, или Иоанна III прояв-

ляет ярко выраженную волю к самоотверженному служению и борется с внешним врагом, эпидемиями, стихийными бедствиями, воровством в своей среде и т.д., и т.п. (что, собственно говоря, ей и надлежит делать, так сказать, в соответствии с профессиональными требованиями) не на словах, не лицемерно, а именно «всей силой жизни», то народ незамедлительно и с воодушевлением отзывался и отзывается на всякий нравственный поступок власти. В этом и ни в чем другом — суть «русской», «американской» (операция «Шейх»), «итальянской» (операция «Чистые руки») и любой другой национальной идеи. В России — у нее особый, скажем так — религиозно-«художественный» колорит и специфика. А не только экономоцентрический, или светско-юридический, или монархический, или аристократический, или либерально-демократический колорит (вариаций множество), как где-нибудь еще. В этом смысле особенность русской идеи, по мнению того же А.С. Хомякова, или В.С. Соловьёва, или С.С. Аверинцева — в православно-христианской культуре — и богословской, и письменной. В соответствии с ней, как это определено св. Василием Великим: «Духовность — это проявление Божественного в человеческом. В этом — самовыражение человека. Все остальное — самоиспращение». Отсюда русская идея — это определенный тип праведности или святости, общественная значимость, осуществимость и осуществленность, а также социологическая распространенность которого зависит от степени индивидуальной осуществленности в отдельной жизни того или иного современника, от его воли к подобному осуществлению.

Непреходящая, абсолютная ценность русской идеи, несмотря ни на что постоянно восстанавливаемая в самые трудные времена лучшими представителями русской культуры на примере личности Иисуса Христа, как нравственного водительства, определяется некоторыми догматическими особенностями. Одной из них (и наиболее существенной) является, по справедливому высказыванию В.Н. Лосского, вопрос о природе благодати.

Согласно западно-христианскому истолкованию, благодать или харизма — это своего рода воля, призвание или «печать» (божественная) к власти и политике (католицизм) или экономике (протестантизм). Причем точноного, я бы даже сказал, «талионно-бартерного» типа. В православии харизма («радость») — это и есть радость от непосредственного общения с Богом, достигнутая, заработанная, заслуженная совокупно и поступком, и плотью и кровью (Запад, как справедливо писал Бердяев, подавлен идеей изначальной греховности плоти), и рациональной мыслью, и интуитивным прозрением. В этом смысле — это воля к бесконечному энергийному потоку, к соработничеству (синергии) с Богом в тяжком деле спасения, к самосовершенствованию (апокатастасису) в добре, красоте и радости, как следствиям этого соработничества. Собственно, «харизма» — «дар», а «харис» («грация» по-лат.) — и есть «красота», «радость». Это свойство русской культуры представлялось, представляется и, вероятно (к сожалению!), еще долго будет представляться то «загадочной», то «парадоксаль-

ной», то «непонятной», а то и просто «абсурдно-опасной» и, как следствие, — «агрессивной», «оккупантской», «экспансионистской» и «империалистской» (т.к. «непонятной»). Все это следствия отвлеченно рационалистического и чисто светско-просветительского подходов к анализу русской идеи. Без внимания к традиции «духовной гигиены» эмоционального, интуитивного человеческого общения, идущей от отцов Восточного православного христианства; традиции, «кардионозиса» (сердцеведение) и «кардионозиса» (сердцеведы). А также их русских последователей — миротворцев, великих молитвенников, сторонников «внутреннего делания» (св. Феодосий Печерский, преп. Сергей Радонежский, св. Тихон Задонский, св. Серафим Саровский, преп. Савва Сторожевский и др.) Эта традиция в большинстве случаев не учитывается разного рода исследователями русской культуры, политиками (Р. Пайпс, А. Валицкий, З. Бжезинский, Г. Киссинджер, А. Янов и др.) В результате — не только неадекватные пристрастные и предвзятые экспертные оценки русской культуры, но и неадекватные политические реакции и рекомендации.

В идеале русская идея выдвигает принцип гармонии всего достойного в человеческом естестве: и плоти, и чувства, и разума, и духа. И в этом тоже «соборность» и «симфония». Общие принципы «задушевности», «поэтичности» русской идеи как культуры «мыслящего сердца» позволяют по-новому взглянуть на творчество мыслителей, казалось бы противоположных по своим убеждениям. Особенно политическим. В этом смысле в русской идее — огромные резервы примирения, согласия, братолюбия и многих, и немногих, и отдельных.

Наиболее последовательно принципы «соборности», «сретения» разрабатывали (кроме А.С. Хомякова и уже названных) такие мыслители, как В.И. Несмелов, П.А. Флоренский, В.Н. Лосский, С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, П.И. Новгородцев и др.

Существует и конкретное воплощение этих принципов в жизни, хозяйственной практике, быту, искусстве, военном деле, литературе, науке и т.д. Об этом свидетельствуют такие неистребимые начала товарищеской самоорганизации — элементы гражданского общества (часто не замечаемые и недостаточно оцененные сторонниками теории «отсутствия гражданского общества в России» — а зря; как возможно отсутствие гражданского общества в условиях нынешнего периода ослабления государственной вертикальной власти в России?). Это казачий круг, земства, добровольные народные дружины, поселковые советы, артели, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, ополчения, «шабашники», кассы взаимопомощи, общества обманутых вкладчиков (переросших в банки и общества акционеров-вкладчиков), садоводческие товарищества (совершенно самостоятельные, автаркические организации, существующие несмотря ни на что и до сих пор в максимально неблагоприятных условиях). Здесь и очереди за чем угодно и на что угодно (даже при полном удовлетворении спроса, но ради общения), хороводы-тусовки, чрезвычайное, чрезмерное

обилие презентаций, застолий по поводу и без всякого повода (в том числе спонтанных — «на троих»).

А обращения, да еще с ласкательными флексиями, может, формальные, чужих людей друг к другу: «отец», «мать», «сыннок», «дочка», «земляк», «браток» (и это в уголовной среде!) — явление весьма показательное, почти уникальное, при всех, повторяю, соответствующих оговорках. Возникновение именно таких и никаких других наименований — уже показательно.

Показательна и конкретная практика, парадоксально сочетаемая с постоянным поиском интегральной («вселенской») красоты теории русских ученых и естествоиспытателей (школа В.И. Вернадского), и гуманитариев. Прежде всего это касается буддолога Ф.И. Щербатского, вообще русской школы востоковедения (начиная с Иакинфа Бичурина и Конрада Ленца и до Ю. Щуцкого, В. Лысенко, А. Лукьянова, В. Бурова, А. Кобзева и многих других); историка-византолога Ф.И. Успенского, вообще русского византийства; всего «государственного направления» в изучении русской истории (В.О. Ключевский, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.И. Сергеевич, М.Ф. Владимирский-Буданов и др.), фольклора и словесности (А.А. Шахматов, И.И. Срезневский, В.И. Даль и др.). «Безусловно, “русская идея” в своих истоках — это идея о вселенской перспективе, которая должна увенчаться установлением гармонии социальной во всем христианском мире, достижением органического единства церкви, государства и общества, Богочеловечества (В.С. Соловьёв)»¹⁰.

В русской культурной традиции — огромные резервы примирения, братолюбия, согласия и согласования поступков, позиций, идей больших и малых социальных и других общностей, политических объединений, отдельных людей. При всем кажущемся «идеализме» — это единственно возможное взаимоотношение людей, идей, государств. Любое революционное, «силовое», а не традиционное, эволюционное отношение к жизни — это утопия так называемого «здорового смысла», «суетная мудрость стада бесчисленна», к жизни никакого отношения не имеющая и отвлеченная от нее в пользу смерти. Рано или поздно утопии оборачиваются тяжкими наказаниями за человеческую самонадеянность и веру в единственно верные и все разрешающие учения, слова, рецепты, поступки и т.д. В этой связи особое развитие русской идеи — в творчестве А.С. Панарина. Стремление к рассмотрению истории России чрез призму теории «последних времен» и преддверия «Последнего Времени, или Исхода» — исконная, повторяю, тема русской культуры. Особо ярко она прозвучала в 1812 году, в который раз четко подтвердив мысль о том, что Православие — основа жизни России и в истории преходящей, и в истории вечной.

По Л.А. Тихомирову, реформа Петра I и после него — это попытка завоевания России европейской культурой, как, именно, «замена» — «вытеснение», а не «взаимодействие-дополнение» и «сосуществование». Нашествие Наполеона — лишь последняя проверка успеха этого предприятия и штрих в доказательстве этой версии, как именно успешной. Иначе нашествие просто

необъяснимо. В самом деле — что было надо Европе «дванадцати языков» в России, кроме закрепления и окончательного установления духовной экспансии военно-политическими средствами (опасность чего прекрасно понимал Александр Невский), в противном случае просто не ясно. Ведь о нефти и газе тогда еще не знали. Да и не было в них нужды. Сейчас эту традицию культурного экспансионизма, который вообще отрицает право России на культуру, продолжают последователи Наполеона — представители «ценностной политологии» — и не только во Франции. Они говорят: у России нет культурных ценностей, а есть биоресурсы и углеводороды. Это отсталая, второсортная страна. Поэтому она — энергетический агрессор, диктующий Западу свою волю... Все было бы так, если бы сами оппоненты России не имели к этим ресурсам никакого интереса и не пользовались ими. Другими словами — были бы «ангельского чина». Пока же потребление традиционных энергоресурсов только возрастает. И если не на получение альтернативных источников энергии, то на производство аппаратуры по производству этих альтернативных источников энергии... Получается плохо скрытое недоброжелательство-зависть вперемешку с гностическим лицемерием. А в основе всего этого — мечты о желательных захватах-конфискациях.

В этой связи хочется задаться следующим вопросом, обращенным к социологической науке: а каковы управленческие ресурсы государства в политике? Они таковы, что даже в современный кризисный период государство, как определенный социально-политический институт и, так сказать, определенный феномен культуры, сохраняло, сохраняет и будет сохранять (ничего сопоставимого рядом просто нет и, реально, не ожидается) свои объектно-статусные и функционально-ролевые позиции в социальных отношениях гражданского общества. И задача социолога — проследить прямые или косвенные звенья в «цепи приказов» государства в его руководстве гражданским обществом. А многочисленные эксперименты по созданию «безгосударственных устройств», как известно, пока ни к чему хорошему не привели и не приводят. И задача социолога состоит в том, чтобы проследить «длину» цепочки и количество составляющих ее звеньев в виде управленческих решений, исходящих именно от государства при появлении того или иного социального события. Причем государства — «своего»; или для него — «чужого». Если своего, то исследователь стоит на патриотических позициях. Если на рецепции чужого, то, несмотря на весь декларируемый с помощью псевдопатриотической риторики (допустим, религиозный, или антитоталитарный, или космополитический, или либерально-гуманистический пафос), — мыслитель, тем не менее — бесступник, «агент интересов», компрадор. И не важно, сознательно или бессознательно он лоббирует и работает в пользу приоритетов сначала информационного, а. затем и экономического, военно-политического превосходства другого государства.

Почему так происходит? Потому, что юридически давно уже стало аксиомой: если опыт был успешен где-то в других странах, то это еще не

значит, что он будет успешен в собственном краю. Возможно, его придется насаждать как инородное, чужое начало, преимущественно военно-административными средствами, другими словами — «завоевывать», и не важно, какая будет элита — «местная» или «пришлая», по сути, она будет только чужой. И это тот самый случай, против которого, как известно, предостерегал в свое время заведующий кафедрой теоретической политологии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.С. Панарин в книге с одноименным названием: «Народ без элиты»¹¹.

А вот что писал на этот счет другой представитель Московского университета, выходец из Германии (по происхождению — немец), а затем, профессор, заведующий кафедрой права, потом — декан нравственно-политического факультета и ректор Московского университета Теодор Баузе (1752–1812). Сам он себя называл Фёдором Григорьевичем. Так вот, незадолго до нашего события 1812 года он утверждал следующее в своей речи, посвященной тогдашней элите России. По его мнению, любое перенесение, в частности, на русскую почву целиком западного (например, немецкого) правосознания даже с самыми благими намерениями будет весьма опасным. В лучшем случае — бесполезным делом. Необходимо создавать, считал Баузе, самостоятельную, как именно стоящую на отечественной прецедентно-нормативной и институциональной почве, на основании именно русской культуры, философию права. Еще точнее — именно «иерополитику»¹² (так можно было бы назвать то, что можно обозначить и как «историософию права»). Вот эта-то философия политики и права и помогла бы объяснить сходства и различия русской жизни сравнительно с западноевропейской¹³. На таких же позициях стоял известный русский юрист, специалист, кстати, по римскому праву С.Е. Десницкий. Никакое понимание и последующее за ним истолкование вообще, а уж в политике тем более невозможно без образования: как процесса, и как института, и как определенной ролевой позиции в виде определенного «образа» (предваряющего представления о должном), который несет или не несет политика, и у которого есть определенные последствия в виде «подобий». Собственно говоря, только в этом случае может существовать управление, политика.

В качестве ключевого тезиса данного рассмотрения проблемы предлагается следующая установка образование — это важнейший, эффективнейший и наиболее действенный инструмент управления, существующий в распоряжении государственной власти. По сути, это синоним основной функции государства — публично-правовое согласование интересов. Т.е. понимание и истолкование интересов гражданского общества в виде разных его слоев и сословий. И собственных (власти) способностей к подобному рода согласованию. Поэтому образование государства, образование (как институт) в государстве в виде образования-воспроизводства государством своих граждан с помощью социальной политики, кстати, и физическое, и умственное в области здравоохранения, науки, того же образования и культуры, — дело не разовое, одномоментное, а процессуальное, динамическое в своей, так сказать протяжен-

ности и постоянное в своем к нему отношении со стороны государства. Это непрестанное внесение и несение Определённого Образа (оставим в стороне эвфемизм-новояз на уровне канцелярита — «имидж») страны как ее ролевой функции. По-русски, функция — «служба» или «тягло». Как говорили в старину — «государево тягло». Но не только это. Не будем забывать и о других образах. Образе мысли, образе жизни, образе поведения, образе действий, образе нравственных и психоэмоциональных переживаний, образе волеизъявлений, Образе духовных прозрений — Интуиций, как тоже определенной Схеме (что и означает по-греч. Образ), наконец! Нельзя к тому уже забывать и про телесный Образ, утратить который в своем подобии, как известно, — тяжкий грех.

Что-то в этой связи государство «тянет» само, непосредственно. Для чего-то создает благоприятную обстановку, чтобы «тянули» другие. Например, наука, высшая школа, Церковь, народное хозяйство, гражданская самоорганизация в виде определенной культурной традиции. И действительно — не дело госслужащих стоять у станка, пахать землю, писать научные трактаты или читать проповеди-назидания. Лучше, если в своей управленческой деятельности они создают благоприятные координационно-организационные, мотивационные, кадровые, информационные и представительские условия контроля, при которых гражданскому обществу всегда понятно (а потому и подконтрольно) — кто, за что и на какой период времени несет юридическую ответственность за политическое решение.

Что касается культурных традиций, того или иного обычая («нрава»), то вслед за Аристотелем как раз и назовем традицию-обычай «этосом» — мыслительным Образом, нравом, пользующимся благорасположенностью и потому распространенным среди того или иного народа. Этос = фронеzis + аретэ + евнайя, т.е. Образ народа и государства = мышлению + нравственности, проявленным и одобренным народом в согласии. В том числе и в том, что народ и власть будут находиться (с молчаливого, начертанного прежде всего в сердцах, а не только и не столько на бумаге, согласия, как в Англии, или в Конституции на бумаге, как во многих других странах) в легитимно-интеллигентных отношениях, хотя бы на какой-то период времени. Вообще, отметим первенство в образовании (с точки зрения воспитания устойчивых навыков творчества) именно устной, мнемонической традиции. Если речь идет о воспитании «творческих генераторов инновационного знания», то, как показывает опыт философско-религиозной мысли в Греции, Византии, Руси, Индии и опыт подготовки физиков-теоретиков в СССР, первенство устной традиции передачи знания, роль личностей учителя и ученика приоритетно. Если нужен навык исполнительного повтора чиновника-делопроизводителя, канцелярского служащего, то тогда на повестке дня, конечно же, письменная, литеральная традиция с ее анкетами и тестами. Об этом ярко свидетельствует китайская культурно-педагогическая традиция. Письменное знание, как говорил Сократ, каким бы умным оно ни было, всегда свидетельствует об одном и том же.

В этой связи интересной представляется политика Россия. Во-первых, потому, что это наша страна и ее эмпирическая выборка ближе, понятней, а потому и более доступна для политологического истолкования. Во-вторых, здесь действительно была проявлена государственная политика, как именно образовательная политика, пройти мимо которой было бы непрослительно. Тем более что об этом существует много мифов, мизинтерпретаций и даже более того — подобная политика или неизвестна, или замалчивается, а то и просто отрицается в своем праве на существование.

В этом смысле примечательно, например, то, что же действительно имелось в виду, как понимать и как истолковывать известную идеологему-триаду министра народного просвещения, графа С.С. Уварова: «Православие, самодержавие, народность». И то, как и какой Образ тянуло, воспроизводило русское государство в своей политико-правовой традиции.

Прежде всего, отметим, свобода и открытость русского образования вообще и роль Церкви по отношению у образованию в частности, по крайней мере, в «земский», т.е. «до-московский» (по М.Ф. Владимирскому-Буданову) и, добавим, в «до-киевско-могилянский» периоды заключалась, прежде всего, в приоритетном направлении ее деятельности. Она касалась, прежде всего, духовного окормления паствы. Образование ни в коем случае не было результатом (прямым или косвенным) имущественных споров епископата со светскими властителями по поводу движимости или недвижимости. Как это было, например, между Вестминстером и Ватиканом. Это принципиальная черта русского образования: образование не входило в юридическую зону ответственности Церкви как социального института.

Ни в церковном уставе Владимира или Ярослава Мудрого, ни в одном из семи ярлыков, данных татаро-монгольскими ханами русскому духовенству и ни в одной из грамот, впоследствии жалованных князьями духовным властям и монастырям, нигде нет никаких сведений о школах или училищах, об учителях или учениках¹⁴. В то же время, в каждом из упомянутых законодательных актов подробно прописаны все лица, хоть как-то причастные к составу церковного суда и управления: от нищих и больных до крестьян и мастеров. Видимо, сюда не входили никакие училища с принадлежащими им лицами. И не входили потому, что не составляли предмета церковного управления, образуя порой собою лишь чисто светские и вполне народные (с издержками свободы, как пишет П.В. Знаменский в «Истории Русской Церкви», вплоть до язычества) мирские установления, не имевшие права на ханские привилегии или княжеские льготы и существовавшие и действовавшие самостоятельно, по силе внутренней жизни гражданского общества.

Второй период образования в России, по П.Ф. Каптереву, — государственный, до эпохи Александра II. А в политическом смысле — до отмены крепостного права. В это время «заведывание делом народного образования взяло в свои руки государство, оттеснив церковь не только на второй, но даже и на третий план»¹⁵. В этом плане любопытна точка зрения К.Д. Ушинского, при-

водимая П.Ф. Каптеревым: «После февральской революции (подразумевается освобождение крестьян от крепостной зависимости 19 февраля 1861 г.) наши сановитые педагоги не шутя поговаривали о том, как бы оставить одни технические заведения в России, готовить инженеров, моряков, офицеров и даже астрономов, потому что и астрономия может придать нам ученый блеск за границей, и вовсе не готовить политиков, философствующих юристов, публицистов и тому подобных ненужных и беспокойных людей». Известно, как министр народного просвещения князь Ширинский-Шихматов мотивировал запрет на преподавание философии в Московском университете: «Польза сомнительна, а вред очевиден». Преобладающая государственность в сфере образования приводила, по оценке П.Ф. Каптерева, в качестве своего логического продолжения к отсутствию общеобразовательной направленности школы. Однако, по мнению М.Н. Костиковой, этот период русского образования вряд ли столь однороден и бесцветен, как характеризует его П.Ф. Каптерев. По ее мнению, в 30-е гг. концептуально оформляется дальнейшая идеология русского образования, сохранившая свое значение до 1917 г. и выраженная известной триадой: «православие, самодержавие, народность». Неоднократно критикуемая за реакционность, предложенная другим министром народного просвещения С.С. Уваровым концептуальная формула имела важнейшее значение, как для развития русского образования, так и для укрепления русской государственности. Суть аргументации С.С. Уварова без упрощений и тенденциозности, предложенная в его отчете Его Императорскому Величеству за 1837 г., сводится к подчеркиванию совершенно определенного приоритета в духе святоотеческой христианской традиции: упор делается на первенстве именно нравственного воспитания в деле образования и более ничего. Уваров пишет об «оживлении» всех умственных сил, прежде всего, как об «охранении», т.е. именно либерально-консервативно! По крайней мере, та политическая составляющая, на которую обычно обращают внимание и подчеркивают более всего, менее всего имеется в виду: «При оживлении всех умственных сил охранять их течение в границах безопасного благоустройства, внушить юношеству, что на всех степенях общественной жизни умственное совершенствование без совершенствования нравственного — мечта и мечта пагубная; изгладить противоборство так называемого европейского образования с потребностями нашими, исцелить новейшее поколение от слепого и необдуманного пристрастия к поверхностному и к иноземному, распространяя в юных умах разумное уважение к отечественному и полное убеждение, что только приноровление общего, всемерного просвещения к нашему народному духу может принести истинные плоды всем и каждому»¹⁶.

Роль духовенства в сфере духовности образования в этот период (как, впрочем, и в любой другой) сводилась, как известно, советскими историками сугубо к «охранительно-надзорным» функциям. Но главное в русском образовании было другое — душепопечительство, душеустроительство. Именно об этом свидетельствуют сохранившиеся и сохраняющиеся

достоверные источники и примеры русской культуры, по которым (по вершинам, а не по пропастям) предлагал судить о сути культуры Д.С. Лихачёв. В этом смысле устное учительство проявлялось в виде любви и осуществленного идеала-образа нравственного совершенства. Здесь Антоний и Феодосий Печерские, и Сергей Радонежский, и Серафим Саровский, и Иоанн Кронштадтский и многие другие. Фактическое влияние на народ оказывали и оказывают именно искренние проповедники, учащие не только искренне, но и в соответствии с внутренним опытом и жизненной практикой. Прежде это были «учительствующие монахи», старцы, к которым обращались за жизненным советом люди всех возрастов и званий. Серафим Саровский, как известно, принимал каждого, а свой совет предварял приветствием «Радость моя!». Отмечу, что эта культурная традиция как своего рода народный дух и потребность-обычай не иссякла и до сих пор. Рядом исследователей подмечен очень важный факт. В последнее время в ряде социологических исследований и на практике политологических консультаций, в процессе выработки социально значимых технологий (правда, очень немногих — А.Д. Андреев, А.Д. Щербинин, Н.Г. Щербинина, П.Е. Бойко, А.Ю. Шутов и др.) анализ трансформационных процессов в России 90-х — начала 2000-х гг. показал следующее. Гражданское общество России самостоятельно, независимо от «зависимых и независимых» средств массовой информации и государства (несмотря на их амбиции) устанавливает для себя ориентиры деятельности и конституирует смысловое поле, в котором осуществляется выбор стратегии личностной самореализации, с которым должен считаться каждый здравомыслящий политик, рассчитывающий на эффект «обратной связи». Именно из миллионов связанных между собой таким единством-традицией самых простых повседневных действий, в конце концов, и формируются мощные социальные потоки, создающие явления исторического и политического порядка. Налицо интереснейший и поразительнейший факт, хотя и косвенный, а не прямой (если бы!), взаимосвязи политики с высокой культурой в виде фундаментальной науки и высшей школы. Речь идет о довольно устойчивом тренде реального формирования общественного мнения с продуктивным и предсказуемым результатом в электоральной сфере не через средства массовой информации (даже электронные!), т.е. анонимно, а напрямую, с помощью преподавателей кафедр вузов и ученых из исследовательских центров, другими словами, в режиме непосредственного речевого общения, если хотите, с помощью «проповедничества». К сожалению, роль Русской православной церкви, я думаю, не меньшая, в этом плане совершенно не изучена. Хотя именно в последнее время в этом направлении предпринимаются самые интенсивные усилия, направленные на разработку основ социальной концепции¹⁷, и т.д.

Итак, убеждать не только с помощью непротиворечивого теоретико-дедуктивного построения, т.е. интерпретативно, в виде анонимного Образа-абстракции, безразличного к отдельному человеку. И в этом смысле,

текста. И не утрачивать натурализмом административно-механического применения насилия, хотя бы и легитимного, но Образом физического воздействия — страха. А прежде всего, ролевым Образом действия, поведения, жизни, понимаемым и расшифровываемым тоже в виде текста. Но текста, свидетельствующего о любви, милосердии, сострадании к человеку, как конкретному носителю жизни.

А каковы здесь возможности у государства? Награды и наказания, наделения, разрешения, дозволения; и конфискации — осуждения, изъятия запрещения. Т.е. все, что связано с определением внешней свободы лиц и организаций. Но прежде всего — социальная политика в виде «милости» по отношению к своим гражданам. Именно социальная политика наилучшим образом и воспитывает-образовывает у граждан чувство патриотизма в виде осознания преимуществ собственного гражданства, а также, несомненно, делает понятным роль государства в жизни гражданского общества и, соответственно привлекает интерес все тех ее граждан к герменевтике — к возможностям истолкования государственных законов.

Особенно показательно, в этой связи, «Соборное уложение 1649 г.» царя Алексей Михайловича — документ небезынересный не только не только с музейно-археологической точки зрения чистого академического исследования узкого специалиста...

Считалось и считается, что Уложение — юридическая инициатива царя, который принял соответствующее решение по совету с боярской думой и с освященным собором. На самом деле, учреждение соответствующего приказа кн. Н.И. Одоевского, с определенными кодификационными целями, т.е. составление этого документа, состоялось не только «по государеву указу и отца его государева и богомольца святейшего Иосифа патриарха Московского и всея Руси, и приговору государевых бояр», но и «по челобитью стольников и стряпчих, и дворян Московских, и жильцов, (и) дворян и детей боярских всех городов, и иноземцев, и гостей, и гостиных (и) суконья сотни, и всех чинов торговых людей»¹⁸.

Другими словами, как установил русский исследователь П.П. Смирнов¹⁹, несомненным фактом является то, что инициатива Соборного уложения исходила не от правительства, но от земского собора. Иначе говоря — гражданского общества.

Особо следует сказать о вопросе, связанном с так называемой проблемой «заимствований». Тем более что на этом спекулируют те, кто хотел бы подчеркнуть несамостоятельную, или не суверенный характер страны с ее политической культурой. В данном случае, во всем, что касается России, таких рассуждений предостаточно.

Конечно же, одним из источников Уложения был Литовский статут. Но, как показал уже первый исследователь Уложения П. Строев, оно основано, прежде всего, на национальном родстве литовско-русского и московско-русского права²⁰. Вообще надо сказать, что законодатели той эпохи совсем не задавались вопросами авторского порядка и заимствовали законы отовсюду — так,

как им было удобно для эффективной политики. Законы брали и у соседей, но при одном условии: если они были органичными для гражданского общества собственной страны. Конечно же, изучение нравов собственного народа в этом случае становится главенствующей в управленческой деятельности. Нравятся они или нет — для политика эти «оценки» чужды по определению, т.к. «не-учёт» в этой сфере ведет к провалам. Но главная репрезентативная выборка, так сказать, «эмпирическая база исследования» — это сами обычаи-нравы собственного народа. В этом смысле никаких «заимствований» в политике в принципе быть не может. Все чуждое не привется, несмотря ни на какие усилия, все успешное — соответствует тому, что уже есть. Просто к минимуму сводятся исключения, несовершенства нравов — наказуются, а позитив — поощряется. В этом смысле Строев предпочитает говорить не о «заимствованиях», а о «научно-практическом по состоянию гражданского развития «пользовании» более четкими и уже имеющимися формулировками. Под которые, повторяем, подпадают уже наличествующие состояния гражданского общества.

Известно, что задачи князя Н.И. Одоевского были те же, что и у любого кодификатора во все времена: привести в систему существовавшие законоположения и, в то же время, выработать новые по вопросам, которые назрели и не терпят отлагательств. Но как он это делал? Тут особая, образная (как сказал бы Э. Дюркгейм — фабулаторная) — герменевтика. И в этой методологии законотворчества и законоистолкования ни о каких «заимствованиях» говорить просто не приходится. Ничего подобного ни в каких политических традициях не существовало. Да, пожалуй, и не существует.

Что здесь имеется в виду? Прежде чем ответить на этот вопрос, сначала зададимся еще одним вопросом. А о чём, собственно говоря, Соборное Уложение?

Как и всякое грамотное политико-правовое государственное постановление конституционного характера, оно имеет непосредственное касательство к социальной политике государства по отношению к собственным гражданам. Это узаконение об имущественных доходах населения, защищаемых государством, и гарантиях государства, обеспечивающих эту защиту и сохранение.

Быстрое и успешное выполнение этой сводной задачи приказом кн. Н.И. Одоевского оказалось возможным благодаря существованию в московских приказах так называемых Указных книг, представлявших собой готовые хронологические, частью даже систематизированные своды законоположений по отдельным ведомствам суда и управления.

Комиссия князя Одоевского черпала из этих (прежде всего) книг законодательный материал в готовом виде. В одной из расходных книг Поместного приказа встречается указание на то, что в июле и в августе 1648 г. подьячие этого приказа готовили для Уложения приказа боярина князя Н.И. Одоевского со товарищи «с указания книги государевы указы и боярские приговоры о поместных и вотчинных землях»²¹.

Вот на что обращают внимание такие исследователи, как С.Б. Веселовский, К.Д. Кавелин, М.Ф. Владимирский-Буданов, А.И. Филиппов и др.; и конечно же известный специалист в области русского права Фёдор Васильевич Тарановский: части Уложения не заимствованы из иноземных источников и не «составлены вновь» и, следовательно, были, по К.Д. Кавелину, результатом сводной работы, извлечены из записных книг приказов.

Указывая на непоследовательность (с современной, идущей от времён Просвещения, точки зрения) ряда статей, например, XVIII главы, отечественные исследователи в этой связи отмечают, что у людей XVII в. была несколько иная, отличная от современной, логика, именно образная и по подаче материала, и по изложению его сути; а их способ мышления отличался от нашего. Так, Ф.В. Тарановский пишет: «Нельзя оценивать порядок распределения материала в старых юридических памятниках с современной точки зрения, напротив, следует доискиваться в них собственной своеобразной систематики, отправляющейся от иных предпосылок и развивающейся в иной последовательности, чем это принято в наше время»²².

В основу толкования Уложения, по Ф.В. Тарановскому, «положено представление о конкретном, образном способе мышления древнего законодателя»²³.

Особо отметим при этом интересную особенность политико-правового мышления в виде того, что в современных естественных науках называют «эффектом обратной связи» мысли и действия. На него особо обращают внимание русские законодатели и имеют в виду, о чем бы ни шла речь в законах. Это преобладающий процессуальный характер памятников древнего права. Кстати, не только русского. Этот характер породил, согласно Фёдору Васильевичу, и своеобразие старой юридической систематики. Отправной точкой, для которой служило понятие судебного действия, последовательное движение которого определило собою порядок распределения правоположений как формального (процедуры), так и материального (источники, факты, события, институты) характера, обычно привлекавшихся в различные моменты судебной драмы. «Старая юридическая систематика, — пишет Ф.В. Тарановский, — покоилась на драматическом принципе и следовала хронологическому порядку раскрытия действия. Этого рода систему можно подметить в порядке распределения X главы Уложения “О суде”»²⁴.

Более того, драматическая, художественно-поэтическая, образная²⁵ система расположения законодательного материала в хронологическом порядке развития какого бы то ни было действия настолько, по-видимому, свойственна мышлению старых юристов, что применение ее выходит за пределы судебной драмы и встречается, как утверждает Ф.В. Тарановский, и в таких отделах законодательных памятников, которые не имеют ничего общего с судебным процессом.

Итак, что же несет, по Тарановскому, «образ»? Как конкретно проявляется образный способ мышления древнего законодателя²⁶? Попробуем

провести теоретическую реконструкцию этого политического стиля мышления и, соответственно, дать ему определенное истолкование.

Основой может послужить VII глава Уложения царя Алексея Михайловича. Начинается она с момента призыва служилого ополчения на службу, или, выражаясь современным языком, для прохождения действительной службы в армии (ст. 1), и в дальнейшем следует хронологическому движению начатого служебного действия. В ней последовательно предусматриваются различные, преимущественно уголовного характера (как и вообще в древности), случаи, которым могут подвергнуться ратные люди «идучи на государеву службу» (ст. 2–7), затем аналогичные и иные возможные случаи «на государеве службе» (ст. 8–29), и, наконец, преступные деяния, которые могут учинить ратные люди, «едучи з государевы службы» по домам²⁷ (ст. 30–32). При этом в расчет приняты и возможности оговора, клеветы или «ложное челобитье»²⁸, за которое тоже положено «жестокое наказание».

Те «насилства» со стороны ратных людей, о которых говорят последние три статьи, представляются фактически более возможными и более частыми после роспуска ополчения, когда дисциплина неизбежно падает, чем во время сбора в ожидании сурового режима военного времени.

Если, скажем, вслед за Ф.В. Тарановским и М.Ф. Владимирским-Будановым сравнивать VII гл. Уложения со II разделом Литовского статута, послужившим для нее, повторяем, если не источником, то, если можно так сказать, побудительным напоминанием-причиной, то следует признать, что «догматическая система изложения принята составителями Уложения самостоятельно, т.к. ее нет в соответственном разделе Статута»²⁹.

Кроме драматизма в качестве проявления Образа, в частности, социальной политики русского государства к своим гражданам следует отметить милость, т.е. заботу о собственных гражданах. И хотя в Уложении много жестокостей: предлагается «отдать в холопство», нещадно сечь и чинить наказания не только провинившимся, но и всем их домочадцам; однако! В то же время есть четкие и ясные регламентации по поводу «прав человека», попавшего при исполнении государственной службы в стесненное положение. Речь идет уже о VIII главе Уложения. А именно — об «искуплении пленных» и о конкретных финансово-административных (что очень важно!) механизмах исполнения этих прав («Полоняником на откуп збирати денги ежегод з городов сего Московского государства»), — с одной стороны. И о нравственно-мировоззренческих установках, обоснованных культурной традицией понимания Образа в политике и подтвержденных религиозным авторитетом: «И пророком рече Бог: Не пощади серебра человека ради. Христос же не токмо серебра, но и душу свою повелевает по братии положить. Больши бо тоя, рече, любве же никто не имать, аще кто душу свою положит по братии своей. И того ради Христова слова благочестивым царём и всем православным Христианом не токмо пленных окупати, но и душу свою за них положати достойно, да сторичные мзды во он день сподобятся»³⁰.

Особо следует сказать о таких качествах Образа политики русского государства по отношению к своим гражданам, опять-таки, несущим государственную службу, как различные меры, направленные на защиту их имущественных интересов. Особо здесь следует обратить внимание на главу XVI «О поместных землях», которая начинается статьей, устанавливающей размеры поместных окладов разных чинов служилых людей Московского государства. Сейчас этот вопрос совершенно не прозрачен.

Рассматривается судьба поместья не только в период трудоспособности его владельца, обеспечивающей возможность несения им государевой службы; но и в период потери трудоспособности, когда уже служить «не мочно», т.е. — в старости, дряхлости. Особо говорится о мене поместий, поскольку, конечно же, в этом — реальная экономическая защита прав человека.

Но дело, опять-таки, не только в этом. Особое внимание — именно к регламентации мены поместий, а не к владению, пользованию или, скажем, к определению самой природы поместного права вызвано вот чем. По мнению того же Ф.В. Тарановского: «все вполне соответствует характеру и духу своего времени. Подобно тому, как древний летописец не даёт статического описания окружающей его среды, а сообщает лишь факты, приводившие современную ему жизнь в движение, так и древний законодатель не определяет самой природы юридических отношений, а регламентирует только их движение. Вот почему в разбираемой нами части XVI главы обойдено молчанием статическое владение и пользование и говорится только о динамическом распоряжении, каковое по отношению к поместьям допускалось единственно в виде мены»³¹. Другими словами, речь идет о динамическом характере Образа и человека в политике и Образа политики, направленной к человеку.

При этом устанавливается прожиточный оклад — прожиток из поместий, оставшихся не только от отставленных людей, т.е. мужей, отцов «выморочными»; но и вдов, и девок (дочерей).

Имеются в виду выморочные земли как в Московском уезде и в городах, так и на Московской Украине «из диких поль» (5-я часть). Это спорные земли на самой окраине литовско-русского и московско-русского владений между Днепром и Доном. При этом нынешний район Харькова, Воронежа — это Московская Украина. Заселяются эти места только с конца XVI в., а до этого они были пустынными. Сначала сюда переселяются именно западнорусские выходцы, т.к. в Польше в то время крепостное право было гораздо жестче, чем в Московии. Но юридическая фиксация в достоверном источнике «Украины» именно как географического, а не политического понятия, обозначающего некую территорию, — именно в Соборном уложении Алексея Михайловича — первая. Пишется же об этих спорных землях в связи с защитой имущественных интересов раскаявшихся тушинцев, гарантированной им государством за то, что они после Московского разорения «пришед под Москву» стояли против Литвы.

И все гарантируется государством «бесповоротно и неподвижно». Главное здесь условие — материальная доказуемость вотчинных прав, которые следует компенсировать по тем или иным причинам.

Итак, в чем же Образ, как он познается? — Через частное. Оказывается, что при столкновении с интересами частного лица государственная власть подчиняется общей гражданско-правовой норме, разграничивающей интересы частных лиц. Такое уподобление государства в гражданско-правовом обороте частному лицу знаменует собою принципиальное, можно сказать — конституционное признание государственной властью нерушимости гражданского права и неприкосновенность лежащей в его основе частной собственности.

Здесь можно сколь угодно много и долго говорить о том, что не следует переоценивать и предаваться иллюзиям. Но право в политике обладает неустрашимым свойством. Если что-то зафиксировано литерально, то это всегда фиксация существующего обычая. Любая фиксация предполагает не только возможную осуществимость нормы, но и ее осуществленность, постоянную употребляемость. При всех оговорках о средневековых жестокостях и несправии людей перед лицом власти имущих, о которых, как известно, тверской купец Афанасий Никитин писал, что «Россия — прекрасна, но ее бояре — немилостивы»; так вот, несмотря ни на что налицо и неоспоримо то, что в Уложении проявлен Образ политики в виде самоограничения государственной власти перед человеком (гражданским обществом), проистекающего из ее политики и собственного благоизволения, понимаемого в виде условия собственного благополучия. Для этого и устанавливаются специальные гарантии. А несоответствие законодательных определений социальной действительности в политике не может быть основанием того, чтобы и теоретически и практически отрицалось значение закона. Изучая эпоху — прошлую или современную, нельзя не изучать, показывать ее государственную политику в виде законов, которые нельзя ни исказить, ни, тем более, замалчивать. А несоответствия между законами и действительностью — характерны для любых эпох и для любых политических систем. При абсолютистских и тоталитарных режимах вообще становится невозможным соблюдение элитой своих же собственных законов — ни психологическое, ни политическое. В любом случае, для политолога интересна именно «степень, — как писал Ф.В. Тарановский, — уклонения» государственной власти от ею же самой признанных и установленных правовых принципов и законодательных определений. Как говорили в Древнем Риме совершенно в духе теории познания Платона, «незнание закона — не есть укор закону; нарушение закона — не есть укор закону; искажение закона — не есть укор закону; забвение закона — не есть укор закону; неисполнение закона — не есть укор закону». Другими словами, необеспеченность закона механизма реализации и потому слабая осуществимость закона, конечно же, «ослабляет» его значение, но не отменяет самого факта признания и последующего применения

соответствующих принципов закона. Исследователь обязательно должен иметь это в виду. Для того чтобы характеристика политико-правового состояния эпохи, ее понимания и истолкования была полной и объективной, необходимо, считал Ф.В. Тарановский, «указать, что, несмотря на всю неприглядность правовой действительности, законодательство все же содержало в себе признание государственной властью известных правовых принципов и вытекающие из этого признания некоторые правовые гарантии. Многократно и многообразно нарушаемые, принципы эти и гарантии все же когда-нибудь да соблюдались и соблюдались, надо полагать, не в виде исключения, а в большинстве случаев. Если предположить противное, то станет непонятным, как мог вообще существовать и преуспевать государственный строй, основанный на сплошном, так сказать, принципиальном бесправии. Историк не может и не должен поддерживать подобные отрицательно-утопические представления о прошлом»³². Добавим: или откровенно расистские.

Нельзя не согласиться с Фёдором Васильевичем: любое понимание-истолкование, прежде всего, связано с изучением репродуктивных способностей гражданского общества, гарантированных государством. Другими словами, как при фактическом бесправии держится государственный строй? Значит, явно или неявно, официально или латентно он все же удовлетворяет жизненным потребностям общества в определенную эпоху. Значит, здесь возможны формализации и рационализации — и того, что касается государственного управления, воли политической элиты; и того, что касается становления политико-правовой культуры, самосознания гражданского общества. Последнее, например, наиболее очевидно в идентификациях, в осознании обществом абсолютной самоценности человеческой личности и категоричности идеи права. А все это может быть понято и истолковано только как динамическое, процессуальное, постепенное начало — отдаляющееся или приближающееся к своей сердцевине, но всегда идентифицирующее, несмотря ни на какие отклонения, с некоторым представлением о совершенстве, идеальным типом, «Образом». Его-то понимание и истолкование — и в принципах, и в системной сопоставимости, согласуемости этих принципов, и в осуществлении (или отклонении, или вовсе неосуществлении на какой-то период) — важнейшая задача политологического дискурса. Если угодно — его, дискурса, понимание и истолкование.

¹ Эверс И.Ф.Г. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. СПб., 1833. С. 13.

² Повесть Временных Лет. 3-е изд. СПб., 2007. С. 53.

³ Сербиненко В.В. Русская философия. М., 2005. С. 15. Оценка совершенно справедливая, ибо Даниил Заточник как никто ёмко и целенаправленно посвятил этим темам специальное рассуждение, четко суммировав мысль о том, что «сердце умного укрепляется в теле его красотой и мудростью» (Древнерусская духовная литература. В 3 т. М., 2004. Т. 1. С. 207). Впрочем, трудно сказать, в каких памятниках великолепных, в том числе и философских, письменности русской культуры «золотого» века XI–XII вв., по мнению А.С. Хомякова, до

сих пор непревзойденного, так или иначе не затрагиваются эти темы. Собственно, по соображениям Добра, Истины и Красоты, как это засвидетельствовано Нестором-летописцем, как критериям и был произведен Россией религиозный выбор-рецепция наиболее органичного и уже свойственного ее собственной культуре заимствования Святоотеческого восточного христианства. И если о самых разных народах и культурах послы Владимира свидетельствуют: «Нъсть добр законъ их», а «красоты не видехомъ никояже», то с греками всё обстоит совершенно иначе. Их религия именно созвучна и предрасположена собственным предпочтениям выбирающих: «И придохомъ же в Греки, и ведоша ны, идеже служатъ Богу своему, и не свьмы, на небъ ли есмы были, ли на земли: нъсть бо на земли такого вида ли красоты такая, и не доумьем бо сказать; токмо то вьмы, яко ондѣ Богъ с челоуьки пребываетъ и есть служба их паче всѣхъ стран. Мы убо не можемъ забыти красоты тоя, всяк бо человек, аще вкусить сладка, последи горести не принимаетъ, тако и мы не имамъ еде бытии». Отведавшее же боляре рекоша: «Аще бы лих закон греческий, то не бы баба твоя прияла, Ольга, яже бе мудрейши всех человек» (Повесть временных лет. СПб., 2007. С. 49). Для Илариона Киевского добрыми свидетельствами в познании Истины являются сама Церковь, а также добронравие сына Владимира князя — Георгия (Древнерусская литература. Т. 1. С. 53). Что касается Кирилла Туровского, то выдвигается мнение, что в его лице «ученики» в некотором отношении даже превосшли «учителей». Если сравнивать тексты Кирилла Туровского и святых, как восточных, так и западных, «то получится, что в тексте, подписанном Кириллом Туровским, моление выглядит красочнее, эмоциональнее, в нем больше эпитетов, определений, метафор. Кажется, что до упоминания Василия Великого тексты стилистически ничем не отличаются, а по отношению к Григорию Богослову уже определяется развернутое определение, в других молитвах не встречающееся «богопустого источника напоившего весь мир спаса нашего учения святого Григория Богослова». С такими же развёрнутыми определениями молящийся обращается и к Николаю Чудотворцу, и к Иоанну Златоусту, и к Феодосию Печерскому» (Рогачевская Е.Б. Цикл молитв Кирилла Туровского. Тексты и исследования. М., 1999. С. 28–29). И даже если предположить, считает Е.Б. Рогачевская, что никакого реального Кирилла Туровского не было, «нам представляется, что взгляд на творчество «русского Златоуста» как на «отца русской церкви» не может не оказаться плодотворным» (Рогачевская Е.Б. Цикл молитв Кирилла Туровского. Тексты и исследования. С. 25).

⁴ Именно так, как «всю красоту небесную» (современный вариант — «всё воинство небесное») (Втор. 4: 19), предлагается рассматривать космос в древнерусском варианте перевода Библии.

⁵ Особое, отличное от светского сочетание аксиологии и аксиоматики в мире религиозного опыта преп. Сирин видел в следующем: «Утверждение же веры в Бога не то, что здравое исповедание, хотя оно и мать веры; напротив того, душа видит истину Божию по силе жизни» (преп. Исаак Сирин. Слово 30. Об образе молитвы и прочем, необходимо потребном для всегдашнего памятования и во многих отношениях полезном, если сохранит это читающий с рассуждением // Преп. Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 2007. С. 250).

⁶ Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века. М., 1992. С. 74.

⁷ Карсавин Л.П. Культура средних веков. Киев, 1995. С. 32.

⁸ Цит. по: Федотов Г.П. Православие и историческая критика // Вопросы философии. 1990. № 8. С. 151.

⁹ Как отмечал, повторяю, весьма значимый, по совершенно справедливому мнению В.В. Сербиненко, для русской культуры Даниил Заточник: «Очи мудрых желают блага, а глупого — пира в доме» (Древнерусская духовная литература XI–XII вв.: В 3 т. М., 2004. Т. 1. С. 212).

¹⁰ Коваленко В.И., Моцелков Е.Н. Российская государственность: идеология и самосознание народа // Вестник МГУ. Серия 12. 1993. № 2. С. 4.

¹¹ Панарин А.С. Народ без элиты. М., 2000.

¹² Напомню, что первая, в плане источниковедения, опубликованная в России книга по философии с точки зрения дисциплинарной направленности и аутентичности — это: «Ифика («этика». — В.Ш.), иерополитика, или Философия нравоучительная преподобления, изъяснена к наставлению и пользе юным» Афанасия Милославского, архимандрита Печерского. Киев, 1712.

¹³ Подробнее см.: Баузе Т. Слово о юриспруденции, методах ее изучения и преподавания // Избранные труды профессоров нравственно-политического отделения Московского университета. М., 2010. С. 19.

- ¹⁴ Памятники русского права. Вып. 1–7. М., 1955. С. 6.
- ¹⁵ Кантерев П.Ф. Общий ход развития русской педагогики и ее главные периоды // *Кантерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения*. М., 1982. С. 262.
- ¹⁶ Общий отчет, представленный Его Императорскому Величеству по Министерству Народного Просвещения за 1837 год. СПб., 1838. С. 146.
- ¹⁷ См.: Основы социальной концепции Русской православной церкви («Круглый стол») // Социологические исследования. 2001. № 8.
- ¹⁸ Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004.
- ¹⁹ Смирнов П.П. О начале Уложения и Земского собора 1648–1649 гг. // Журнал Министерства народного просвещения. 1913. Сентябрь.
- ²⁰ Строев В. Историко-юридическое исследование уложения, изданного Царем Алексеем Михайловичем в 1649 г. СПб, 1833. С. 27–29.
- ²¹ Расходные книги и столпы Поместного приказа 1626–1659 гг. М., 1910. 1. С. 135,139.
- ²² Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004. С. 215.
- ²³ Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004. С. 120.
- ²⁴ Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004. С. 116.
- ²⁵ Подробнее об этом см.: Шамиурин В.И. Традиция кардиогагнозиса в русской культуре // Социологический журнал. 1995. № 4.
- ²⁶ Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004. С. 120.
- ²⁷ Соборное Уложение 1649 г. Текст. Комментарии. Л., 1987. С. 27.
- ²⁸ Соборное Уложение 1649 г. Текст. Комментарии. Л., 1987. С. 25.
- ²⁹ Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004. С. 121.
- ³⁰ Соборное Уложение 1649 г. Текст. Комментарии. Л., 1987. С. 28.
- ³¹ Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004. С. 131.
- ³² Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004. С. 147.

Государство
как социальный институт

В современной научной литературе встречаются различные трактовки социальных институтов, нет и единой точки зрения на их количество. Остановимся на выделении четырех социальных институтов в соответствии с четырьмя их функциями по схеме аналогичной схеме Парсонса. Можно выделить следующие социальные институты: **церковь (религия), государство (политика), семья (экономика) и криминал (экология)**¹.

ТАБЛИЦА 1. *Представители социальных 4 институтов*

Церковь	Государство	Семья	Криминал
монах	солдат	торговец	преступник

Государство как социальный институт находится между церковью и семьей, духовными ценностями и материальными выгодами. Оно вынуждено метаться, ища поддержки то справа, то слева. Но церковь и экономика настолько расходятся по своей внутренней организации, что примирить их порой бывает сложно, поэтому государство, которое нуждается как в духовной, так и в экономической поддержке, постоянно вынуждено делать «шпагат», искать компромиссы, в каждой конкретной ситуации жертвуя то одним, то другим.

Если церковь интересуется загробная жизнь, «жизнь после смерти», то государство живет в земном мире и по своей сути имеет светскую природу². По отношению к церкви государство обладает существенной спецификой, хотя есть и общие черты: иерархическая структура, большая роль мужского начала, чинопочитание, единая символика и т.д. Государство, как и церковь, являются консервативными социальными институтами³.

В политике любого государства можно разглядеть две партии, которые борются между собой, поскольку имеют разные приоритеты. Для одних важна поддержка церкви, для других — развитие экономики. Признаком консервативной политики является приоритет религиозных ценностей, в то время как для либеральной политики приоритетом является развитие экономики и «рынка».

Эту дилемму можно проецировать и на социальные институты общества, тогда получается, что для государства приоритетом может стать либо церковь,

либо экономика⁴. Консерватизм борется за сохранение традиционных, исторически сложившихся основ социальной системы, отстаивает традиционный церковный и государственный порядок. Консерватизм стремится придать общественным отношениям стабильность, укрепить роль и влияние церкви в обществе, стремится к усилению мощи государства и дееспособности армии и, соответственно, противодействию секуляризации общества, чрезмерному расширению самоуправления, пропаганде пацифизма и демократии.

Общество не может существовать без политической сферы, без государства. Некоторые исследователи сравнивают государство со скелетом в организме, на котором основаны все другие сферы. Известно также, что когда государство проходит полосу кризиса, то обязательно наступает состояние, напоминающее собой гражданскую войну.

Макс Вебер считал, что сущность государства состоит в монополии на физическое насилие, поэтому многие анархически настроенные авторы часто упрекают государство в насилии над личностью, ограничении ее свободы. Но никакое общество не может предоставить своим членам полной свободы, поэтому мечтания об абсолютной свободе личности всегда останутся утопиями.

Более того, задача политической сферы и государства как основного политического института как раз и состоит в том, чтобы не дать обществу «рассеяться», распасться на части. Эта основная задача государства делает политику делом «серьезным», связанным с угрозой для жизни. Суровость государства и даже его «свирепость» являются условием того, что политическое единство общества, которое начинают ценить только тогда, когда оно исчезает, будет сохраняться, несмотря на существующие всегда центробежные силы.

Живя в государстве, люди делегируют насилие властным структурам, сами же не могут его применять, поэтому проблема свободы и насилия занимает значительное место в политологической литературе. Особенно не любят государственное насилие представители анархических и других утопических теорий. Дело в том, что насилие составляет сущность государства, и если государство не будет его применять, не будет наказывать, оно быстро переродится и прекратит свое существование⁵.

Государство по определению должно быть жестким, жестоким и даже свирепым⁶. В политике уважают сильного, но иногда не обязательно быть на самом деле сильным, достаточно казаться сильным. Иногда прибегают к демонстративному насилию для того, чтобы запугать врага. Слабые союзники также часто ищут поддержки и защиту у более сильного государства, поэтому ни в коем случае государство не должно показывать свою слабость и неспособность прибегнуть к крайним средствам.

Сердцевиной государства как социального института является армия, поэтому все воинские доблести и порядки являются одновременно государственнымными. Основной задачей государства является задача усиления армии, укрепления ее морального духа и совершенствование ее военного снаряжения. Моральный дух армии соответственно связан с духом патриотизма, понятием беззаветного служения отечеству⁷, обостренным пониманием чести.

Религия и Церковь

Многие социологи говорили о важности религии для жизни общества (Эмиль Дюркгейм), многие уделяли большое внимание в своем творчестве изучению различных религий (Макс Вебер). Но были и те, кто отрицал значение религии и считал ее второстепенным фактором существования общества (Карл Маркс).

В религиозной жизни важную роль играет вера в потусторонний мир и загробное «спасение»⁸, что позволяет преодолевать трудности земного бытия. Одновременно эта вера важна для мотивации поступков, соблюдения социальных норм. За определенными поступками закреплены соответствующие меры социального воздействия, вплоть до изгнания и казни. Религиозные наказания не заканчиваются со смертью человека, поэтому дают более сильную мотивацию, чем государственные.

Для политики важно различать три формы религиозных сообществ, которые предложил немецкий социолог Эрнст Трёльч. Он выделял *церковь*, *деноминацию* и *секту*. На начальном этапе развития общества важную роль играет церковь, которая охватывает почти все население. Затем происходит раскол внутри церкви на отдельные деноминации, когда можно говорить о наступлении «протестантизма». Если церковь всегда одна, то деноминаций, как правило, несколько, и они друг от друга отличаются какими-нибудь особенностями. В период распада общества важную роль начинают играть секты и отдельные религиозные культы. Их присутствует множество, и они могут быть представлены несколькими группами, которые настроены враждебно ко всему обществу.

Если для деноминаций характерен протест против основной церкви, отказ от института священства, рациональный выбор веры, то секты характеризуются скрытностью, жесткой внутренней дисциплиной, ориентацией на одну идею или принцип. В сектах, как правило, присутствует сильный лидер-гуру, который полностью подавляет волю своих последователей и является для них абсолютным авторитетом. Поэтому иногда говорят о так называемых «тоталитарных сектах». Жители современных городов в силу разобщенности и даже одиночества склонны поддаваться влиянию сект, поскольку общение внутри секты и их коллективный дух в определенной степени компенсирует недостатки их индивидуального образа жизни.

Часто люди, далекие от религиозной жизни, любят рассуждать о теологических вопросах, забывая о том, что верующие, участвуя в службах и религиозной жизни общины, получают и определенный тренинг в управлении своими чувствами и поведением. Благодаря исповеди они учатся самоконтролю и могут бороться со своими страстями, что безусловно помогает им в обыденной жизни, в выполнении ими своих социальных ролей.

Церковные ценности, как правило, направлены на поддержание государства и семьи. Церковь призывает подчиняться «земным властям» и соблю-

дать свои семейные обязанности, заботиться о воспитании детей. В церкви важно чинопочитание и уважение к вышестоящим авторитетам.

Так называемый «монашеский подвиг» дает простым людям пример для подражания и свидетельствует о необходимости бороться с такими грехами, как самолюбие, жадность, эгоизм, чревоугодие, гнев и т.д. Все эти грехи важны и для социальной жизни, поскольку они являются разрушительными для общества, и если каждый индивид не будет бороться с этими внутренними побуждениями, в обществе будут происходить бесконечные конфликты и внутренняя борьба.

Говоря о религиозной жизни, нельзя не отметить, что она важнее для каждого отдельного человека, чем жизнь государства. Об этом косвенно свидетельствует бесконечная борьба государства с сектами. Некоторые сектанты отказываются служить в армии, другие, несмотря на преследования со стороны государства, продолжают совершать свои человеконенавистнические культы.

Не зря в христианстве есть заповедь о том, что необходимо прежде всего «искать Царствия Божия», а все остальное приложится. То есть каждому верующему подобает в первую очередь думать о своем спасении, о спасении своей души, а все остальное, даже родственники и Родина, при этом уходят на второй план. В истории религии есть много примеров, подтверждающих эту истину.

Государство, как социальный институт, похожий на церковь, должно сотрудничать с ней на взаимовыгодной основе, опираться на нее, хотя ему порой невозможно избежать противоречий с различными церковными организациями.

Семья и экономика

Основатели социологии Огюст Конт и Герберт Спенсер уделяли большое внимание семье как важной ячейке общества. Они ставили ее в один ряд с церковью и государством. Спенсер называл ее «домашним институтом», играющим важную роль в процессе социализации личности. Конт считал, что ее задача воспитать в детях альтруизм, а ее основой является авторитет отца.

Для нас семья выступает третьим по значимости социальным институтом, после церкви и государства. Ее можно ассоциировать с экономикой. Дело в том, что Платон считал «третье сословие» или так называемое «гражданское общество» *производителями*. В деревне оно ассоциировалось с крестьянством и купечеством, а в городе оно было представлено буржуазной интеллигенцией и рабочим классом⁹. По Платону ни «философы», ни «воины» не имели права обзаводиться семьей. Ее имели только «производители».

Многие предприниматели и бизнесмены, желая иметь наследников для своего «дела», заводят семью, растят детей и наследуют им свое предприятие или другую свою собственность¹⁰. Вся частная экономика находится в семей-

ной собственности. В процессе приватизации государственная собственность перешла в частные руки и стала семейной, так что сегодня основная часть предприятий находится в семейных руках и в случае смерти владельца не становится собственностью государства, а наследуется ближайшими родственниками. Многие думают, что частными могут быть только предприятия мелкого и среднего бизнеса. Но часто крупные фирмы и международные компании также находятся в частных руках, если они имеют контрольный пакет акций. В.И. Ленин любил говорить о мелкой и крупной буржуазии¹¹.

Семью как социальный институт следует ассоциировать с так называемым «третьим сословием» — буржуазией, поэтому всегда, когда речь идет о чем-то «буржуазном», то это надо связывать не со всем обществом, а только с буржуазным классом торговцев и интеллигенцией, к которой следует относить всех работников умственного труда. Квалифицированных рабочих также следует относить к мелкой буржуазии и отличать их от пролетариев — «четвертого сословия» неквалифицированных рабочих, которые часто не имеют ни работы, ни семьи.

У разных народов существуют свои семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Важную роль для семьи играют религиозные нормы, регулирующие семейные отношения¹². Существование семьи регулируют и государственные законы. В России православная религия также определяет основы семейной жизни. Так запрещается брак между родственниками, не разрешается многоженство и многожество, осуждается супружеская неверность и т.д.

Большое количество разводов в современной России вызвано отчасти неправильной политикой государства по отношению к семье. Так, государство в семейном законодательстве встало на сторону женщины¹³, в то время как еще Огюст Конт говорил, что укрепить семью можно, только укрепляя авторитет отца. В России, например, сложилась традиция, что дети после развода остаются у матери, хотя мировой опыт предпочитает оставлять детей отцу. Еще больше проблем в российских семьях, где дети зачастую воспитываются в неполных семьях, появилось после внедрения так называемой ювенальной юстиции¹⁴.

Семья и экономика являются опорой государства, без которых оно не может существовать, поэтому государственная политика всегда должна быть направлена на поддержание этих социальных институтов, на укрепление семьи и развитие экономики.

Криминал как социальный институт

Если мы обратимся к Платону, то в его социальной стратификации присутствуют так называемые «трутни» — «бедняки с жалом». В некоторых переводах их называют «рабами». Что это за люди, чем они занимаются? Судя по описанию Платона — это преступники, пролетарии, деклассиро-

ванный элемент, низы общества, люди без определенного места жительства и занятий или, как сегодня бы сказали, «бомжи». Они вынуждены работать разнорабочими, но, как правило, они не занимаются общественно полезным трудом.

В социологической литературе часто, говоря о трех основных классах общества, забывают о четвертом сословии «городской массы» всевозможных бродяг и «свободных художников», которые раньше принадлежали к какому-нибудь из трех сословий, но «скатились вниз», деградировали в силу различных причин и теперь не могут нормально работать и зарабатывать себе средства на жизнь.

Этот сброд, где можно встретить и бывших представителей высших классов, обычно забывают или, по крайней мере, не выделяют в отдельный класс. Но если мы будем опираться на теорию Роберта Мертона о социальной «дисфункции», то в случае невыполнения тремя первыми социальными институтами (церковью, государством и семьей) своих функций приходит «четвертое сословие» и как бы замещает их, «восстанавливает социальную справедливость».

Особенностью «четвертого сословия» является то, что оно по своей сути асоциально и способствует разложению культурных норм и ценностей. При этом основным мотивом поведения «трутней» является месть представителям высших классов за свою несостоятельность, за невозможность вести нормальный образ жизни¹⁵.

Наиболее подходящим понятием для обозначения этого социального института является мир криминала. Юристы даже изучают целую науку «криминологию» — науку о девиантном и деликвентном поведении. Правда, в юридической литературе преступники на рассматриваются как целый класс или общественный слой со своими нормами и законами, или как они сами любят говорить, — «понятиями».

На самом деле существует огромная научная и художественная литература, описывающая особенности этого социального института¹⁶. В современной России создано большое количество романов, фильмов, сериалов, повествующих о жизни криминального мира. Плохо только, что часто преступники в них представлены как некие герои, борцы за справедливость и вообще добрые люди. Многие американские фильмы воспевают преступников, считают их примером для подражания. Здесь уместно еще раз напомнить, что этот социальный институт носит асоциальный характер, способствует подрыву устойчивого существования общества и связан с отклоняющимся поведением, преступностью, нарушением социальных норм, традиций, правил и государственных законов.

Социологи любят говорить о социализации как процессе усвоения социальных норм и правил поведения в данном конкретном обществе. Но нельзя забывать и о том, что возможен обратный процесс — процесс утери индивидами их личностных качеств, отход от своих принципов, когда люди сознательно идут на нарушение существующих норм и законов.

Для представителей данного социального института характерно то, что они сбиваются в стаи, банды и действуют совместно. Они не любят рыцарские дуэли и предпочитают нападать сзади, исподтишка или семеро на одного. Отчасти это связано с тем, что у каждого из них сформировался определенный комплекс неполноценности, который не позволяет им сразиться на равных в открытом бою.

Платон ясно показал, почему люди скатываются на преступный образ жизни. Причиной тому часто выступает потакание безудержным страстям и «вожделениям», желание наслаждаться и «брать от жизни все», не давая при этом ничего взамен, индивидуализм и эгоизм людей, нежелание считаться с интересами других членов общества. Пропагандируемое на Западе «общество потребления» и дикий индивидуализм также создают почву для всевозможного рода преступлений.

Наиболее однозной формой преступлений у мужчин является убийство, у женщин — проституция. Тем не менее последний вид преступлений в некоторых европейских странах легализован, как и употребление наркотиков, а работа киллера стала обычной профессией. Так же как и психические болезни не бывают отдельными, а присутствует, как правило, их «целый букет», так же и различные виды преступлений тесно переплетаются. Там, где есть воровство, там же могут быть преступления, связанные с наркотиками, алкоголизм, бродяжничество и т.д.

Учитывая асоциальную природу криминала, государство должно постоянно делать массу усилий для того, чтобы не допустить криминализации основных социальных институтов, которая способна привести к гибели общества и государства.

Карл Шмитт о соотношении государства и общества

Известный немецкий юрист Карл Шмитт (1888–1985), сопоставляя политику с религией и экономикой, приходит к выводу об относительной самостоятельности этих сфер. В каждой сфере имеются свои закономерности и принципы. Так, в экономической сфере речь идет о получении прибыли и оптимизации издержек, в религии главное — спасение души отдельного человека. В сфере политики речь всегда идет о борьбе за выживание, которая приводит к образованию коалиций и союзов, с одной стороны, и к войнам — с другой стороны. То есть политики должны всегда искать себе друзей, чтобы бороться со своими врагами.

Особое внимание Шмитт уделяет понятию врага, который, по его мнению, не обязательно должен быть плохой или некрасивый, но в силу того, что он враг, его следует уничтожить. Враг — «не конкурент и не противник, ненавидимый в силу чувства личной антипатии. Враг — это борющаяся совокупность людей, противостоящая другой совокупности»¹⁷. Речь не идет и о личной неприязни. Враг может оказаться вполне симпатичным

и добрым, но тем не менее в силу политических причин он должен быть уничтожен¹⁸. Политические проблемы могут возникнуть в любой сфере, если противоречия обостряются до такой степени, что люди готовы начать борьбу не на жизнь, а на смерть.

В отличие от экономической конкурентной борьбы, которая не связана с уничтожением людей, политические противоречия всегда ведут к военным конфликтам и к борьбе с внутренними врагами. В политических конфликтах часто вопрос стоит о том «кто — кого», и если врага не уничтожить, то он уничтожит тебя. Шмитт пишет: «Напрашивается трактовка врага как злого и безобразного... Морально злое, эстетически безобразное или экономически вредное само по себе еще не является врагом в политическом смысле. Морально доброе, эстетически прекрасное и экономически полезное не становится автоматически политическим другом»¹⁹.

Понятие врага всегда предполагает реальную возможность войны, которая может вестись как между политическими единицами, так и внутри политических единств (гражданская война). «Понятия «друг», «враг», «борьба» получают реальный смысл благодаря тому, что они связаны с возможностью физического убийства. Война следует из вражды, ибо эта последняя есть отрицание чужого бытия. Война есть только «крайняя реализация вражды».

Политический конфликт созревает тогда, когда люди начинают делиться на друзей и врагов. Выдающиеся политики являются как мастерами в дружбе, так и во вражде. Карл Шмитт считает, что любое политическое действие — это всегда боевое действие, а задача политиков состоит в том, чтобы в каждый момент вновь и вновь обращаться к вопросу о том, кто является другом, а кто является врагом. Можно сказать, что это их право и основная обязанность.

Определенная жесткость политики состоит в том, что в случае, если кто-то будет объявлен врагом, он должен быть готов к тому, что против него будут направлены все средства государственного принуждения.

Шмитт прослеживает эволюцию европейских политических форм через призму взаимодействия государства и общества. Общество для него — это сфера частных, а лучше сказать, семейных интересов, которые не всегда совпадают с государственными интересами. Соотношение государства и общества в истории Европы постоянно менялось. Дуализм государства и общества ведет к дуализму диктатуры и парламентаризма, мероприятия и нормы, приводит к борьбе исполнительной и законодательной власти.

Шмитт различает стадии перехода от конституционного государства к партийному государству и от партийного государства к тотальному государству. Конституционное государство XIX века, по его мнению, состояло из правительства, монархической бюрократии и армии, которым противостояло гражданское общество. В этот период государство и общество находятся в состоянии баланса сил. Этот баланс нарушается, когда наступает господство парламентского правового государства. Задача парламента состояла во внедрении образованной буржуазии в монархическое государст-

во. Важным моментом здесь становится участие народных представителей в правительстве.

В тот момент, когда правовое государство побеждает монархическое, оно превращается в плюралистическое партийное государство. Сформированное парламентом правительство резко теряет теперь свою эффективность и занимается бесконечными дискуссиями. Партийное государство является переходом к тотальному государству.

Считая войну наивысшим выражением политики, Шмитт не боится показать все ее опасности²⁰ и негативные стороны, в то время как либералы стремятся сделать политику безопасной, безобидной и даже удобной. Он отмечает, что благодаря распространению либерализма снижается политичность общественной жизни. В то же время развивается процесс «тотализации» государства, благодаря развитию в тени либерализма демократии. Таким образом, Шмитт различает «аполитический» либерализм, который он еще называет «денатуром политики» и его врага в лице «тотальной демократии».

Смысл либерализма состоит в борьбе против насилия со стороны государства. Причиной либерализма является индивидуализм, основанный на абсолютизации свободы личности. Либерализм считает задачей государства и политики создание условий для индивидуальной свободы. Либерализм не способен на радикализм, на решительность, которая так важна в политике. Для него типична двойственность, полярность мышления, в нем отсутствует жесткая сердцевина и принципиальность. Либерализм мечется между этикой и экономикой, ставя во главу угла то одно, то другое. Для него характерен этический пафос и экономическая целесообразность. Согласно либеральной доктрине, государство должно подчиниться подчинению или индивидуализму и экономике.

В области внешней политики либерализм стремится создать мировую систему, которая бы раз и навсегда исключила войну между народами, как нечто неэтическое. На деле же эта система представляет собой нечто иное как инструмент экономического империализма. Современный экономический империализм, являющийся реальным воплощением либерализма, ведет войны под моральными лозунгами защиты населения.

Благодаря либерализму возникает сфера, лишённая политики, состоящая из дискуссий, а не из борьбы, из человечества, а не из государств, из программ, а не из самоутверждения, из экономического контроля, а не из политического господства. Шмитт упрекает либерализм в непоследовательности, в игнорировании деления на друзей и врагов, которое является сущностью политического²¹.

В качестве альтернативы либерализму, по мнению Шмитта, может выступить лишь коллективизм. Если индивидуализм считает, что человек сам должен распоряжаться своей жизнью, то коллективизм призывает пожертвовать ею ради коллектива. Политический коллективизм выступает не только за самопожертвование, но и готов жертвовать жизнями других людей.

Демократическое правление ведет к «тотализации» государства, когда ранее нейтральные по отношению к политике области религии и экономики становятся ареной политической борьбы. Либерализм способствовал тому, что сфера политического, ранее имевшая свои четкие границы, стала размываться. Одновременно с этим процессом начали политизироваться другие сферы общественной жизни. Но распространение политики на другие сферы, как и использование их для достижения политических целей, означает для Шмитта не что иное, как «тотализацию» государства. Демократическим государство становится в тот момент, когда заканчивается процесс «располитизации» общества, начатый либерализмом. Осуществление демократии связано с устранением либерализма и его главного продукта — буржуазного правового государства. Демократия является процессом уничтожения этого государства. Если либерализм Карл Шмитт считает антиполитичным, то демократию — слишком политической, слишком навязчивой, стремящейся как можно шире трактовать политические проблемы.

Демократия останавливает процесс деполитизации, начатый либерализмом, и меняет партийное государство на тотальное государство, в котором государство и общество глубоко проникают друг в друга. Тем самым стираются противоречия между государством и обществом, между государством и экономикой, а политика проникает во все сферы человеческого мышления и деятельности. Таким образом, по Шмитту для устранения дуализма государства и общества необходимо создание тотального государства, абсолютной монархии, которая отличается от прежнего абсолютизма тем, что вовлекает в политику весь народ, всего человека.

По мнению Шмитта, в веймарской Германии происходило превращение правового государства в «сложный абсолютизм»²². От власти закона быстро приходят к власти организаций, занимающихся законодательством. Одновременно происходит нарушение политического единства государства. Партии трансформируются в организации, тотально контролирующие своих членов.

Идея парламента, как центра открытых дискуссий, ведущих к принятию правильных законов, предполагает, что в нем должна быть собрана вся элита нации. Депутат должен быть интеллигентным, иметь хорошее образование и отстаивать независимую позицию. На деле же все депутаты стремятся провести точку зрения своей партии. Всех, кто сопротивляется этому, принуждают всевозможными методами. Политический вес фракций определяется исключительно числом их мандатов. Проводить публичные дискуссии в парламенте, отражая интересы всех классов, невозможно. Постепенно парламент теряет свой представительский характер и превращается в аппарат обычного министерства.

На практике же партии веймарской Германии, по мнению Шмитта, представляют собой хорошо организованные образования, имеющие сильную, состоящую из оплачиваемых функционеров бюрократию и сеть более мелких организаций, находящихся под их влиянием. Каждая партия стремится развиваться в идеологическом, экономическом направлении и

по возможности расширять сферу своего политического влияния. Все это приводит к тому, что государственное единство начинает страдать от укрупнения партий. Государственная воля становится зависимой от частных, порой сиюминутных интересов.

Правительства, основанные на союзах наиболее влиятельных партий, как правило, не способны проводить последовательную государственную политику, но в состоянии никого другого не подпустить к власти. Участвующие в этих правительствах партии всячески добиваются для себя экономических выгод и хотят получить как можно больше хорошо оплачиваемых мест в органах власти различного уровня. Партии же, которые действительно отстаивают государственные интересы, вынуждены принять эти правила игры, чтобы не быть полностью отстраненными от политики.

Аналогичные проблемы намечаются и в подборе кадров для государственной службы. Вместо того, чтобы выбирать на ответственные посты наиболее добросовестных и ответственных чиновников, эти места распределяются между партийными функционерами. Шмитт постоянно подчеркивает, что депутаты должны избираться непосредственно избирателями, а не выдвигаться от партий. В то же время благодаря различного рода барьерам мелкие партии лишаются возможности участвовать в работе парламента.

Во время выборов все больше выбирают не независимых кандидатов, а представителей партий по партийным спискам. Граждане, не состоящие в партиях, должны выбирать одну из существующих партий, хотя они не поддерживают их программ и их лидеров. Выборы превращаются в раздел государства на несколько хорошо организованных социальных комплексов. Депутаты становятся функционерами, получающими указания извне, как правило, от руководства своих партий, и полностью не зависят от граждан, интересы которых они якобы представляют. Обсуждение законов превращается в пустой фарс. Политические партии используют все политические инструменты для борьбы с другими партиями, а все партии вместе борются с государством²³.

Государство теперь полностью подчиняется экономике, которая определяет не только всю внутреннюю политику, но и почти полностью политику внешнюю. Любая государственная экономическая программа приносит выгоды отдельным фирмам, которые в свою очередь выделяют средства на функционирование своих партий. Попытки уйти государства из этого замкнутого круга заранее обречены и ведут в конце концов к полному разрушению государственного единства, к «бегству от политики», к кризису и распаду государства²⁴.

Парламент, партии и выборы не соответствуют больше заложенному в них изначальному смыслу. Выход из сложившейся ситуации Карл Шмитт видит на путях усиления социальной однородности общества. Только она способна привести к ситуации, когда физическое насилие больше не требуется. Но достижение социальной однородности не может происходить безболезненно, поскольку обществу необходимо будет избавиться от

таких своих членов, которые каким-то образом не будут вписываться в общий стандарт поведения и мышления.

Другим решением сложившихся в веймарской Германии политических проблем немецкий ученый считает отмену многопартийности, которая угрожает государственному единству. Дело в том, что государственное единство нельзя передавать в частные руки, никаким посредникам, в лице ли партий, или каких-либо других организаций. Даже незначительная потеря государственного единства приводит общество к гражданской войне, то есть к такому состоянию, когда государство может распасться, а общество погибнуть. Чтобы избежать этого, необходим, по мнению Шмитта, харизматический диктатор, способный объединить вокруг себя остатки государственно мыслящей политической элиты и остановить сползание общества в пучину перманентной гражданской войны, способной не оставить камня на камне от былого государственного могущества.

Шмитт предлагает два варианта: первый — переход к однопартийной системе, второй — создание большого национального мифа, способного вытеснить миф о демократии и парламентаризме. Безвыходность политической ситуации в Германии того времени состояла в том, что легальными конституционными мерами невозможно было сохранить политическое единство общества. Поэтому, по Шмитту, необходим диктатор, который бы поставил себя выше конституции и отменил бы ее. Легитимность «суверенному диктатору» должен дать народ, поскольку именно он является основой любой власти и конституции. Народ имеет право отказаться от прежней конституции²⁵.

Важное значение в политической теории Карла Шмитта играют понятия *схожести*. Понятие схожести является элементом, объединяющим вождя и его свиту. Наличие схожести способствует тому, что противоречия между вождем и его свитой становятся невозможными, поскольку они представляют собой явления одного порядка, внутренне близкие друг другу. Свита вождя — это такие же вожди, только более мелкого масштаба. Сходство вождя и его свиты объединяет их в единое целое.

Идентичность, по Шмитту, — это основанная на понимании своей внутренней схожести способность народа к политическим действиям²⁶. Однако политическое единство общества проявляется не в идентичности, а в репрезентативности. Демократия тесно связана с понятиями схожести и идентичности, с представлением о равенстве людей. Идентичность отражает общность главы государства и его граждан, правительства и подвластных. Все они равны. Это равенство связано с принадлежностью к конкретному народу, что означает для Карла Шмитта отказ от либерального индивидуализма.

К сожалению, после прихода к власти нацистов понятие схожести стало интерпретироваться как одинаковость, как биологическое равенство, как расовая гомогенность. Социальную гомогенность стали понимать как родство крови, как биологическое сходство, что в корне отличалось от шмиттовского понятия схожести. В то же время стремление к схожести и дикта-

туре вождя являются для Шмитта теми основными условиями, которые способны вывести Германию из политического кризиса.

Схожесть, по мнению Шмитта, должна лежать и в основе права. Современное общество настолько усложнилось, умножились возможности для новых конфликтов, что прежняя система социальных норм уже не работает. Судьи в своих решениях не могут ссылаться на эти нормы, что создает массу юридических проблем. В данной ситуации все судьи должны быть подчинены государственной партии, которой доверено сохранение политического единства общества.

Идеалом правового государства является сведение всей государственной жизни к юридическим формам. В результате этого происходит политизация юстиции. Карл Шмитт высказывался против превращения политики в юриспруденцию. Он предлагает полностью отказаться от теории правового государства, которая, по его мнению, является продуктом эпохи господства либерального индивидуализма. Именно тогда право начали сводить к «позитивистскому нормативизму», в то время как право не существует вне государства, и те, кто пытается поставить право на первое место, втайне хотят разрушить государство.

В международных делах речь идет не только об установлении определенных правил, но и о том, как народы привыкли жить, какие нормы и ценности у них существуют. Международное право не должно быть только сводом абстрактных правил, применимых для всех времен и народов, а должно в первую очередь учитывать специфику каждого государства, особенности культуры каждого народа. Необходимо стремиться к единству юридических норм и народных обычаев.

Враждебно относясь к государству и политике, либерализм хочет отменить все повинности, которые несут граждане по отношению к государству²⁷. Но сферу политики, так же как и сферу экономики, уничтожить невозможно. В истории неоднократно предпринимались попытки искоренить то церковь, то государство, то экономику, но все эти попытки оказались утопическими и были обречены на неудачу.

Шпенглер о роли государства

Государство, по мнению известного немецкого философа Освальда Шпенглера, является формой, которая определяет внешнее положение народа — его исторические связи с другими народами; поэтому он различает *политическую* (горизонтальную) и *социальную* (вертикальную) историю²⁸, что соответствует делению политики на внешнюю и внутреннюю. В социальной истории сословия и классы борются за право влиять на государство, в политической истории государство взаимодействует с другими государствами, как правило, в форме войны.

Государство, для Шпенглера, является естественной формой исторического существования народа, — такой, как для отдельного рода является

семья. Народ и род выступают, у Шпенглера, «единицами» в истории, причем род — это наименьшая, народ — наибольшая единица в потоке истории²⁹. Шпенглер утверждает, что род — это историческое поприще женщины, а народ — мужчины; то есть для женщины основной сферой деятельности выступает семья, а для мужчины — государство.

По мнению Шпенглера, только династический принцип соответствует понятию господства. Династии возникают в период распада феодального союза и формирования сословного государства. Они создают основу для будущих наций, формируют дворянское сословие, которое видит свое предназначение в государственной службе. Иерархический принцип и военная служба давали дворянству особые привилегии и права. Так возникает первая политическая элита.

Главным условием существования государства, по Шпенглеру, является обладание им определенной формой: «Народ находится в “форме” как государство, род — как семья»³⁰. Задача любого государства всегда быть «в форме», что может осуществляться лишь в виде «муштры». Если духовенство целиком поглощено познанием абстрактных истин, то дворянство способно выполнять свои функции, лишь постоянно воюя и получая при этом необходимую муштровку.

В основе любого государства, по мнению Шпенглера, лежит войско, поэтому государство для него лишь тогда «в форме», когда его армия «в форме», когда она находится в состоянии боевой готовности. Военские доблести являются, для Шпенглера, единственно государственными³¹. В восхвалении воинских доблестей Шпенглер доходит до абсолютизации войны³². «Мировая история, — пишет он, — есть история государств. История государств — есть история войн»³³. Даже мир он считает продолжением войны мирными средствами. Все мирные договоры между государствами, по его мнению, призваны обессилить противника, сделать неспособным организовать сопротивление³⁴. Дипломатия как ведение войны духовными методами для Шпенглера также является временной заменой войны³⁵. Шпенглер считал военную стихию³⁶ истинно политической сферой деятельности. Он смотрит на войну как на естественное, историческое занятие, а народы, не способные вести войну, он считает слабыми³⁷, недостойными существования. Поскольку сущность политики Шпенглер видит в войне, то для него укрепление государства означает, прежде всего, укрепление армии и дипломатического корпуса.

Всякое сословие, которое приходит к власти в государстве, использует ее, как правило, для себя, для своих корпоративных целей, и только дворянство способно заботиться обо всех сословиях. Каждое сословие вырабатывает свой идеал государства, однако эти идеалы часто бывают утопичны, ибо в реальном мире нет «построенных в соответствии с идеалами государств, но есть лишь государства, органически произросшие, являющиеся не чем иным, как живыми народами, находящимися “в форме”»³⁸.

Шпенглер отмечает много общих моментов между дворянством, наследником военных традиций, и государством как основным политиче-

ским институтом общества. Эта общность, по его мнению, состоит в «органическом единстве такта и устремления, в дипломатии и знании людей, в искусстве приказывать, в человеческой воле к поддержанию и расширению власти, — в той воле, что в изначальные времена из воинской сходки произвела на свет дворянство и народ, — и, наконец, в чувстве чести и храбрости, так что вплоть до самых последних времен прочнее всего оказывается государство, в котором дворянство и созданная им традиция всецело ставится на службу общему делу»³⁹.

Если на начальных этапах развития «высокой культуры» государство существует в единстве с остальным обществом, то по мере исторической эволюции, оно все больше обособляется в самостоятельный институт со своими собственными интересами. В определенный момент интересы государства и гражданского общества расходятся, и начинается борьба между ними. По мнению Шпенглера, единственное отличие Англии от Германии состоит в том, что в Англии сложилась система, где доминирует гражданское общество, то есть совокупность частных интересов, что нашло свое выражение в парламентской системе. В Германии же, и особенно в Пруссии, государство традиционно доминировало над гражданским обществом, общественные интересы доминировали над частными, парламент был подчинен исполнительной власти.

Шпенглер противопоставляет себя либеральным теоретикам, которые, говоря о государстве, опираются на абстрактные понятия свободы, счастья и всеобщей пользы. Считая государство органическим телом, Шпенглер полагает, что для исторического существования государства важным является не выяснение его идеальных задач, а внутренний авторитет, который должен поддерживаться, главным образом, верой в его реальную мощь, причем этой верой должны проникнуться даже его противники.

Согласно Шпенглеру, самым важным в государстве является организация работы правительства, а не распределение политических прав. При этом надо использовать одаренных людей, заботиться о постоянстве, твердости и превосходстве политического руководства. Отрицательно относится Шпенглер и к излишнему вниманию к вопросам, связанным с конституцией, которая может повредить здоровью государственного организма: «По этой причине во всяком здоровом государстве буква писаной конституции имеет меньшее значение в сравнении с использованием живой “формы” в спортивном смысле, которую нация исподволь, совершенно сама собой, черпает из времени, из собственного положения, но в первую очередь — из своих расовых свойств. Чем крепче скроенной оказывается эта естественная форма государственного организма, тем с большей надежностью он функционирует во всякой непредусмотренной ситуации»⁴⁰.

Государства, по мнению Шпенглера, возникают в истории лишь раз и в определенных условиях. При этом немецкий философ обращается к идее судьбы, чтобы показать уникальность исторической жизни государств: «Не существует никакого лучшего, истинного, справедливого государства, которое

было бы спроектировано и когда-либо осуществлено. Всякое возникающее в истории государство может существовать лишь раз, и оно незаметно каждую минуту меняется... Поэтому такие слова, как „республика“, „абсолютизм“, „демократия“, означают в каждом случае нечто иное и делаются фразой, стоит только, как это чаще всего у философов с идеологами и бывает, попытаться их применять как понятия, установленные раз и навсегда»⁴¹.

Шпенглер рассматривает государство как органическое явление, подчиненное определенным законам и имеющее свою форму. Эта форма в процессе исторической эволюции претерпевает некоторые изменения, но в целом остается постоянной. Лишь на завершающей стадии развития культуры государственная форма начинает разрушаться.

Государство для Шпенглера — это правящее меньшинство, которое обладает инстинктом государственного деятеля. Как правило, это одно сословие. Внутри этого меньшинства-сословия существует другое меньшинство, которое непосредственно держит бразды правления в своих руках. Политическими талантами больше других сословий богато дворянство, иногда они присущи и духовному сословию, реже всех встречаются у представителей «третьего сословия».

В раннюю эпоху «высокой культуры», по Шпенглеру, правящее меньшинство существуют в форме *фракций* — «групп, в которых играют роль родственные связи домов, честь, верность, союзы, обладающие почти мистической задушевностью»⁴². С приходом к власти буржуазии фракции уступают место партиям: «Против крови и традиции восстают силы духа и денег. На место органического приходит организованное, на место сословия — *партия*. Партия — не отпрыск расы, но сборище умов, и потому она настолько же превосходит старинные сословия духом, насколько беднее их инстинктом»⁴³.

Партия, по Шпенглеру, является врагом всякого органически сложившегося сословного членения, уже одно существование которого противоречит ее сущности. Именно поэтому понятие партии неизменно связано с нивелирующим общество понятием равенства. Признаются не сословные идеалы, но исключительно профессиональные интересы. Партии Шпенглер считает чисто городским явлением, основанным на отрицательном понимании свободы; поэтому все партии несут на себе либеральный оттенок, а либеральная партия является партией партий. Шпенглер очень негативно характеризует смысл современной ему партийной политики: «Партия — это когда безработные организуются бездельниками... Партия по самой своей сущности есть коррупция. Дело еще ладится, покуда различные партии не спускают друг с друга глаз. Одна партия, лишенная контроля, — это коррупция, распушенность, и ничего больше»⁴⁴.

Однако партия как форма правящего меньшинства, по мнению Шпенглера, является временной и в эпоху цезаризма вытесняется *свитой*. Шпенглер приходит к выводу, что правящее меньшинство по мере эволюции культуры приобретает вначале форму фракции, затем форму партии и

наконец форму свиты. Переход к цезаризму во время цивилизации означает не только конец демократии и либерализма, но и партии как формы правящего меньшинства. Место партий в современной политике постепенно занимает «частная политика людей расы»⁴⁵. Шпенглер так описывает эту историческую метаморфозу: «Умонастроение, популярные цели, абстрактные идеалы всякой подлинной партийной политики уходят, и на их место заступает частная политика, ничем не скованная воля к власти немногих людей расы. У сословия имеются инстинкты, у партии — программа, у свиты — хозяин»⁴⁶.

Политику Шпенглер трактует как практическое ремесло со своей техникой и приемами. В зависимости от того, как правящее меньшинство владеет этой техникой, оно может удержаться у власти и стабилизировать политическую ситуацию. По мнению Шпенглера, распространение в XIX веке социальных теорий и всеобщая грамотность привели к тому, что политике стали смешивать с политическими теориями. Против такого взгляда на политику протестует Шпенглер в своих работах. Он стремится показать, что реальная политика мало связана с какими бы то ни было идеями и теориями, а тем более с такими ценностями, как «справедливость», «свобода», «счастье»⁴⁷. Истинные политики для него — это не знатоки теорий, а знатоки фактов, и действуют они в мире фактов, руководствуясь внутренним чутьем.

Правящее меньшинство только тогда может выполнить свою политическую функцию, когда оно состоит из людей, которые по своим качествам отвечают определенным требованиям. Шпенглер пытается сформулировать эти требования и описать качества, которыми должен обладать идеальный политик. Он создает идеал политика — человека, который по своему внутреннему призванию способен решать государственные задачи.

Прирожденный политик, по мнению Шпенглера, чувствует движение эпохи, в которой он живет, ощущает ее внутренние силы. Выдающийся политик не только создается своей эпохой, но и сам творит эту эпоху. Кроме умения глубоко прочувствовать современную ему действительность⁴⁸, природный политик должен обладать умением воспитывать людей, показывая во всем пример.

Другим важным качеством истинного политика является умение повелевать, причем повелевать так, чтобы превратить подчинение в «свободную и благородную привычку». Этим качеством обладают далеко не все известные политики; так, например, Шпенглер отрицает наличие этого качества у Наполеона, но считает, что им обладал Цезарь. Еще более редким качеством политика является способность создать традицию, чтобы после его смерти его дело продолжили другие. Истинный политик способен установить в элите дух, который остается после его смерти. Этот дух муштрует высший класс общества, делает его устойчивым⁴⁹. В результате такой традиции высший слой отождествляет себя с государством, делает его единым, способным действовать сообща.

Существо политической деятельности Шпенглер сравнивает с деятельностью садовника. Основным требованием к политике является умение пользоваться современными политическими средствами. Среди таких средств Шпенглер выделяет выборы и прессу. Как музыкант владеет своими инструментами, так и всякий политик должен научиться владеть политическими средствами. Чем виртуознее владеет он этими средствами, тем эффективнее его политика. Пользуясь политическими средствами, политик должен уметь вызывать в людях чувство доверия и уважения к руководству, сознание собственной силы, удовлетворенности и воодушевления.

Одним из важных достижений Шпенглера является исследование механизма *политического регресса*. Он вычленил и описал те социальные силы, которые подкапывают задание культуры и, в конечном счете, приводят к ее гибели. Шпенглер использует понятие «мировой революции», указывая на тот факт, что деструктивные политические силы, враждебно настроенные к любой культуре, авторитету и порядку, осознанно ведут общество на край гибели⁵⁰. Они выдвигают и преследуют цели, которые позволят им, от природы обделенным и ущербным людям, достичь богатства и высокого положения в обществе. Это возможно только в том случае, если жизнь общества не упорядочена, подвержена резким изменениям и кризисам. «Общество, в котором сейчас происходит переход от культуры к цивилизации, — пишет Шпенглер, — является большим... Оно не защищает себя. Оно смакует издевательство над собой и свое разложение»⁵¹.

Начиная с XVIII века либерализм в Европе стремится разрушить сословное устройство общества и призывает «вернуться к природе». Именно либерализм, по мнению Шпенглера, приводит к «диктатуре столичного пролетариата», когда все буржуазные свободы полностью отменяются и государство становится тоталитарным⁵². Шпенглер находит аналогичные процессы в античном обществе, когда к власти пришли демагоги, которые вначале опирались на крестьян, а затем на безработные слои плебса, требовавшего «хлеба и зрелищ». «Чем низменнее такие люди, — пишет Шпенглер, — тем более удобно их использовать, поэтому большевизм, начиная с Парижской коммуны 1871 года, пытается воздействовать не на обученных прилежных рабочих... а на сброд больших городов, который готов в любой момент грабить и убивать»⁵³. Тем самым либерализм приводит, по Шпенглеру, к так называемому «восстанию масс», а свобода прессы способствует разрушению старой культуры. Шпенглер критикует связанное с революцией и «восстанием масс» падение культуры на примитивный уровень. Культура означает для него традицию, воспитание и нравы. Либерализм же есть стремление освободиться от культурных норм и традиций, поэтому он способствует падению культурного уровня общества.

Шпенглер, однако, говорит о конце эпохи либерализма в Европе, что проявляется в кризисе самой либеральной партии. По мере политического развития левые и правые партии все больше радикализируются, в них получают развитие тоталитарные тенденции. На этом фоне влияние либеральной партии постоянно уменьшается. Эту тенденцию Шпенглер связы-

вает с изменением сущности политики, когда в политику идут люди, не стремящиеся к деньгам, а желающие власти как таковой. На этом фоне политическая инициатива все чаще переходит в руки отдельных личностей, стремящихся к достижению своих частных интересов.

Либерализм, по Шпенглеру, выступает против самих основ сословного общества⁵⁴, поэтому буржуазия, исповедующая либерализм, по своей природе антисословна. Сословия дворянства и духовенства являются с точки зрения буржуазии «врагами народа», сама же она считает себя «гласом народа». Шпенглер считает, что роль аристократии остается важной и в современную эпоху. Она является средоточием политических талантов, которыми может гордиться любая нация. С потерей аристократии, по его мнению, народ теряет «прирожденных руководителей бытия и хранителей вызревших и постепенно развившихся инстинктов и качеств, которым нельзя научиться из книг»⁵⁵. Именно такие люди и их качества становятся очень востребованы, по мнению Шпенглера, в современную эпоху.

Скептически оценивая действительные возможности для участия широких масс населения в решении политических вопросов в условиях демократии⁵⁶, Шпенглер отмечает следующую закономерность: любое общественное движение подавляется постепенно его организацией, а организация в свою очередь — лидером. Вначале руководство и аппарат возникают ради программы, затем те, кто пробился в руководство, начинают цепляться за свои места ради власти и денег и, наконец, программа забывается, а организация начинает работать только ради самой себя. Шпенглер говорит о неизбежной концентрации власти в руках немногих.

Для политики важны лишь лозунги, которые вытекают из теорий, ибо эти лозунги обладают мобилизующей силой и способны воздействовать на массы. Особое значение имеют такие слова, как «свобода», «право», «человечество», «прогресс», которые несут в себе некий священный оттенок. Шпенглер подчеркивает, что под власть теорий попадает только часть городского населения, примерно на два столетия, потом эти теории «прискучивают»⁵⁷.

Подобного рода идеализм, по мнению Шпенглера, всегда пагубно сказывается на жизни общества. Об этом говорит и пример провалившейся попытки Платона согласно своему учению устроить жизнь в Сиракузах. В древнем Китае философские теории полностью ослабили южные государства и сделали их легкой добычей соседей. Якобинские учения о свободе и равенстве постепенно ослабили некогда сильную Францию. Особую опасность, по мнению Шпенглера, имеют два вида идеализма, которые очень часто встречаются в современном мире. В одном случае люди верят в возрождение прошлого, в другом — в теории и идеи современности. И тот и другой ведут власть к неминуемому крушению, когда она становится жертвой воспоминания или понятия. Излишнее внимание к теории политики, по мнению Шпенглера, пагубно сказывается на ее реальной политике.

Шпенглер придерживался тезиса о независимости государства как от церкви, так и от экономики. По его мнению, будущими политиками будет

двигать не страх Божий и не стремление к обогащению, а желание власти как таковой, и на пути к власти их не остановят ни моральные запреты церкви, ни экономические потери. В этом состоит пессимизм консервативной трактовки государства у Шпенглера⁵⁸.

¹ Эта схема во многом напоминает выделенные Робертом Парком четыре уровня общества.

² Н.Я. Данилевский считал, что в государстве должен господствовать принцип «око за око», «зуб за зуб». Это известное ветхозаветное изречение означает, что государство не должно «ничего прощать». К.Н. Леонтьев считал, что государство должно быть «свирепо», и оно «конечно» и живет примерно тысячу лет.

³ Особенно этим отличается церковь, которая в идеале стремится ничего не менять.

⁴ Переход на «рыночные отношения» в нашей стране породил ситуацию, когда в политике стали господствовать либеральные идеи. Об опасности этих идей для нашего общества можно уже судить по результатам реформ 90-х годов (См.: *Афанасьев В.В.* Либеральное и консервативное. М., 2006).

⁵ О причинах гибели государств писал К.Н. Леонтьев, согласно которому все исторические государства не смогли преодолеть тысячелетний рубеж своего существования.

⁶ Определенная жесткость политики состоит в том, что в случае, если кто-то будет объявлен врагом, он должен быть готов к тому, что против него могут быть направлены все средства государственного принуждения.

⁷ Несколько по-другому обстоит дело с профессиональной армией наемников.

⁸ Важную роль в религиозной жизни имеет страх Божий, он позволяет воздержаться от неугодных поступков, благовоинно относиться к предметам религиозного культа, надеяться на Божью милость и помощь в трудные периоды жизни.

⁹ Последний не надо путать с пролетариатом, что в переводе с греческого означает «бездетный». Рабочие имели не только профессию, то есть свое «дело», но и кормили семью.

¹⁰ Считается, что только дети способны продолжать дело отца, а внуки уже не хотят работать и стремятся заниматься «творческими профессиями», насколько им позволяет полученное наследство.

¹¹ Немецкий социолог Лоренц фон Штейн считал, что разница между крупной и мелкой буржуазией определяется количеством городской земли, находящейся в их владении.

¹² Так, иудаизм предписывает каждому верующему необходимость брака на представительле данной религии. В исламе, например, разрешается многоженство, а в католицизме — запрещается. Многие религии возлагают на родителей ответственность за религиозное воспитание детей.

¹³ Так, например, в советское время матери-одиночки имели льготы в получении жилья.

¹⁴ Ударом по авторитету семьи являются попытки уравнивать семью с однополыми браками, которые происходят во многих европейских странах, как и распространение гей-культуры среди молодежи.

¹⁵ Основной причиной неспособности вести нормальный образ жизни Чезаре Ломброзо считал наследственные психические болезни, например стремление к бродяжничеству, которые, как правило, связаны с другими душевными заболеваниями, вызванными разложением личности и болезнями мозга.

¹⁶ Достаточно упомянуть романы таких известных авторов, как Конан Дойль и Жорж Сименон.

¹⁷ *Шмитт К.* Понятие политического. М., 2011. С. 23.

¹⁸ Иногда врагов путают с научными оппонентами. Как в экономике нет врагов, а есть только конкуренты, так и в науке есть только оппоненты, с которыми ведется научная дискуссия.

¹⁹ *Шмитт К.* Понятие политического. М., 2011. С. 22.

²⁰ Не случайно у Шмитта в основе политической деятельности лежит готовность человека к смерти.

²¹ *Schmitt C.* Der Begriff des Politischen. Berlin, 1963. S. 26.

²² *Schmitt C.* Legalität und Legitimität. München, 1932. S. 24.

²³ Все это прекращается после демократического поворота к тотальному государству, который приводит к тотальному разложению общества.

²⁴ За всеми этими явлениями Шмитт видит кризис идеи «всеобщей воли», которая высказывалась во многих демократических теориях, в частности у Ж.-Ж. Руссо. «Всеобщая воля» заменяется суммой воли отдельных личностей, в чем проявляется кризис европейской либеральной буржуазной политики.

²⁵ Субъектом политических решений в этом случае может выступить наиболее организованная политическая группа, которую Шмитт склонен называть не партией, а «орденом».

²⁶ *Schmitt C.* Verfassungslehre. München, 1928. S. 205.

²⁷ *Schmitt C.* Der Begriff des Politischen. Berlin, 1963. S. 69.

²⁸ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1013.

²⁹ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1005.

³⁰ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1006.

³¹ Воинская поэтика свойственна не только работам Шпенглера, но и для других «консервативных революционеров», но Шпенглер выделяется тем, что открыто высказывается за захватническую войну, подчеркивая ее естественный характер (См.: *Давыдов Ю.Н.* Шпенглер и война // Вопросы литературы. 1983. № 8. С. 76–113).

³² Он пишет: «Война — творец всего великого. Все значительное в потоке жизни возникло как следствие победы или поражения» (*Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1007).

³³ Цит. по: *Свасьян К.А.* Социально-политическая философия Освальда Шпенглера // Социологические исследования. 1987. № 6. С. 128.

³⁴ Эти мысли Шпенглера были связаны с Версальским мирным договором, который не только ограничивал вооруженные силы Германии, но и налагал контрибуцию, призванную экономически ослабить это государство.

³⁵ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1103.

³⁶ Уделяя большое внимание проблемам армии, Шпенглер отмечает современную тенденцию к отмиранию всеобщей воинской повинности, на смену которой придет наемное войско. Здесь он вновь проводит параллель с Римской империей, где основную часть войск составляли наемные солдаты.

³⁷ Эта слабость проявляется, по мнению Шпенглера, в пацифизме, который «набрасывает свою тину на поколения и проявляется в усталом желании покоя любой ценой, за исключением своей собственной жизни. Это — духовное саморазоружение после телесного саморазоружения через неплодовитость» (*Spengler O.* Jahre der Entscheidung: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung. München, 1933. S. 161–162).

³⁸ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1015.

³⁹ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1014.

⁴⁰ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1016.

⁴¹ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1017.

⁴² *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1121.

⁴³ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1121.

⁴⁴ Цит. по: *Свасьян К.А.* Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // *Шпенглер О.* Закат Европы. М., 1998. Т. 1. С. 113.

⁴⁵ *Koellreutter O.* Die Staatslehre Oswald Spenglers. Jena, 1924. S. 17.

⁴⁶ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1125.

⁴⁷ Константин Леонтьев также выступал против применимости категории «счастья» для политического анализа общества (*Леонтьев К. Н.* Избранное. М., 1993. С. 97).

⁴⁸ К.А. Свасьян, излагая позицию Шпенглера, отмечает: «Действительная политика есть политика, имеющая дело только с фактами и инстинктивно чурающаяся понятий, теорий и программ. Величайшей опасностью, подстерегающей государственного мужа, является подмена реальных фактов факторами культурного образования и мышления, когда он перестает понимать реальность факта “государство”...» (*Свасьян К.А.* Социально-политическая философия Освальда Шпенглера // Социологические исследования. 1987. № 6. С. 128).

⁴⁹ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1115.

⁵⁰ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 104.

⁵¹ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 84.

⁵² Шпенглер считал, что большевизм является последней фазой европейского либерализма (*Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. Frankfurt-am-Main, 1997. S. 795).

⁵³ *Spengler O.* Jahre der Entscheidung: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung. München, 1961. S. 119.

⁵⁴ Эрнст Штуц правильно отмечает, что для Шпенглера либерализм означает «революцию снизу» (*Stutz E.* Die philosophische und politische Kritik Oswald Spenglers. Zürich, 1958. S. 132).

⁵⁵ *Spengler O.* Politischen Schriften, München, 1933. S. 142.

⁵⁶ Реальная демократия для Шпенглера возможна только на очень небольшом пространстве (*Stutz E.* Die philosophische und politische Kritik Oswald Spenglers. Zürich, 1958. S. 122).

⁵⁷ *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1963. S. 1128.

⁵⁸ *Lehnert E.* Imperialismus und Welteinheit: Globalisierungsvorstellungen bei Spengler und Jaspers // Utopiekreativ. 2002. № 12. S. 1029.

Социокультурный анализ в политической науке:
ценностные и методологические ориентиры

Вынесенная в заглавие проблема подразумевает постановку нескольких ключевых вопросов. Во-первых, обуславливается ли научный поиск в поле политического какими бы то ни было ценностными ориентирами, или же подлинно научное знание дистанцировано от любых ценностных суждений? Во-вторых, как влияет рост и становление научного знания на формирование политических ценностей в современной культуре? Ведь еще Фридрих Ницше утверждал, что «не вокруг изобретателей нового шума — вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир»¹. В-третьих, каковы последствия бурного роста научно-технического знания для человека и общества? Не секрет, что среди приверженцев натуралистического реализма наука воспринимается как механизм осуществления господства над природой и обществом («торжество разума»). Подобная установка уже породила ряд парадоксов и практических последствий. Кроме того, три этих принципиальных вопроса обуславливают собой постановку ряда частных исследовательских задач.

Нас интересует вопрос соотносительности научного знания с ценностью. Поэтому насущнейшей задачей является анализ культурных и мировоззренческих предпосылок, благодаря которым возникла сама идея различения научного знания и ценностей, а если смотреть на проблему шире, то и идея их сопоставления как автономных сущностей. Эта идея, следовательно, подразумевает возможность существования «чистого», освобожденного от ценностей знания, но достижимо ли оно? Или же существуют фундаментальные ограничения наших познавательных возможностей? Возможны ли различные типы рациональности, или же существует некий универсальный принцип «онаучивания» действительности?

Рассматривая эти и ряд смежных вопросов, мы исходим из гипотезы невозможности «чистого» научного знания. Научное знание всегда с чем-то соотносено: в гуманитаристике — с ценностью, в естественных науках, например, механике, — с константами, в математике — с системой аксиом. Политическая наука в данном ряду — часть гуманитаристики. Для понимания специфики идеала научности в той или иной гуманитарной дисциплине необходимо элиминировать специфику гуманитаристики как особой сферы человеческого знания.

Гуманитаристика может анализироваться в следующих модусах:

– как конгломерат гуманитарных и социальных наук и соответствующих им моделей постановки исследовательских задач;

– как метатеория наук о культуре, обладающая определенными нормативными функциями;

– как механизм согласования парадигм (дисциплинарных матриц) с общей картиной мира на основе процедуры отнесения к ценностям, а также моральной и идеологической оценки.

При рассмотрении гуманитаристики как конгломерата наук необходимо иметь в виду, что в науках, составляющих поле гуманитаристики, невозможно отыскание единых критериев научной рациональности. Если для естественных наук такими критериями являются верифицируемость и количественная измеримость, то своеобразие гуманитарного познания заключается в том, что оно направлено на изучение качественных, а не количественных характеристик исследуемого феномена или объекта. Конечно, часть научных дисциплин, составляющих гуманитаристику, не может и не должна обходиться без изучения количественно измеряемых свойств объекта (например, социология), но большинство работают с принципиально не измеримыми свойствами (психология). Таким образом, поле наук, входящих в гуманитаристику, не является внутренне однородным.

Ключевую роль в раскрытии сущности феномена гуманитаристики играет классификация наук по определенному критерию, позволяющему разделить все множество на две большие группы: науки социальные и науки гуманитарные. Ценностный подход присущ именно индивидуализирующим, т.е. гуманитарным наукам. Подлинная гуманитарность знания заключена в его соотнесенности с ценностью, зависимости от ценностных установок. Социальные же науки дистанцированы от ценностей, они «проводят различие, если не пропасть, между суждениями о фактах и суждениями о ценностях»². Именно поэтому ядро гуманитаристики составляют гуманитарные науки, а не социальные.

Однако к гуманитаристике как к феномену еще нет устойчивого, полностью сформировавшегося отношения; для всякого исследователя, работающего в области гуманитаристики, велик соблазн обратиться к проблемам сугубо умозрительного характера, что обусловлено желанием построить непротиворечивую и универсальную теорию. Однако думается, что гуманитаристика как таковая, и в первую очередь как научное знание, стремящееся к универсализму (а мы признаем за ней это право), все же не может быть лишена своих конкретных исторических оснований. Гуманитарные науки не могут быть представлены как строго теоретические дисциплины, не наполненные конкретным историческим содержанием, находящиеся вне социокультурного контекста и политической практики. Поэтому одной из основных задач современной гуманитаристики является разработка наиболее общих теоретических конструкций, способных при всей своей масштабности и всеохватности учитывать конкретные историко-культурные реалии.

Гуманитаристика как научное знание рождается в столкновении нашего полагания о культуре с конкретными проявлениями культуры, наполненны-

ми неотъемлемым историческим содержанием. Рождение гуманитаристики как самостоятельной отрасли научного знания происходит, следовательно, на стыке теории, стремящейся быть независимой от практики, и сугубо эмпирического знания. Такой подход к формированию предметного поля и методологии позволяет избежать двух опасных крайностей, столь распространенных в современной науке. Первая из них заключена в стремлении сконструировать универсальную метатеорию, склонную насиловать свой объект, как бы выпытывать у него истину и предписывать объекту строго ожидаемое поведение, как в настоящем, так и в будущем. Вторая опасность таится в стремлении социальных и гуманитарных наук к жестким эмпирическим основаниям, а следовательно, вырождению в описательные дисциплины, теряющие свой аксиологический статус, одновременно отказывающиеся от своих прогностических и нормативных функций. Очевидно, что эти две опасности присущи не только отдельным гуманитарным и социальным наукам, но гуманитаристике вообще: тяготея к эмпирическому анализу мира культуры (исследование «структур малого»), она оказывается прогностически несостоятельной. Увидеть в малом великое — основная цель, требующая нешуточных методологических усилий.

Гуманитаристика выступает той сферой, в которой происходит синхронизация научной картины мира с постулатами конкретной теории. И при значительных несоответствиях и несовместимости с общими установками мышления и принятыми в научном сообществе конвенциями теория не имеет шансов стать общепризнанной, т.е. отвергается как недостоверная. Отчасти такое положение вещей обусловлено спецификой познавательного процесса и самой логикой свершения научных открытий: «хотя мир не изменяется с изменением парадигм, ученый после этого изменения работает в ином мире»³.

Мы утверждаем, что по отношению к частным теориям наук о культуре гуманитаристика выступает в качестве метатеории, задающей образцы научности — парадигмы. Под парадигмой в данном случае понимается «устоявшийся образец или модель, создающие осознанную или неосознанную установку мышления, видеть явления в определенном свете или исследовать их в соответствующем методологическом ключе»⁴. Понятие «парадигма» очень важно отличать от «мировоззрения». Мировоззрение индивидуально и уникально, в то время как парадигма — это совокупность установок мышления, разделяемых многими людьми.

В приведенном определении фиксируется еще один важнейший аспект: исследовательские установки могут быть неосознанными. Традиционному представлению о «научности» знания не хватало именно человеческого измерения, в результате во многих научных теориях прослеживается намеренная установка на исключение субъективности любого акта познания и стремление нивелировать роль личности исследователя. Наша задача — обозначить проблему, связанную с определением статуса познающего субъекта. Это субъективно-мировоззренческое начало и зафиксировано в приведенном вы-

ше определении, которое подчеркивает, что парадигма есть лишь «устоявшийся образец». Образец, которому можно следовать, а можно и не следовать. Напомним, что в куновском варианте принятие парадигмы напрямую определяет принадлежность к научному сообществу⁵. И тот, кто хочет к нему принадлежать, должен быть последовательно рационален в приятии установленных норм научного мышления. Эта позиция является прямым следствием развития и становления современного представления о «научности» или «ненаучности» того или иного знания.

Используемое определение парадигмы позволяет увидеть подлинную роль уникальных характеристик познающего субъекта. Если какая-либо парадигма становится неотделима от общей картины мира (она составная ее часть), то научные и философские взгляды становятся неотделимой частью познающего, а значит, с неизбежностью влияют на конечный результат познания. Возникающая отсюда ценностная и, возможно, политическая ангажированность ученого, на наш взгляд, свидетельствует не о слабости его позиции (или, во всяком случае, не только об этом), но и о сильной стороне исследователя, т.к. напрямую связана с научной этикой и с осознанием степени личной ответственности. Ученый не обязан более скрываться за авторитетом догмы.

И если применительно к естествознанию подобная мысль может являться спорной, то в гуманитарных науках невозможно выделение нейтрального познающего субъекта, объективного наблюдателя (с подобными проблемами, кстати, столкнулась и современная физика)⁶. Это означает, что гуманитарным наукам всегда придется мириться с ценностной и политической ангажированностью ученого. Но в отличие от многих отечественных и зарубежных авторов мы склонны усматривать в этом не слабую сторону наук о культуре, а их основное достоинство.

Гуманитарные методы могут открывать такие проблемные поля для исследований, которые недоступны никакой сциентистской методологии, а также осуществлять целый ряд специфических и чрезвычайно важных функций. В самом общем смысле гуманитарное мышление как способ теоретического освоения действительности противопоставляется мышлению естественнонаучному. Однако в рамках такой упрощенной антиномии вряд ли представляется возможным решение ряда насущнейших методологических вопросов. Вопросы эти поставлены не сегодня и не нами, но если человечество еще надеется справиться с тотальным распадом, охватившим культуру, ответы на них, по-видимому, должны быть найдены в ближайшее время. Что же это за проклятые вопросы гуманитариев? Во-первых, необходимо уяснить, в какой степени гуманитарное мышление является мышлением научным. Во-вторых, научное мышление по определению представляет собой рациональный способ постижения мира, но должно ли и гуманитарное мышление рассматривать как рациональное? Наконец, может ли иррациональное (т.е. в корне отличное от рационального) мышление оставаться научным? Такая постановка вопросов требует преодоления логики проти-

вопоставления гуманитарного и естественно-научного мышления и расширения сферы научного поиска до экстранаучного поля.

Является ли такой поиск актуальным? — По-видимому, да. Тому есть несколько причин. Быть может, главнейшей тенденцией развития гуманитарных наук в последние два века было стремление приблизиться в своих теоретических построениях к идеалу естественнонаучной рациональности. Как показала практика, цель оказалась недостижимой. Разум — субстрат и субъект рационального познания — работает с чистой схемой, помещаемой зачастую в идеальные условия. В гуманитарной методологии, как мы понимаем, такая исследовательская установка оборачивается подменой сложного нередуцируемого многогранного явления или феномена набором формальных суждений, имеющих мало общего с действительностью. Поэтому в целом энциенистская установка (именно так принято называть у гуманитариев упование на естественно-научную рациональность) оказывается непродуктивной.

Стратегия рационализации гуманитарного знания есть в настоящей момент довольно тонко продуманная методология, далеко ушедшая от набившего оскомину позитивизма контовского типа, но наращивание терминологического и методологического аппарата привело лишь к затуманиванию смыслов и окончательной подмене реального бытия теоретическим конструктом, как бы слепком мира. И сколько бы ни был этот слепок близок к оригиналу, нет в нем жизни — он всего лишь копия, но копия, лишенная самого главного.

Что же можно противопоставить стратегии рационализма? В настоящее время представляется наиболее актуальным следующий вопрос: возможен ли научный поиск в экстранаучном поле? Делая подобную заявку и ставя вопрос подобным образом, мы претендуем на раскрытие одной тайны: как не постижимость иррационального вдохновляет научный поиск. Мы давно убедились, что даже за самыми выверенными методологиями лежит онтологическая иррациональность человеческого мышления. Альбер Камю как-то написал: «даже самая замкнутая система, самый универсальный рационализм всегда спотыкаются об иррациональность человеческого мышления»⁷.

Речь идет о двух взаимодополняющих видах познания (рациональном и чувственном), которые соотносятся с двумя типами описываемых реальностей: физической и общественной, которая помимо материального измерения неизменно включает духовное. Тут помимо особых научных методологий особенно важен философский взгляд на методологию познания. Конечный вопрос: чему наука может научиться у философии, если вообще может? Наша гипотеза заключается в том, что для преодоления кризиса рационализма в гуманитарных науках, а если взглянуть на проблему шире, то и в культуре научно-гуманитарного поиска может оказаться продуктивной установка на поиск научных истин в экстранаучном поле, т.е. в поле гуманитаристики в широком понимании. К этому добавляется еще один парадокс. Драма любой гуманитарной науки заключена в том, что ее парадигмы не являются независимыми и самостоятельными, они формируются под влиянием и как следствия господствующих картин мира.

Общий кризис гуманитарных наук заключается в том, что они оказались в плену установок Лапласовой картины мира. Сущность этой «устаревшей» картины — детерминизм, основанный на всезнающем сциентизме, опирающемся на достижения классической механики. Многим сейчас кажется, что эти установки уже успешно преодолены. Однако на деле оказывается, что последовательный антисциентизм и критика рационализма приводят в такой же тупик, как и тупик рационализма. Более того, за свою многовековую историю рационалистические установки получили столь неограниченную власть над человеком, что воспринимаются как раз и навсегда данные, неизменные, единственно возможные законы человеческого мышления. Шестов свидетельствует: «Все были убеждены, что знание человеку нужно больше всего на свете, что знание является единственным источником истины»⁸. В свою очередь в гуманитарных науках в XIX–XX вв. это выразилось в том, что идеалом рациональности стала естественнонаучная рациональность.

Научность знания определяется качеством его доказательной базы, верифицируемостью и теоретической обоснованностью постулатов. Как мы знаем, в классическую эпоху — эпоху торжества научности в доскональном смысле слова — стремление к строгости и точности знания являлось детерминирующим фактором в определении направлений научных исследований. Научная мысль развивалась в направлениях, указанных ей логикой причинно-следственных связей, знание прирастало за счет расширения экспериментально-эмпирической базы и опирающихся на нее теорий. Идеал научности, выраженный наиболее полно в Лапласовой методологии, сводился к уточнению и развитию существующих представлений о мироздании. Однако одной из насущнейших проблем в рамках Лапласовой картины мира оставалось обоснование источников принципиально нового, ранее недоступного человеку знания. Ведь если верить Лапласу, любое знание имплицитно содержится в исходных предпосылках познания. Лапласова картина мира отрицает, редуцирует любую неточность, недостоверность, вероятностность знания, равно как и игнорирует любое интуитивное постижение истины, отказывая ему в достоверности. Очевидно, что на определенном этапе развития научной мысли ограничения, накладываемые таким мировоззрением, вступают в противоречие с наисовременнейшим опытом.

Этот конфликт с неизбежностью приводит к необходимости преодоления установок лапласовского детерминизма. На рубеже XIX–XX веков свершается методологический переворот, связанный с открытием вероятностного знания. Благодаря экспериментальным данным многих дисциплин (в том числе и социальных) становится все более очевидной невозможность достижения абсолютно строгого и точного знания ни в одной отрасли наук. Мы вступили, таким образом, в эпоху неклассической науки. Не стоит упрощать ситуацию и просто противопоставлять неклассическое знание классическому. Важно уяснить, что неклассика вовсе не отказалась от категорий точности и строгости, однако значительно модернизировала и усложнила свои требования к результатам научного познания.

Говоря о неклассике, обычно различают логическую, метрическую и семантическую плоскости научной строгости. С метрической точки зрения повышение точности знания в экспериментальных дисциплинах ограничивается возможностями исследовательской аппаратуры, в квантовой физике — принципом неопределенности, в социальных науках — ограниченностью выборки и т.п. С логической точки зрения претензии на абсолютную точность также не обоснованны, что хорошо показано, например, в концепции ограничительных результатов («теорема о неполноте») Курта Гёделя⁹. Что касается семантической плоскости, то здесь с очевидностью постулируется существование неформализуемых и, следовательно, неоперационализируемых свойств исследуемых объектов, а также наличие латентного предпосылочного знания.

Однако, говоря о прорыве неклассических методологий, прогрессе неклассического мышления по отношению к классике в целом, нельзя не отметить один наиважнейший факт. Для неклассики, как и для классики, незбылемым осталось притязание на раскрытие всех тайн бытия, установка на постижение конечной истины. Неклассика все еще остается в плену натуралистического отношения к познанию, продукт которого (знание) является лишь описанием реальности, пускай и описанием многомерным и многосложным. Классика и неклассика равно далеки от постановки аксиологических вопросов, от ценностного подхода к познанию мира.

Видимо, если говорить о современном этапе становления научности, то необходимо признать, что на наших глазах произошел отказ и от неклассических методологий. Правильнее всего обозначить его как неонеклассический, реабилитирующий фактор ценности. Акценты нашего внимания все больше переносятся с вопроса «что есть» (истина) на вопрос «что (как) должно быть». И в этом вопрошании гуманитаристика как раз и рождается как особый тип знания, трактующего о должном, о ценностном идеале. Здесь раскрывается особая значимость гуманитаристики: всякое явление может и должно быть оценено. Ибо гуманитаристика — это ценностный подход к миру и познанию мира. И мы должны признать, что наука, полностью освобожденная от ценностей, невозможна. Особенно претит освобождение от ценностных и моральных суждений политической науке, ибо она представляет собой помимо всего прочего рецептурное знание, на основе которого принимаются политические решения, определяющие судьбу грядущих поколений.

¹ Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. С. 95.

² Огурцов А.П. Страстные споры о ценностно-нейтральной науке // Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей? М., 2008. С. 10.

³ Кун Т. Структура научных революций. М., 2003. С. 184.

⁴ Панарин А.С. Политология. Западная и Восточная традиции. М., 2000. С. 314.

⁵ См.: Кун Т. Дополнение 1969 года // Структура научных революций. М., 2003. С. 265–270.

⁶ См. например: *Einstein, Albert* The meaning of relativity. Princ. Univ. Press, 1946; *Гинзбург В.Л.* Как устроена вселенная и как она развивается во времени. М., 1968.

⁷ Камю А. Миф о Сизифе // Сумерки богов. М., 1990. С. 239.

⁸ Шестов Л.И. Афины и Иерусалим. СПб., 2001. С. 29.

⁹ См.: *Gödel K.* On Formally Undecidable Propositions of the Principia Mathematica and Related Systems. N.-Y., 1965; *Успенский В.А.* Теорема Гёделя о неполноте. М., 1982.

Сравнительный анализ подходов к концепту конституции со стороны политологии и юридической науки

Концепт конституции рассматривается преимущественно в рамках политологии и юридической науки. Подходы этих научных дисциплин к концепту конституции имеют как ряд общих аспектов, так и демонстрируют существенные различия. В данной публикации мы выделим основные сходства и отличия в подходах к концепту конституции со стороны политической науки и права, проанализируем концепции «юридической» и «политической» («гражданской») конституции.

Важно отметить, что различия пролегают не только на идейно-теоретическом уровне, но и в области терминологии. Так, профессор Дж. Финн из Веслейского университета (США) выделяет юридическую (*juridic*) и гражданскую (*civic*) конституцию¹, его коллега профессор Э. Корвин (США) — юридическую (*juristic*) и политическую (*political*), а профессор Р. Нэйджел (США) — юридическую (*legal*) и политическую (*political*)². По поводу терминологии ведутся дискуссии: Финну ближе терминология Корвина, так как его характеристика «*juristic*», на взгляд исследователя, релевантнее в плане сопоставления конституции как основного закона с институциональными запросами на ее применение со стороны судебной власти. В то же время, Финн отвергает характеристику «*political*», считая, что слово «*civic*» отражает «наставническую» функцию конституции, которую подразумевал также третий президент США Т. Джефферсон.

В юридической науке исследование конституций является предметом отдельной дисциплины — конституционного права. Данное наименование является общепринятым, однако существует и такое название, как государственное право. Как отмечает известный российский правовед М.В. Баглай, между ними нет принципиальной разницы, и дело чаще всего в традиции. В США и во Франции используется термин «конституционное право», а в Германии — «государственное право»³. Что касается России, то здесь развитие рассматриваемой дисциплины складывалось особым образом. До 1917 г. использовались оба названия, хотя конституции в стране не было, что и вызвало спор о терминах⁴. Разнообразие в наименовании отрасли наблюдалось и в 1920-е гг., в самом начале становления советской правовой науки⁵. Один из исследователей писал, например, что «государственное право, по содержанию охватывающее круг вопросов, относящихся к принципиальным вопросам конституции, должно быть названо конституционным правом. Чтобы не получилось представления о том, что снимается вопрос о государственном пра-

ве (в его социалистическом понимании), мы считали бы нецелесообразным называть это право: конституционное (государственное) право»⁶. В 1950–1970-е гг. по данному поводу в отечественной литературе развернулась интенсивная дискуссия. Печатались как работы, защищавшие необходимость сохранения существовавшего названия, так и материалы, призывавшие к его смене. Публикации, апеллировавшие к «конституционному праву»⁷, в определенной степени повторяли образцы, имевшиеся еще в дореволюционной российской литературе⁸. Дискуссия развивалась волнообразно: она оживилась вновь после принятия Конституции СССР 7 октября 1977 г.⁹, но вскоре потеряла былую остроту. Затянувшийся спор, как отмечалось в одной из работ, имел терминологическое значение и не заслуживал такого большого внимания, какое ему уделялось в литературе¹⁰. И все же это утверждение оказалось несколько преждевременным. В годы перестройки число сторонников наименования отрасли «конституционным правом» резко возросло, и эта тенденция получила, в конце концов, официальное признание¹¹.

Общепризнано, что предметом конституционного права являются конституционно-правовые нормы и институты, регулируемые этими нормами общественные отношения, основы правового положения личности и правового положения государства на международной арене, а также научные источники, содержащие выводы и умозаключения специалистов в области конституционного права. Сама конституция определяется многими учеными как юридический документ, «выражающий волю и интересы народа в целом, либо отдельных социальных слоев (групп) общества, и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественного строя и государственной организации соответствующей страны»¹².

Принято считать, что конституционное право обеспечивается применением публичной, главным образом, государственной власти. Любые общественные отношения, связанные с применением власти, являются, прежде всего, политическими отношениями, а закрепленные в конституциях нормы права по своему характеру, безусловно, являются таковыми. Поэтому в ряде стран конституционное право часто рассматривается наравне с политическим правом, или, иными словами, термин «политическое право» равнозначен термину «конституционное право». Так, доцент университета г. Дижон (Франция) Ж. Механтар считает, что «конституционное право в качестве своего предмета имеет юридическое изучение политической власти»¹³, а профессор университета «Париж-1» Ж. Жикель (Сорбонна, Париж, Франция) утверждает: «Конституционное, или политическое, право живет в нас и для нас»¹⁴.

В конституционном праве проводится четкое разделение концептов конституций с точки зрения их связи с политической или правовой сферами. Фактическая конституция, называемая иначе материальной, обозначает систему общественных отношений, складывающихся по поводу устройства общества и государства и определения положения человека в обществе и государстве. Юридическая, или формальная, конституция —

это система правовых норм, регулирующих обозначенный круг общественных отношений. Суть расхождений между понятиями юридической и фактической конституций проявляется, во-первых, в содержании конституционных документов. Так, основной закон чаще всего содержит нормы, ориентированные на будущее, закладывающие фундаментальные цели дальнейшего развития общества и государства. Во-вторых, юридическая конституция может не соответствовать (отставать или опережать) уровню развития общественных отношений¹⁵. Наиболее часты примеры опережения, когда в странах с недемократическими режимами не реализуются демократические нормы¹⁶.

В конституционном праве выделяются сущность, функции и основные черты конституций¹⁷, отмечаются их особые юридические свойства, к перечню которых, впрочем, не выработано единого подхода. Данные свойства раскрывают правовую природу конституции и определяют ее место в правовой системе страны¹⁸. Во всевозможных источниках выделяются разные свойства, однако чаще всего упоминаются учредительный характер, верховенство, высшая юридическая сила, свойство быть юридической базой текущего законодательства, прямое действие и стабильность¹⁹.

На практике характер отношений, регулируемых конституционным правом, зависит от целого ряда факторов, но, прежде всего, от соотношения политических сил при выработке и принятии норм. Данные нормы после принятия соответствующей конституции, по общему правилу, создаются государством, хотя в некоторых правовых системах они образуются другими способами, в том числе выработкой судебного прецедента или признанием действия конституционного обычая. В регулятивной области конституционного права оказываются базовые отношения, связанные с основами правового положения личности, основами организации государства и т.п.

Формально-юридический по своей сути подход к толкованию и изучению конституций, применяемый в конституционном праве, вытекает также из того факта, что до появления кодифицированных писаных конституций, какими мы представляем их сегодня, «конституцией» мог называться любой закон, касавшийся деятельности органов власти. Иными словами, существующая терминологическая конфигурация и ее восприятие являются результатом исторического развития.

По мнению Дж. Финна, на сегодняшний день правоведы при рассмотрении концепта конституции сходятся на трех основных тезисах²⁰. Во-первых, конституция является в большей степени законом, чем основой политической конфигурации (с этим посылом соглашаются все исследователи-правоведы, независимо от прочих разногласий между ними): она «определяет правила игры, а не победителей или проигравших, ... выделяет контуры политики, а не ее содержание»²¹. Во-вторых, она является основным, или верховным, законом (англ. аналог термина «основной закон» — «supreme law»). В мире главенствующий статус конституций закреплен почти повсеместно непосредственно в их текстах²². Практическим прецедентом здесь

стало дело «Мэрбюри против Мэдисона», которое рассматривалось Верховным судом США в 1803 г. В числе решений судей было заключение о том, что Конгресс не вправе принимать законопроекты, противоречащие конституции. В данном случае необходимо помнить, что тезис о верховенстве, помимо легальной компоненты, может таить в себе и гораздо менее изученную политическую составляющую²³, в том числе потому, что само прилагательное «основной» в определенном контексте может иметь эмоциональную окраску. Третий тезис основывается на предыдущих двух. Распространение и верховенство конституции на определенной территории наделяет судей полномочиями по рассмотрению и, при необходимости, пересмотру законов (законопроектов) и действий для определения их конституционности, по толкованию самой конституции.

Широта этих полномочий является предметом активных дискуссий среди правоведов, начало которой было положено в письме видного государственного деятеля США Александра Гамильтона «Федералист № 78» от 28 мая 1788 г. В нем Гамильтон указал, что федеральные суды обладают самыми широкими правами и являются первой инстанцией: «...Первоначальный акт высшей власти следует предпочесть последующим актам низшей и подчиненной власти, и, соответственно, когда данный статут противоречит конституции, долг суда придерживаться последней, игнорируя первый»²⁴. Более того, Гамильтон отмечал: «Ни один законодательный акт, ...противоречащий конституции, не может быть правомерным. Отрицать это — все равно, что утверждать, что подчиненный главнее своего начальника»²⁵. В том же письме Гамильтон четко обозначил, что право трактовать конституцию принадлежит судьям, а не всему обществу, так как только судьи в достаточной степени компетентны для выполнения такой задачи. Четвертый президент США Дж. Мэдисон и вовсе считал, что обращение к обществу в целом для решения конституционных вопросов опасно, так как может спровоцировать нагнетание страстей и таит в себе «опасность нарушения общественного спокойствия»²⁶, способно подорвать стабильность государственной власти. Впрочем, там же Мэдисон указал, что граждане имеют право на вмешательство в исключительных случаях. Он также полагал, что конституции не могут содержать решения всех возникающих политических проблем. Таким образом, в рамках концепции Мэдисона, время от времени возникающие кризисы в вопросах государственного управления являются нормой, не подрывают основ конституционного строя и, возможно, даже полезны, так как позволяют посредством управляемого конфликта улаживать существующие в обществе и политической среде противоречия. В целом и Гамильтон, и Мэдисон стремились создать такую конституцию, которая в политическом пространстве «расположила бы правительство на расстоянии от народа»²⁷.

Необходимо отметить, что конституционность — это в немалой степени перманентно дискуссионное поле, «игра» на котором должна вестись на равных; противное же чревато своеобразным конституционным самодержавием²⁸. На практике с нормами конституционного права и концептом

юридической конституции чаще всего имеют дело конституционные суды — специальные уполномоченные органы, которые в различных странах также могут носить такие названия, как «верховный суд» или «высший суд». Конституционные суды призваны давать толкование положений конституций и выносить вердикт о соответствии, или конституционности, законов более низкого уровня. Кроме того, важной стороной деятельности конституционных судов является защита закрепленных в основном законе прав и свобод граждан. Подтекст появления современных конституционных судов весьма точно отразил в своей работе «Демократия в Америке» известный французский политический мыслитель и историк А. де Токвиль: «На практике могут возникать вопросы о точных пределах компетенции... исключительного по своему характеру правительства (имеются в виду все ветви власти, а не только исполнительная. — *Прим. авт.*), а поскольку было опасно оставлять решение данных проблем на усмотрение обычных судов... то в связи с этим был учрежден федеральный Верховный суд, уникальное судебное учреждение, одной из прерогатив которого было поддержание того разделения власти между двумя соперничающими правительствами, которое было изначально установлено самой конституцией»²⁹. Хотя де Токвиль, говоря о двух соперничающих правительствах, подразумевал федеральное правительство и правительства штатов, суть его утверждения сегодня можно распространить на сферу регулирования взаимоотношений между ветвями власти в целом (как по горизонтали, так и по вертикали).

Необходимо отметить, что в ряде стран — в основном в тех государствах, где конституции не были кодифицированы, — конституционные суды отсутствуют. Так, в Великобритании сам термин «конституционность» не имеет большого значения, а функции конституционного суда в силу исторически сложившегося баланса политических сил выполняет парламент, являющийся стержнем политического порядка. В литературе о британской системе управления и политической системе суды, судьи и судебная система упоминаются редко, в прессе публикуется мало статей по правовой проблематике. Резкий контраст с положением дел в других странах — и, прежде всего, с США, где судам предоставлена огромная политическая власть, — трудно переоценить. Юридические системы Великобритании и США уходят корнями к одному и тому же наследию публичного права, однако конституционные различия между странами огромны³⁰. Тем не менее, случай Великобритании и аналогичные ему казусы находятся в явном меньшинстве.

При нормальном функционировании демократической политической системы современного типа роль судебной системы трудно переоценить. Например, в США «право судов объявлять тот или иной закон не соответствующим конституции служит все же одной из самых мощных преград, которые когда-либо возводились против тирании политических органов»³¹. В своей работе суды опираются на действующее законодательство, фундаментом которого чаще всего является основной закон. Наиболее

близок к работе с текстом конституции в повседневной деятельности суд высшей инстанции (конституционный или верховный). Как утверждал А. де Токвиль, в США «суды в первую очередь подчиняются конституции, отдавая ей предпочтение перед другими законами, ... и во Франции конституция является основным законом государства, и судьи имеют такое же право принимать ее за основу при вынесении своих приговоров»³².

В целом сегодня многие исследователи возлагают задачу интерпретации конституции и сохранения конституционного порядка на судебную власть³³. Подобная интерпретация исходит как из накопленного политического и юридического опыта, так и из логических изысканий в рамках релевантных концепций общественно-политического устройства, предложенных еще Дж. Локком или Ш.-Л. Монтескье. Однако даже формально и фактически независимая судебная власть должна учитывать, что любое толкование является своего рода политической установкой для общества и касается определенного набора ценностей. В деле интерпретации судьям не следует забывать о роли «честных маклеров» и о необходимости поддержания авторитета судебной власти, недопущения ее дискредитации.

В противовес Гамильтону, об открытом и самом широком общественном формате конституционного дискурса рассуждает в работе «Закон свободы» Рональд Дворкин³⁴. В своем более раннем исследовании «О правах всерьез» Дворкин отметил, что «человек привержен закону, а не мнению какого-либо конкретного человека о том, что значит этот закон». Законы, с точки зрения Дворкина, являются набором правовых принципов, которые нуждаются в интерпретации и применении, а граждане имеют право толковать конституцию наряду с профессиональными юристами³⁵. Очевидно, что с практических позиций подход Дворкина весьма уязвим: его сложно не только реализовать, но даже представить. В данном случае мы не имеем четко очерченного сообщества «дискутантов», а обычные граждане страны вряд ли обладают необходимыми знаниями и навыками ведения дискуссии для того, чтобы быть «на равных» с профессионалами в рассматриваемой сфере (последний тезис упоминается в работе «Закон свободы»). Кроме того, важным следствием существования такого «сообщества дискутантов» становится проблема распределения политической власти³⁶. В сообществе действует язык закона, одновременно являющийся языком «силы и общественного контроля»³⁷, понять который способны лишь компетентные в правовой области люди. Дискурс на этом языке можно назвать весомой составляющей политической жизни: дискурсивные практики, по сути, приравниваются к политическим³⁸. Однако, как мы видим, эффективно участвовать в таком дискурсе может только меньшинство. Большинство может оказаться не только отстраненным от этого процесса, но и вовсе попасть под контроль «компетентного» меньшинства.

Исследователи расходятся во мнениях относительно влияния толкования конституции на политические и общественные процессы. Так, Р. Нэйджел утверждает, что попытки интерпретации основного закона нарушают

хрупкое соглашение между гражданами, затрудняют саму реализацию положений конституции и ее основных принципов, искажают представления граждан о ней³⁹. К. Айгрюбер, напротив, считает, что деятельность судов в области конституционного права приносит больше пользы, чем вреда⁴⁰. Очевидно, что выполнение положений основного закона так, как это задумывалось авторами конституции, требует как можно менее предвзятой трактовки его положений. Однако в силу действия объективных (например, баланс внутренних и внешних политических сил, изменившиеся культурные установки в обществе) и субъективных (мнения и действия отдельных акторов) факторов полная непредвзятость практически исключена. Следовательно, попытки интерпретации всегда будут иметь место и влиять на политический процесс. Впрочем, как теоретикам, так и практикам необходимо помнить, что только лишь толкование основного закона не олицетворяет собой весь конституционный процесс, и чрезмерное увлечение интерпретацией способно увести далеко от конституционных идеалов.

Вышеописанные дискуссии почти невозможны без признания того факта, что конституция является писанным законом (сводом законов). Формально-легальный подход дает исследователю возможность понять суть основного закона, в том числе основания его верховенства и, согласно ряду концепций, причины преобладания судебной власти в процессе толкования положений конституции. Кроме того, подобный подход выделяет непосредственно конституционный процесс и его участников, структуру взаимосвязей между ними⁴¹. Вместе с тем, формально-легальный подход не расставляет «политически» окрашенных акцентов между акторами.

Из сомнительных сторон данного подхода можно выделить его эксклюзивность, непрозрачность для большинства членов общества, в том числе для исследователей, не специализирующихся на праве. Язык юридической концепции весьма сложен и не исключает использования лагинских слов и словосочетаний с туманным для непрофессионалов значением. Поддержание же конституционного порядка является не общественной задачей, а миссией закрытого, почти элитного «клуба». Эксклюзивность не носила негативного характера в работах того же А. Гамильтона, который считал толкование конституции искусством, однако чем ярче выражена такая эксклюзивность, тем менее конституция является инструментом самоуправления в руках граждан и тем более становится мистическим символом⁴². Кроме того, как уже отмечалось выше, часто в глазах правоведов конституционная теория сводится к вопросам конституционной интерпретации. Конституция — не просто текст, требующий толкования, но и акт, который создает политический уклад и сам непосредственно связан с политическим порядком. Концепт юридической конституции, взятый отдельно, способен сузить наши представления о концепте конституции в целом, так как не затрагивает вопросов гражданского воспитания и политических обязательств граждан⁴³.

В противоположность конституционному праву, политическая наука не концентрируется при изучении конституций на формально-легальных ас-

пектах. Как полагает Дж. Финн, в политической науке конституция понимается «не как основной закон, а как политическое кредо»⁴⁴, главным является не легальность, а коллективная идентичность как свойство общественных отношений. Причем речь идет не только о коллективной идентичности как данности, но также об ориентации этой идентичности на определенные чувства и действия. В отличие от юридической, «политическая» конституция затрагивает государственное устройство, содержит в себе набор эталонных конструктов и инструкции по их внедрению в реальную жизнь.

Как уже отмечалось выше, часть исследователей называет «политическую» конституцию «гражданской», чтобы подчеркнуть прямую связь между текстом основного закона и гражданами той страны, где такой закон действует. Терминологическая диверсификация в этом случае имеет глубокий смысл: политологи часто используют понимание конституции как договора между подданными государства или как механизма, устанавливающего баланс сил и регулирующего взаимоотношения между органами власти. «Договорное» понимание находится в основе классического либерализма, рассматривающего общественный договор как фундамент для взаимодействия между властью и гражданским обществом. Развивая «договорную» концепцию, конституцию можно также рассматривать как определение должностных обязанностей правителей в рамках «договора о найме»: в условиях либерального демократического государства подданные, по сути, нанимают чиновников для осуществления власти ради общего блага. Конституция в таком случае является важнейшим элементом такого договора, заключаемого между государством и гражданским обществом⁴⁵. В качестве балансирующего механизма конституция используется повсеместно: в текстах, как правило, описаны полномочия, права и обязанности ветвей власти, порядок взаимодействия между ними.

Как и юридическое понимание конституции, политическая парадигма имеет свою целевую аудиторию — это одновременно политическая элита и социум государства, а также каждый гражданин в отдельности. Конституции стран мира в своей подавляющей массе апеллируют к демократическим нормам и ценностям, а потому апелляции к гражданам не избежать. Можно возразить, что юридическая конституция тоже апеллирует к гражданам, но такое обращение в праве ограничивается статусом подданных государства как частных в юридическом смысле лиц. В идеале политическая наука видит гражданина не как частное лицо, а как представителя гражданского общества, участвующего в политической жизни и имеющего гражданское самосознание. Гражданин должен чувствовать ответственность не только за себя, но и за свою группу в рамках исполнения социальных ролей, за общество в целом, за свою страну. Иными словами, деятельность гражданина в рамках политической парадигмы более плодотворна, чем с правовой точки зрения⁴⁶.

Для понимания гражданской (политической) концепции конституции требуется больший по сравнению с юридической концепцией объем знаний (не только юридических) и ответственности. Эти знания можно ус-

ловно назвать гражданскими, так как они носят более общий, не чрезмерно специализированный характер, благодаря чему «политическая», или «гражданская», конституция проще понимается индивидами, не являющимися правоведами. Ответственность за поддержание конституционного порядка не сводится исключительно к соблюдению и толкованию правовых норм, а предполагает также максимальное общественное участие и реализацию механизмов демократии⁴⁷.

Тем не менее, более широкая доступность «политической» конституции не означает примитивности или простоты самой концепции по сравнению с юридическим вариантом. Действительно, рассуждения в границах гражданской концепции не требуют знания юридических терминов и норм, владения специфическим «языком». Напротив, язык «политической» конституции очень распространен⁴⁸. Вместе с тем, для свободного владения концепцией требуется четкое представление о гражданских идеалах, ценностях и целях. Предмет «политической» конституции менее конкретен: в отличие от правового подхода, речь не идет о каких-либо точных процедурах или нормах. «Политическая» конституция не ограничивается характеристикой конституционного строя: она подразумевает гражданскую поддержку, составляет и олицетворяет конкретную политику, определенный политический режим⁴⁹. Иными словами, мы можем утверждать, что конституция в каждом конкретном случае обязательно предполагает политическую идентичность. Такая идентичность может выражаться посредством декларируемых в конституционных текстах принципов, символов, идеологий, типов политики. И чтобы познать конституцию с политической точки зрения, граждане должны понять свои гражданские цели, задачи и потребности.

Роль политической концепции конституции поистине высока: как полагает Финн, она воспитывает в человеке гражданские качества. Известный американский политолог Бенджамин Барбер выделяет три формы такого воспитания: во-первых, оно включает общее знакомство с нормами гражданской, общественной жизни, историей собственной страны, работой органов государственной власти. Во-вторых, Барбер говорит об участии гражданина в общественной жизни, ссылаясь в данном случае на идеи А. де Токвиля. В-третьих, гражданское воспитание подразумевает непосредственное участие в политике⁵⁰. От гражданина требуется знание основных традиций (в том числе политических) своей страны. Впрочем, подобное знание гражданин не может получить иначе, как в результате политической, гражданской социализации, осознавая ее смысл и цели.

Из достоинств концепции «политической» конституции очевидна ее открытость критике и широкому участию, чем она выгодно отличается от правового подхода. Что касается противников этой концепции, то они обычно прибегают к ряду аргументов. Во-первых, они могут утверждать, что понимание конституции, ее толкование не могут быть доступны обычным гражданам. Однако этот довод рушится под напором контраргументов: «гражданская» конституция вовсе не посягает на профессиона-

лизм судебной власти; она, скорее, нацелена на общее повышение политической культуры. Во-вторых, оппоненты концепции говорят о необходимости некой решающей силы в конституционном процессе для поддержания порядка и дисциплины, прямо указывая при этом на судебную власть. Они считают, что в принципе равных прав ветвей власти на толкование основного закона заложены элементы анархии. Контраргументом здесь выступает тезис о том, что необходимо разграничивать преобладание судебной власти и разрешение противоречий с использованием конституционных принципов⁵¹. В-третьих, существует мнение, что при реализации концепции гражданской конституции осложняется защита прав и свобод личности, меньшинств или непопулярных социальных групп, нарушаются основы равенства, переоценивается способность рядовых граждан стоять на страже личных прав и свобод. Сторонники «гражданской» конституции отвечают, что их концепция разработана совсем не для замены юридической концепции, а конституционная «зрелость», или умение защищать и реализовывать конституционные права, появляется у граждан только при возможности участия в конституционном процессе и осознании своей ответственности за судьбы страны и общества.

Различия в рамках правового и политического подходов затрагивают соотнесение текста документа с конституционным порядком. Кроме того, в рамках этих подходов выделяются разные институты и лица, несущие ответственность за защиту и поддержание конституционного порядка (во всех смыслах), сами защита и поддержание также трактуются по-разному. Уделяется неодинаковое внимание интерпретации конституции и называются различные носители институциональной ответственности в области интерпретации. Верховенство судебных решений по интерпретации конституции имеет место, когда оно надлежащим образом закреплено. Но возможны ситуации, когда различные ветви власти имеют равный вес в толковании основного закона. Потенциально к конфликтным ситуациям могут приводить оба варианта, однако целый ряд исследователей отмечает, что приоритет судов может «отключить» других политических акторов и граждан от конституционного процесса⁵². Впрочем, последний тезис — исключительно в духе гражданской концепции и будет немедленно подвергнут сомнению профессиональными юристами. Наконец, сторонники первого и второго подходов расходятся в понимании термина и концепта «гражданство» (англ. citizenship), что также провоцирует дискуссии.

Не следует противопоставлять политический и правовой подходы, поскольку это снижает эффективность анализа. В результате исследователь может упустить из виду многие взаимосвязи двух подходов. Синтез концепций представляет собой оптимальный вариант анализа, обогащает выводы. То, что концепции пересекаются, очевидно: например, ничто не мешает суду — в полной мере правовому институту — быть участником гражданской социализации. Если же судебная система не будет участвовать в этом процессе, сузится поле конституционного дискурса. Р. Нэй-

джел считает, что преобладание правовой трактовки над политической может привести к подрыву «приверженности конституционным принципам и политической культуры в целом»⁵³.

Важно отметить, что задачей исследователя является не поддержка того или иного подхода, а критическое их осмысление и анализ для совершенствования научных и общественных представлений о рассматриваемом концепте, своего рода примирение и синтез двух подходов.

Конституция, между тем, скрепляет и организует деятельность не только органов власти, но и граждан, и в этом плане выступает как объединительный фактор. Посредством основного закона подданные соглашались с набором определенных процедур ведения государственных дел и разрешения общественных конфликтов. Конституция, очерчивая компетенции правительства, в то же время защищает институты власти от самих граждан, которые могут действовать не на благо государства, исходя из конъюнктурных соображений или находясь в плену эмоций⁵⁴.

Впрочем, при очевидных отличиях в данном случае прослеживается взаимосвязь с формально-легальным подходом, так как сама идея договора заимствована из области права. Это только укрепляет нас во мнении о том, что политика и право тесно взаимосвязаны. Еще в 1882 г. британский юрист Ф. Поллок отметил, что «право для политических институтов значит то же, что становой хребет для тела»⁵⁵. Хотя данная метафора изъята из контекста, она представляется весьма уместной. В специальной литературе, посвященной политическим наукам, встречаются правовые термины и ссылки на правоведческие концепции, причем некоторые из них непосредственно указывают на отношения между правом и политикой, между субъектами правового и политического действия и институтами. Как полагает профессор Лондонского университета Г. Дрюри, публичное право тесно вплетено в структуру социального управления, хотя в одних странах это прослеживается более отчетливо, чем в других⁵⁶. Еще в первой половине XX в. исследователям «было совершенно непонятно, как можно рассуждать о политической системе в отрыве от системы правовых знаний»⁵⁷.

Продолжая эту мысль, Ф. Ридли высказал мнение о том, что в Америке юриспруденция «стала крестной матерью политической науки»⁵⁸. При становлении нового государства было жизненно важно создать формальные рамки для политического действия, и отцы-основатели США осознавали эту необходимость. Как отмечает российский политолог М.В. Ильин, переселившиеся в Новый свет британцы были особенно привержены идее конституции. Само создание колоний вынуждало закреплять основополагающие принципы политического устройства на бумаге и утверждать соответствующими актами⁵⁹. В ходе борьбы за независимость и последующего государственного строительства североамериканские колонии вместо революционного разрушения британской конституции фактически ее достраивали⁶⁰.

Как и в США, политологические работы известных британских мыслителей — Г. Мейна, Ф. Поллока и др. — основаны на правовом фундамен-

те. Эта преемственность прервалась в стране между двумя мировыми войнами, а усугубила пренебрежение к праву бихевиористская (поведенческая) революция 1950–1960-х гг., привнесшая антиформалистские настроения. Сейчас в процессе гораздо более активного взаимодействия Великобритании с институтами ЕС и национальными структурами других стран континента происходит медленное сглаживание этих различий. Положительное влияние в данном случае оказывают продолжающиеся дебаты по вопросу о проведении конституционной реформы и возможности включения Европейского соглашения о правах человека в британское право. Возврат к состоянию начала XX в. по уровню взаимосвязанности двух наук пока вовсе не очевиден и не гарантирован.

Из вышесказанного следует, что для полноты исследования конституцию необходимо рассматривать как с правовой, так и с политологической точек зрения. Более того, очевидно, что сам концепт конституции немислим в рамках лишь одного измерения, и его нельзя однозначно охарактеризовать как «юридический» или «гражданский» («политический»). Соотношение двух подходов определяется основным родом деятельности исследователя: если автор является юристом, то приоритет наверняка будет отдан правовой точке зрения, а если исследователь изучает главным образом политику, то акценты будут расставлены в пользу мира политического. Некоторые исследователи расставляют акценты так, что объявляют одну концепцию частью другой: речь идет о том, что, по их мнению, толкование конституции в рамках правовой парадигмы является структурным элементом политических процессов в рамках реализации политико-гражданской концепции⁶¹. Возможно, это соответствует действительности, если сводить правовую парадигму только лишь к интерпретации основного закона. Однако рамки ее более широки, а потому подобная однозначность искусственно занижает значение концепции и превращает подход из объективного и критического в ограниченный и предвзятый. Одна из задач нашего исследования как раз состоит в том, чтобы попытаться соблюсти разумный баланс между двумя подходами, что позволит сделать выводы, учитывающие в максимально равной степени все стороны вопроса.

В среде политологов бытует мнение, отвергающее правовой подход как формалистский и старомодный⁶². Однако необходимо помнить, что правовой анализ политики имеет ряд преимуществ и может внести свой вклад в политические исследования. В свою очередь, отдельные представители академической юридической науки рассматривают свой предмет исключительно с практического угла зрения и считают обращения к политической науке бесполезными.

Даже несмотря на недостаток взаимодействия исследователей с обеих сторон, некоторые связи между политикой и правом в практическом отношении очевидны. Во-первых, основной закон государства и положения публичного права устанавливают формальную базу политической практики и составляют важнейшее средство подотчетности органов власти и ог-

раничений их деятельности. Во-вторых, отношения на наднациональном уровне, т.е. международные отношения, базируются на международном праве. Даже принимая во внимание более низкий уровень развития международного права по сравнению с правовыми системами национальных государств, политическая практика реализуется главным образом на основе международной законодательной базы. В-третьих, необходимо упомянуть судебные органы как арену борьбы групп давления, на законной и конституционной основе выдвигающих претензии к правительству или друг к другу для решения вопросов политической повестки дня. Именно поэтому назначение судей Верховного суда и судов других уровней в США привлекает внимание политиков, политологов, СМИ и политических активистов. В-четвертых, законодательная деятельность представляет собой проявление государственной власти в той степени, в которой является способом проведения в жизнь того или иного политического курса. Это в первую очередь касается парламентов, которые на сегодняшний день являются главными агентами законодательной деятельности. Значительная часть законодателей во многих странах происходит из семей потомственных юристов⁶³. Еще в 1835 г. А. де Токвиль тонко подметил соединение политического и юридического начал в карьерах таких законодателей: «Правоведы... которым народ доверяет, занимают, естественно, большую часть государственных должностей... законоведы здесь образуют высший политический класс и самую интеллектуальную часть общества...»⁶⁴

Правовые идеи очень глубоко укоренились в политической теории, что подтверждает оценка концепций общественного договора Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Но и работы известных политических мыслителей Н. Макиавелли, И. Бентама, К. Маркса и др. считаются обязательными в университетских программах по теоретической юриспруденции, равно как и по истории политической мысли. Сегодня в таких программах присутствуют также имена Дж. Роулза, Р. Нозика, М. Фуко⁶⁵.

В целом можно заключить, что между юридической наукой и политологией существует естественная близость, выражающаяся в самых разных формах. Практически любой аспект политической деятельности и политических изменений — на субнациональном, национальном, межнациональном и глобальном уровнях — имеет свои правовые или конституционные аспекты. Правовой подход акцентирует внимание исследователя на формальной структуре и документах, в то время как сквозь призму политической науки конституция рассматривается не столько как формальный порядок, сколько как сложившаяся общественная система со всеми ее взаимосвязями.

¹ Выполняя настоящую статью на русском языке, считаем необходимым обратить внимание на то, что терминология на русском языке в ряде случаев не в состоянии отразить суть дискуссии между зарубежными исследователями, и поэтому приводятся англоязычные аналоги упоминаемых понятий.

² Подробнее см.: *Finn J.E. The civic constitution: Some preliminaries // Constitutional Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. Princeton, 2001. P. 42–43; Corwin E.S. Court over constitution: A study of*

judicial review as an instrument of popular government / E.S. Corwin. Princeton, 1938; *Nagel R.F.* Constitutional cultures: The mentality and consequences of judicial review / R.F. Nagel. Berkeley, 1992.

³ *Баглай М.В.* Конституционное право Российской Федерации: Учебное пособие. М., 2004. С. 8–9.

⁴ *Баглай М.В.* Конституционное право Российской Федерации: Учебное пособие. М., 2004. С. 9.

⁵ *Курпиц Н.Я.* Из истории науки советского государственного права. М., 1971. С. 108–118.

⁶ *Траинин И.П.* О содержании и системе государственного права // Советское государство и право. 1939. № 3. С. 44.

⁷ Подробнее см.: Конституционное право социалистических стран: Сборник статей / Под ред. В.Ф. Котока и Н.П. Фарберова. М., 1963; *Ржевский В.А.* Вопросы теории советского конституционного права. Вып. 1. Саратов, 1967; *Русинова С.И.* Советское конституционное право / Под ред. С.И. Русиновой, В.А. Рянжина. Л., 1975.

⁸ См. напр.: *Ковалевский М.М.* Общее конституционное право: Лекции, читанные в С.-Петербургском университете и Политехникуме, 1907–1908. СПб.: 1908; *Гессен В.М.* Основы конституционного права. Пг., 1918.

⁹ Подробнее см.: *Семенов П.Г.* О «государственно-общественном» характере основной «государствоведческой» отрасли советского права // Конституция СССР: проблемы государственного и советского строительства / Редкол.: И.А. Азовкин, В.О. Лучин и др. М., 1980. С. 41.

¹⁰ Советское государственное право / Под ред. И.Е. Фарбер. Саратов, 1979. С. 12–13.

¹¹ *Белкин А.А.* Наименование отрасли: государственное и конституционное право // Избранные труды 90-х годов по конституционному праву. СПб., 2003. С. 150–151.

¹² Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Авакьян. М., 2000. С. 313.

¹³ *Mekhantar J.* Droit politique et constitutionnel. P., 1999. P. 11.

¹⁴ *Gicquel J.* Droit constitutionnel et institutions politiques. P., Montchrestien, 2002. P. 9.

¹⁵ Подробнее см.: *Арбузкин А.М.* Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие. М., 2005. С. 31; *Маклаков В.В.* Конституционное право зарубежных стран. Общая часть. М., 2006. С. 58–64.

¹⁶ Примером здесь может быть конституция СССР 1936 г.

¹⁷ Подробнее см.: Сравнительное конституционное право / Под ред. В.Е. Чиркина. М., 2002. С. 108–123; *Авакьян С.А.* Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000. С. 26–31.

¹⁸ Сравнительное конституционное право / Под ред. В.Е. Чиркина. М., 2002. С. 109.

¹⁹ Подробнее см.: Сравнительное конституционное право / Под ред. В.Е. Чиркина. М., 2002. С. 108–122; *Колошин Е.И.* Конституционное (государственное) право России. М., 1999. С. 39–44; *Козлова Е.И.* Конституционное право России: Учебник. М., 2004.

²⁰ *Finn J.E.* The civic constitution: Some preliminaries // Constitutional politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. Princeton, 2001. P. 45.

²¹ Цит. по: *Roelofs H.M.* The poverty of American politics: A theoretical interpretation. Philadelphia, 1992. P. 97.

²² Так, п. 2 ст. 6 конституции США гласит: «Настоящая Конституция и законы Соединенных Штатов, изданные в ее исполнение, равно как и все договоры, которые заключены или будут заключены властью Соединенных Штатов, являются высшими законами страны, и судьи в каждом штате обязываются к их исполнению, даже если в Конституции и законах какого-либо штата встречаются противоречащие положения». Подробнее см.: Конституция США // www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm.

В конституции Франции о верховенстве основного закона говорится косвенно в ст. 11, 46, 61, 62, где рассматриваются полномочия различных ветвей власти и специальных органов, созданных для надзора за соблюдением конституции. Подробнее см.: Конституция Французской Республики // Конституции государств Европейского союза / Под общей редакцией Л.А. Окунькова. М., 1997. С. 665–682. Автор статьи учел поправки, которые были внесены в конституцию Франции после издания данной книги.

Таким образом, характер закрепления верховенства конституции — прямой или косвенный — не играет решающей роли, важным является сам факт такого закрепления.

²³ Наиболее отчетливым примером столкновения данных компонент является дело «Бэйкер против Карра», которое рассматривалось Верховным судом США в 1961–1962 гг. Спор велся вокруг конфигурации избирательных округов. Суд постановил, что это не политический вопрос, и решения по нему могут выноситься федеральными судами. Подробнее см.: Решение Верховного суда США по делу «Бэйкер против Карра» // caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=369&invol=186. Кроме того, в рамках уже упоминавшегося выше дела «Мэрбюри против Мэдисона» 1803 г. Верховный суд США постановил, что интерпретация Конституции является функцией федеральных судов. Суд также объявил секцию 13 Судебного акта 1789 г. неконституционной в той ее части, в которой она предполагает расширение компетенции самого Верховного суда за пределы границ, установленных Конституцией. Подробнее см.: Решение Верховного суда США по делу «Мэрбюри против Мэдисона» // caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=5&invol=137.

²⁴ Цит. по: *Гамильтон А.* Федералист. Ст. 78 // Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея / Под общ. ред.; с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. М., 1994. С. 501–510.

²⁵ См.: *Гамильтон А.* Федералист. Ст. 78 // Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея / Под общ. ред.; с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. М., 1994.

²⁶ Цит. по: *Мэдисон Дж.* Федералист, № 49 // Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея / Под общ. ред.; с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. М., 1994. С. 337–341.

²⁷ *Mansfield H.C., Jr.* America's constitutional soul / H.C. Mansfield, Jr. Baltimore, 1991. P. 177.

²⁸ *Белкин А.А.* Конституционность и публичная власть // Избранные труды 90-х годов по конституционному праву. СПб., 2003. С. 168–169.

²⁹ *Токвиль А. де.* Демократия в Америке / Пред. Гарольда Дж. Ласки. М., 2000. С. 103.

³⁰ *Дрюри Г.* Политические институты с точки зрения права // Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. С. 207–208.

³¹ *Токвиль А. де.* Демократия в Америке / Пред. Гарольда Дж. Ласки. М., 2000. С. 95.

³² *Токвиль А. де.* Демократия в Америке / Пред. Гарольда Дж. Ласки. М., 2000. С. 94.

³³ См., напр.: *Sandel M.* Democracy's discontent: America in search of public philosophy. Cambridge, 1996; *Sunstein C.* Legal reasoning and political conflict. N.-Y., 1996.

³⁴ *Dworkin R.* Freedom's law. Cambridge, 1996.

³⁵ *Dworkin R.* Taking rights seriously. Cambridge, 1977. P. 206–222.

³⁶ См., напр.: *Finn J.E.* The civic constitution: Some preliminaries // Constitutional Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. Princeton, 2001. P. 49; *Weinstein B.* The civic tongue: Political consequences of language choices. N.-Y., 1983. P. 3.

³⁷ Цит. по: *Goodrich P.* Legal discourse. N.-Y., 1987. P. IX.

³⁸ *Shapiro M.J.* Language and political understanding: The politics of discursive practices. New Haven, 1981. P. 179.

³⁹ *Nagel R.F.* Constitutional cultures: The mentality and consequences of judicial review. Berkeley, 1989. P. 25ff; 23, 58.

⁴⁰ *Eisgruber C.L.* Disagreeable people: Review essay // Stanford Law Review. Nov. 1990. Vol. 43. № 1. P. 275–298.

⁴¹ *Finn J.E.* The civic constitution: Some preliminaries // Constitutional Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. Princeton, 2001. P. 44.

⁴² *Finn J.E.* The civic constitution: Some preliminaries // Constitutional Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. Princeton, 2001. P. 51.

⁴³ Подробнее см.: *Finn J.E.* Constitutions in crisis: Political violence and the rule of law. N.-Y., 1991.

⁴⁴ *Finn J.E.* The civic constitution: Some preliminaries // Constitutional Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. Princeton, 2001. P. 42.

⁴⁵ *Li B.* What is constitutionalism? // Perspectives. 2000. Vol. 1. № 6 [www.oycf.org/perspectives/6_063000/what_is_constitutionalism.htm].

⁴⁶ *Schwarz N.L.* The blue guitar: Political representation and community. Chicago, 1988. P. 10.

- ⁴⁷ *Finn J.E.* The civic constitution: Some preliminaries // *Constitutional Politics* / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. Princeton, 2001. P. 55.
- ⁴⁸ Подробнее см.: *Weinstein B.* The civic tongue: Political consequences of language choices. N.-Y., 1983.
- ⁴⁹ *Finn J.E.* The civic constitution: Some preliminaries // *Constitutional Politics* / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. Princeton, 2001. P. 55.
- ⁵⁰ *Barber B.R.* Strong democracy: Participatory politics for a new age. Berkeley, 1984. P. 233.
- ⁵¹ *Morgan D.G.* Congress and the Constitution: A study of responsibility. Cambridge, 1966. P. 16–42.
- ⁵² *Burgess S.R.* Contest for constitutional authority: The abortion and war powers debates. Lawrence, KS, 1992. P. 8–9.
- ⁵³ *Nagel R.F.* Constitutional cultures: The mentality and consequences of judicial review. Berkeley, 1989. P. 1.
- ⁵⁴ *Li B.* What is constitutionalism? // *Perspectives*. 2000. Vol. 1. № 6 [www.oycf.org/perspectives/6_063000/what_is_constitutionalism.htm].
- ⁵⁵ *Pollock F.* *Essays in jurisprudence and ethics*. L., 1882. P. 200–201.
- ⁵⁶ *Дрюри Г.* Политические институты с точки зрения права // *Политическая наука. Новые направления* / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. С. 205.
- ⁵⁷ *Mackenzie W.J.M.* *Politics and social science*. Harmondsworth, 1967. P. 278.
- ⁵⁸ *Ridley F.F.* *The Study of government*. L., 1975. P. 179.
- ⁵⁹ Так, Дж. Локк сформулировал для колонии Каролина 120 основополагающих конституционных положений (constitutions), а Уильям Пенн разработал 24 аналогичных положения для Пенсильвании.
- ⁶⁰ *Ильин М.В.* Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М., 1997. С. 314.
- ⁶¹ *Finn J.E.* The civic constitution: Some preliminaries // *Constitutional Politics* / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. Princeton, 2001. P. 58.
- ⁶² *Дрюри Г.* Политические институты с точки зрения права // *Политическая наука. Новые направления* / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. С. 205.
- ⁶³ *Дрюри Г.* Политические институты с точки зрения права // *Политическая наука. Новые направления* / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. С. 206.
- ⁶⁴ *Токвиль А. де.* *Демократия в Америке* / Пред. Гарольда Дж. Ласки. М., 2000. С. 208–209.
- ⁶⁵ *Дрюри Г.* Политические институты с точки зрения права // *Политическая наука. Новые направления* / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. С. 205.

Демократизация как политический процесс: новые идеи и направления исследований

В 2000-х гг. наметилось возрождение интереса ученых-политологов к исследованию корреляции феноменов экономического развития и политической культуры с процессом установления и совершенствования демократии. Новые данные позволили уточнить некоторые классические модели установления народовластия. Поэтому целесообразно обратиться к основным актуальным теориям, раскрывающим роль экономических и политико-культурных факторов в процессе демократического перехода (транзита) и дать им анализ под критическим углом зрения.

Как известно, одним из первых предпосылки демократизации начал исследовать американский политический социолог С. Липсет в конце 1950-х гг. На материалах сравнительного эмпирического исследования он впервые теоретически доказал связь между уровнем экономического развития государства и возможностью установления в нем демократического порядка: «Чем более богата нация, тем более вероятно, что она поддержит демократию»¹. Этот вывод стал одним из самых известных тезисов транзитологии и позволил существенно уточнить рецепт установления народовластия. Однако блеск точной и лаконичной формулировки ослепил многих ученых, и его идея была воспринята как простое обоснование зависимости между увеличением доходов граждан и ростом демократизации. По этому поводу политологи из Швейцарии и Германии Д. Вучерпфенниг и Ф. Дойч отмечают: «Представляется, что Липсет чаще цитируется, чем читается»².

Действительно, сам С. Липсет подчеркивал невозможность вычленения какого-либо одного главного фактора из тесной взаимосвязи различных аспектов экономического развития (индустриализация, урбанизация, богатство и образование)³. Американский политический социолог считал, что подлинная демократическая модернизация проявляется в трансформации социальных условий и развитии политической культуры. Например, «образование работника содействует установлению широких контактов с разнообразными общественными группами... в связи с чем работники более восприимчивы к демократическим ценностям»⁴. Этими словами имплицитно передается идея о решающем значении среднего класса (буржуазии) как актора перемен, о чем впоследствии прямо заявит Б. Мур (см. ниже).

Исходя из этого, «экономическое развитие как совокупность параметров индустриализации, урбанизации, материального благосостояния, образования можно определить лишь как связующую переменную, которая

является частью более обширного комплекса благоприятных условий для демократии», как указал американский политолог Г. Китчелль⁵.

Таким образом, С. Липсет убедительно доказал позитивную корреляцию между совокупностью факторов социально-экономического развития, включающей характеристики индустриализации, урбанизации, материального благосостояния граждан, образования, о которой многие только догадывались. Этот тезис во многом определил развитие транзитологии; он принимается в качестве одного из ключевых элементов теоретико-методологической базы данной диссертации.

Однако впоследствии многие исследователи народовластия, которые наследовали описанный подход, делали выводы, прогнозы, основываясь преимущественно на экономических параметрах процесса политического развития, часто без учета фактора политической культуры. Одной из основных причин этого стали понятность, доступность, точность количественных индикаторов (рост доходов, численность среднего класса и др.) в противовес трудно интерпретируемым и верифицируемым концептам политических убеждений, ценностей, установок, предрасположенностей, составляющих политическую культуру.

Такой вывод может быть подтвержден при анализе идей еще одного видного американского ученого — экономиста и политолога У. Ростоу, — который, основываясь на опыте политической модернизации Западной Европы и Северной Америки, заключил, что экономическая модернизация прямо и неизбежно приводит к демократии. Он выделил шесть правил для эффективного установления работоспособного демократического режима: «мобилизацию всех талантов и ресурсов для модернизации страны; осуществление модернизации в соответствии с культурой и традициями страны и превращение ее в национальную идеологию; обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста и концентрацию на общественных целях; достижение компромисса при осуществлении политики; повышение участия населения в решении проблем страны; разумную внешнюю политику»⁶.

Таким образом, важнейшими условиями последовательно разворачивающегося по определенным этапам процесса демократических преобразований являются экономический рост государства и мобилизация граждан в широком смысле (активное участие в политике, экономике, общественной жизни). Эти идеи стали существенным вкладом У. Ростоу в теоретико-методологическую базу транзитологии.

Однако, как отмечалось выше, за пределами модели осталось решение одной из базовых проблем демократии, а именно — совершенствование политической культуры (особенно в части утверждения ценностей демократии) у рядовых участников модернизируемых сообществ. Как показывает практика Австралии, Дании, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швейцарии, Швеции, фактор политической культуры может иметь одно из решающих значений в поддержании демократии в аграрных стра-

нах, а не в урбанизированных и индустриализованных⁷. Речь идет о том, что в перечисленных государствах демократический строй утвердился благодаря политическим убеждениям и предпочтениям граждан — владельцев фермерских хозяйств, — но не росту городов и увеличению количества промышленных предприятий⁸.

Кроме того, основанная только на западном опыте интерпретация демократизации как определенного процесса с четко вычленимыми этапами, линейно следующими один за другим, отличается чрезмерной умозрительностью, технологическим детерминизмом, односторонностью (принятие сценария модернизации больших стран Запада как универсального), в ней не раскрываются скрытые факторы политических изменений, что существенно сокращает ее возможности и перспективы.

Как станет видно из дальнейшего аналитического рассмотрения, не всем исследователям удалось избавиться от этих ограничителей. Именно технологический детерминизм, фиксация определяющего значения экономического развития для демократии, западцентричное, линейное, механистическое понимание (не учитывающее скрытые и обусловленные историей и культурой конкретного государства факторы политических изменений) процесса общественно-политического развития стали родовой отметиной очень многих теоретических работ в области транзитологии.

К решению возникших проблем одними из первых приступили американские классики политической науки Г. Алмонд и С. Верба, которые убедительно обосновали взаимосвязь между уровнями развития политической культуры и установлением и поддержанием демократии.

Внимательный читатель без труда обнаружит, что исследователи, рассуждая о демократической политической культуре, ставят знак равенства между ней и западной политической культурой. Так, заявив в качестве объекта исследования «политическую культуру демократии» и задав вопрос о «будущем демократии в мировом масштабе», авторы пишут: «Главный вопрос публичной политики ближайших десятилетий заключается в том, каким будет содержание зарождающейся мировой культуры. У нас уже имеется частичный ответ на него, и ответ этот может быть извлечен из того, что мы знаем о процессах распространения культуры. Наименьшие сложности, по-видимому, вызовет распространение вещественных товаров и способов их производства. Очевидно, что эти аспекты западной культуры быстро распространяются, равно как и технология, лежащая в их основе»⁹. Здесь необходимо обратить внимание на словосочетание «аспекты западной культуры».

Более того, процесс формирования политической культуры, сообразной «демократической модели государства участия», авторы понимают как простой «перенос политической культуры Запада в развивающиеся страны»¹⁰. Именно здесь возникает проблема: по сути, авторы теории намеренно откалывают незападным культурам в демократичности. Представляется, что такая посылка страдает от недостатков линейного подхода к социальным процессам, однобокого детерминистского взгляда на западную политическую

культуру как более высокую стадию развития политической культуры вообще, западочентричность, что в целом значительно сужает исследовательскую рамку для изучения актуальных проблем формирования политической культуры демократии. Еще одно противоречие возникает в связи с соотношением данной теории с современной политической практикой признанных демократий Южной Кореи, Японии и других стран, где национальные политические культуры представляют собой продуктивный синтез западных и локальных (незападных) аспектов; последние имеют важное, порой определяющее значение (например, убеждение коллективизма).

В ответ на приведенное выше замечание, современные сторонники Г. Алмонда и С. Вербы могут высказать два возражения. Во-первых, демократия в Южной Кореи и Японии появилась под воздействием внешнего фактора (оккупации США), что делает эти случаи особенными. Во-вторых, заявленный выше тип политических культур американские политологи на примере Британии охарактеризовали как ответ на возникающие трудности демократизации, как промежуточный результат формирования подлинной политической культуры демократии и назвали его «гражданской культурой» — «культурой, соединяющей современность с традицией»¹¹.

Даже если согласиться с первым доводом, то второй аргумент содержит в себе очень значительное затруднение — необходимость ясного определения порога между гражданской культурой и политической культурой демократии, который позволяет уверенно отделить один политико-культурный тип от другого. Убедительного разрешения данного затруднения пока не найдено.

Несмотря на выявленные проблемы, нельзя недооценить значительный вклад авторов данной концепции в демократическую теорию. Ее положения берутся в качестве важной составляющей теоретико-методологической основы диссертации в целом и четвертой главы в частности, где проблемы политической культуры и связанные с ними научные подходы анализируются более широко применительно к странам СНГ.

Подобно Г. Алмонду и С. Вербе, еще один американский ученый Б. Мурмладший считал, что экономическое развитие не обязательно является залогом успеха демократии. Этот политический социолог, как С. Липсет, но определеннее, подчеркивал решающую роль среднего класса в процессе масштабных демократических преобразований: «Нет буржуазии — нет демократии»¹². Кроме того, он выявил пять факторов, та или иная взаимная конфигурация которых определяет путь политической модернизации (либерально-демократический, фашистский и коммунистический): 1) дистрибуция ресурсов между элитами, 2) экономическая основа землевладельческой аристократии, 3) диспозиция классов, 4) распределение власти между классами и 5) независимость органов государственной власти по отношению к господствующему классу¹³.

Таким образом, Б. Мур понимал механизм перехода политической системы из одного режима в другой как распределение власти внутри нее под воздействием особенностей ее взаимодействия с внешней средой.

Другой известный американский ученый С. Хантингтон в конце 1960-х обратил внимание на определяющее значение стабильности в период транзита политической системы для правильного формирования и устойчивого развития политических институтов. Этот политолог предостерегал против чрезмерного роста гражданской активности, который может разрушить новые, неокрепшие политические институты и вызвать общественные волнения: «Может быть порядок без свободы, но не может быть свободы без порядка»¹⁴.

Критическое отношение к широкому распространению ценностей и процедур демократии на первых этапах политических преобразований высказал и теоретик модернизации Д. Аптер. Он считал, что демократический способ управления может дестабилизировать процесс реформирования неподготовленных социально-политических систем¹⁵. Однако такая точка зрения не получила долгосрочную прописку в политической науке. Более поздние исследования позволили, к примеру, упомянутому С. Хантингтону сделать вывод о позитивной корреляции политической модернизации и демократизации (см. ниже).

Следующим этапом развития идей о переходе к демократии стало оформление транзитологии как научной дисциплины в 1970 г. под влиянием «динамической модели» — Д. Растоу. Именно благодаря ей видный американский политический мыслитель получил известность как «отец транзитологии».

Этот исследователь подверг серьезному сомнению убеждение в том, что векторы социального и экономического развития всегда направлены в сторону демократии и являются ее предпосылками. Взамен он предложил иную схему, в которой имеется одно-единственное предварительное условие начала демократизации — фактор национального единства. Последнее понимается как то, что «большинство граждан потенциальной демократии не должно иметь сомнений или делать мысленных оговорок относительно того, к какому политическому сообществу они принадлежат»¹⁶.

Такая посылка позволила автору гениально упростить видение процесса демократических преобразований и создать динамическую модель из четырех этапов:

А) предварительное условие (наличие национального единства);

Б) подготовительная фаза (развертывание «серьезного и устойчивого конфликта», по поводу которого идет «длительная и безрезультативная политическая борьба»);

В) принятие решения (реальный выбор демократии в консенсуальном процессе);

Г) привыкание к демократии (создание доверия к этому политическому режиму, приобщение к нему элит и рядовых граждан¹⁷).

Ряд идей, можно сказать озарений, Д. Растоу опередили научную мысль на несколько десятилетий. Например, сегодня получили более полное подтверждение и приобрели повышенную актуальность положения о том, что

«процесс зарождения демократии не обязательно должен быть единообразным: к демократии может вести множество дорог... не обязательно должен быть единообразным по временной протяженности: на длительность каждой из последовательно сменяющихся его фаз решающее воздействие могут оказать разные факторы... не обязательно должен быть единообразным в социальном плане: даже когда речь идет об одном и том же месте и одним и тем же отрезке времени, стимулирующие его позиции»¹⁸.

Помимо универсальности, краткости и простоты к преимуществам данной модели можно отнести открытый характер, что дает возможность изучения в ее рамках роли социальных установок и психологических побуждений акторов демократических преобразований на каждом из четырех этапов.

Особо следует отметить, что Д. Растоу — это исследователь, который пытается максимально широко и комплексно осмыслить феномен демократии, не отдавая предпочтение ни одной из узких (минимальных) его интерпретаций. Иллюстрацией этому служит его осторожное, но проникновенное надеждой замечание: «Найти содержательное определение демократии, которое охватывало бы современные парламентские системы наряду со средневековыми лесными кантонами, античными городами-государствами (теми, где не было рабов и метеков) и некоторыми доколумбовыми племенами индейцев, может оказаться весьма сложно. Решение подобной задачи выходит за рамки настоящего исследования, и все же мне не хотелось бы исключать возможность такого рода попытки»¹⁹.

Итак, Д. Растоу удалось создать самую общую и очень перспективную рамку для исследования процесса демократизации, которая принимается как один из базовых элементов теоретико-методологической основы диссертации. В конце 1970-х накопленные научные знания и эмпирический материал позволили предпринять первые попытки классификации процессов транзита. Одну из наиболее известных классификаций создал американский классик политической науки Х. Линц.

Он выделил два вида демократизации:

- реформа (правящая элита инициирует установление народовластия);
- руптура (оппозиция свергает авторитарную элиту и начинает демократизацию²⁰).

Позднее эту структуру уточнили и дополнили американские политологи Д. Шер и С. Мейнуэринг:

- урегулирование (то же, что реформа у Х. Линца);
- слом/крушение (то же, что руптура у Х. Линца);
- выход из кризиса (достижение компромисса между правящей элитой и оппозицией и совместные действия в деле демократических преобразований²¹).

Эти классификации открыли путь к более детальным научным исследованиям конкретных механизмов демократического перехода на определенных этапах развития политической системы. И работы такого рода не заставили себя ждать.

В 1980-е гг. одним из наиболее известных подобных исследований стал труд известных американских исследователей политических процессов Г. О'Доннелла и Ф. Шмиттера «Транзиты от авторитарного правления: предварительные выводы о неопределенных демократиях», в которой была проанализирована особая роль элит в процессе демократизации. Новацией авторов стало положение о том, что успешный переход к народовластью предполагает соглашение между центристами сменяемого режима и умеренными оппозиционерами-демократами. Такой пакт позволяет избежать социальных конфликтов и избавляет политическую систему от революционных потрясений²².

Несколько позже Г. О'Доннелл предложил собственную созданную на богатом эмпирическом материале Аргентины и других стран Латинской Америки модель политического перехода, названную делегативной демократией²³. По терминологии В. Меркеля и А. Круассана делегативная демократия относится к разряду «дефектных демократий». По их мнению, дефектная демократия может рассматриваться «как система господства, в которой доступ к власти регулируется посредством значимого и действенного универсального «выборного режима» (свободных, тайных, равных и всеобщих выборов), но при этом отсутствуют прочные гарантии базовых политических и гражданских прав и свобод, а горизонтальный властный контроль и эффективность демократически легитимной власти серьезно ограничены»²⁴.

Следующая веха развития транзитологии связана с исследованием, в котором уже упомянутый С. Хантингтон комплексно обобщил опыт демократических преобразований 1970–1980-х гг. и сформулировал концепцию «волн демократизации». Суть последней сводится к выделению в истории современного демократического процесса волн и откатов — циклов роста и снижения количества и качества попыток установления и/или поддержки демократии. Вот эти последовательности:

– первая, длинная волна демократизации (установление демократии в США, Швейцарии, Франции, Великобритании, Италии, Аргентине, британских доминионах и некоторых других странах в 1828–1926 гг.);

– первый откат (падение демократии в Греции, Германии, Португалии, Уругвае, Испании, Аргентине, Бразилии и других странах в 1922–1942 гг.);

– вторая, короткая волна демократизации (введение демократических институтов в Германии, Австрии, Японии, Корее, Турции, Греции, Уругвае, Перу, Венесуэле, Аргентине, Бразилии и других странах в 1943–1962 гг.);

– второй откат (победа авторитаризма и военных режимов в Перу, Бразилии, Эквадоре, Аргентине, Чили, Уругвае, Пакистане, Южной Корее, Индонезии, Филиппинах, Турции, Нигерии и других странах в 1958–1975 гг.)

– третья волна демократизации (демократический прилив в Греции, Португалии, Испании, Эквадоре, Перу, Боливии, Уругвае, Бразилии, Гондурасе, Гватемале, Индии, Филиппинах, Южной Корее, Тайване, Нигерии, ЮАР, Пакистане, Венгрии, Восточной Германии, Польше, Чехословакии, СССР и в других странах начиная с 1974 г.²⁵).

По замыслу самого С. Хантингтона, в рамках его концепции реализуются три вида процесса демократизации:

– трансформация (в Испании, Бразилии, Венгрии, СССР: «стоящая у власти при авторитарном режиме верхушка берет на себя инициативу и играет решающую роль в уничтожении этого режима, превращении его в демократическую систему»)²⁶;

– замена (в Аргентине, Восточной Германии, Греции, Португалии, Румынии, на Филиппинах: «оппозиция набирает силу, а правительство теряет ее до тех пор, пока не рухнет или не будет свергнуто. Бывшие оппозиционеры приходят к власти, и тогда конфликт нередко вступает в новую фазу: в новом правительстве различные группы борются между собой из-за характера режима, который они должны установить»²⁷);

– замещение (в Польше, Чехословакии, Уругвае, Южной Корее: «демократизация осуществляется в ходе совместных действий правительства и оппозиции»²⁸).

Вместе с тем, С. Хантингтон отмечает, что нет универсальных и единых объясняющих и необходимых факторов развития демократии, а сам процесс демократизации «есть результат комбинации причин», при этом комбинации различаются в каждом отдельном случае²⁹. Нелинейное видение процесса демократизации обогатило теорию перехода к демократии и позволило сделать ее более совместимой с политической практикой последующих лет.

В дальнейшем внимание исследователей демократизации вновь привлекли параметры экономического развития. В этом направлении в конце 1990-х — начале 2000-х гг. были опубликованы ряд работ американских исследователей А. Пшеворского совместно с Х. Чейбабом, М. Альварезом, Ф. Лимонджи, а также К. Бойкса, С. Стоукс.

А. Пшеворский и его коллеги провели анализ масштабной выборки синхронных эмпирических данных по 135 странам в период с 1950-е по 1990-е гг. Авторы по-новому подошли к проблеме корреляции демократии и экономического развития, несколько изменив основную посылку С. Липсета и выделив два способа демократизации: 1) «эндогенный», при котором экономическое развитие линейно ведет к демократии; 2) «экзогенный», где экономическое развитие поддерживает уже утвержденное народовластие. В результате сравнительного исследования был сделан вывод о том, что верна экзогенная версия, а эндогенная ошибочна. Другими словами, экономическое развитие способствует функционированию демократического режима и вступает в существенной мере определяющим фактором поддержки демократии³⁰. Был выявлен и размер ВВП на душу населения, при котором демократия сохраняет устойчивость, — порядка 6000 долларов США.

Хотя авторы и собрали внушительный массив данных, однако они не уделили много места подробностям и теоретическим обоснованиям того, как действует механизм поддержки демократии в экзогенной версии. Кроме того, вызывает вопрос и однозначное отрицание значения эндогенной вер-

сии, т.к. применяемый расчетный коэффициент все-таки указывает на пусть и меньшее в сравнении с экзогенной версией, но статистически значимое влияние фактора экономического развития в период перехода к демократии.

Отмеченные проблемы сразу же вызвали критическую реакцию у других исследователей. Американские политологи-компаративисты К. Бойкс и С. Стоукс провели собственное исследование, в котором в целях получения более достоверного результата сдвинули нижнюю границу до 1850 г., когда рассматриваемые страны не были демократическими. Верхней границей стал 1950-й г. Сопоставив полученные данные и результаты А. Пшеворского и его соавторов, они пришли к выводу, что эндогенная версия демократизации все же работает на протяжении значительного периода — как до 1950 г., так и после.

Несомненной заслугой К. Бойкс и С. Стоукс стало теоретическое объяснение механизма конвертации экономического развития в демократию, в котором главную роль играет неравенство доходов: «причина демократии есть не сам по себе доход, но связанные с ним дополнительные обстоятельства, в частности, неравенство доходов»³¹.

К. Бойкс и С. Стоукс полагают, что в «процессе развития государств доходы распределяются с большей справедливостью, что приводит к поддержке схемы равного распределения доходов на выборах и снижению издержек для богатых, которые начинают рассматривать демократическую налоговую систему как менее затратную, вследствие чего благосостояние государства растет, а богатые с большей охотой способствуют демократизации»³².

В другой, монографической, работе К. Бойкс охватывает максимально широкий спектр различных последствий перехода к демократии: от распространения народовластия до установления коммунистических или левых диктатур³³. Интересно отметить, что в этой книге анализируется относительно новая проблема перехода к демократии стран, экспортирующих нефть. Согласно классической теории, уровень экономического развития таких стран обязывает их быть демократическими, однако на практике они таковыми не являются. К. Бойкс предполагает, что это объясняется спецификой основных экономических активов и отношением к ним элит³⁴. Так, если активы мобильны, как в развитых странах, то их сложно обложить повышенным налогом или изъять, соответственно, элиты не ощущают страха потери. Напротив, если активы не мобильны (нефть, газ, другие минеральные ресурсы), их проще перераспределить. Именно высокий риск более справедливого перераспределения и страх утраты контроля над экономическими ресурсами заставляют элиты препятствовать установлению демократии.

В целом К. Бойкс, А. Пшеворский и их коллеги довольно убедительно обновили наследие С. Липсета. Вместе с тем, ряд важных проблем остались нерешенными. Во-первых, К. Бойкс и С. Стоукс использовали иные процедуры обработки данных, нежели А. Пшеворский с коллегами, что значительно затрудняет формулирование и обоснование общих выводов по их исследованиям. Во-вторых, оба коллектива ученых имплицитно допускают,

что потребность в демократии у граждан возникает автоматически, при достижении определенного показателя ВВП, однако сам К. Бойкс на примере стран-экспортеров нефти опровергает эту сомнительную посылку. Наконец, в-третьих (самое главное), все эти исследователи рассматривают демократию в узком фокусе — как совокупность электоральных процедур, интерпретируемых в шумпетерианском духе как соревновательная борьба элит. Действия элит по организации честного избирательного процесса, действительно, важны для демократии, но отнюдь не достаточны. Не меньшее значение имеют ценности (включая политические права и свободы), во имя которых совершаются преобразования, и политические ориентации рядовых граждан, участвующих в демократизации.

В направлении изучения политической культуры наиболее значительными стали работы американско-германских политологов Р. Инглхарта и К. Вельцеля, в которых исследуется роль рядовых граждан в процессе демократизации с целью объяснения, как эти граждане воспринимают демократические ценности и установки, а также для выявления механизма превращения данных устремлений в реальную демократию.

Ученые исходят из установки, что «существенное воздействие модернизации состоит не в том, что демократия становится приемлемой для элит, а в том, что умножаются способности и желание рядовых людей сражаться за демократические институты»³⁵.

Они предполагают, что на постиндустриальном этапе развития вследствие роста социально-экономического развития, повышения уровня образованности, дифференциации рынка труда и профессий происходит усложнение структуры общества, в котором появляется все больше творческих, свободно мыслящих и независимых от власти индивидов: «Повышение уровня образования, расширение потребностей в получении информации и распространении знаний с помощью СМИ помогают людям мыслить более независимо, сокращая ограничения для свободного выбора»³⁶.

Соответственно, при росте общего числа таких индивидов увеличивается запрос на осуществление гражданских прав и свобод. Так, по мнению Вельцеля, «человек не может быть свободен без гражданских и политических прав»³⁷.

Появление все большего количества информированных и независимо мыслящих граждан, формирование их объединений ставит под вопрос легитимность авторитарных режимов, которые ограничивают политические права и свободы граждан. В таких условиях существование авторитаризма становится неприемлемым по двум, как минимум, причинам: во-первых, «эффективный менеджмент становится более дорогостоящим и ограничивающим институциональные выборы элит»³⁸, и, во-вторых, «как правило, авторитарные элиты имеют достаточно власти для подавления гражданских требований, пока они контролируют войска и готовы применить силу. Однако ресурсы, которые становятся гражданским капиталом, и решимость, с какой граждане направляют их на борьбу за

свободу, могут нивелировать силу принуждения со стороны авторитарных режимов»³⁹.

Таким образом, Р. Инглхарт и К. Вельцель рисуют механизм возникновения под влиянием модернизации демократических установок на микроуровне, которые посредством реализации запроса на политические права и свободу трансформируются в институты демократии на макроуровне. Это положение восходит к методологической традиции Макса Вебера, считавшего, что идеи — это не следствия, а причины перемен, в данном случае демократических.

Еще один интересный взгляд на процесс политической трансформации предлагает Л. Даймонд — американский исследователь демократии. Опровергая тезис о неподготовленности отдельных сообществ к политической модернизации, он утверждает: «Заявления о том, что демократия не подходит для этих (не западных. — Прим. авт.) культур потому, что их предшественники не ценят демократию так, как ее ценят люди Запада, оказались безосновательными как на практике, так и по результатам многочисленных опросов общественного мнения, показывающих, что желание демократии распространено по всему миру. Несмотря на большой разброс по странам и регионам уровня доверия к партиям и политикам, фактически люди везде говорят, что они предпочитают демократию авторитаризму. Люди хотят не возвращения диктатуры, а совершенствования демократии»⁴⁰.

В доказательство Л. Даймонд приводит данные 5 циклов опроса «Афробарометр», сделанного в 2008 г. Более 70% граждан 19 африканских стран посчитали демократию лучшей формой правления и высказались в ее поддержку, хотя только 49% были удовлетворены тем, как она работает в их стране. Схожие итоги показали и опросы «Арабский барометр»: 80% жителей большинства арабских стран посчитали демократию одной из лучших форм правления, даже если демократия будет связана с либерализмом и секуляризмом.

Эти и другие данные позволили сделать вывод о том, что «не существует иных предпосылок демократии, кроме желания национальных элит начать править демократически»⁴¹. Такая формулировка представляет собой радикальную версию идей Х. Линца, С. Хантингтона о роли элит в разных процессах демократизации (рупура, замена и др.). Она подтверждается и общественно-исторической практикой всех стабильных консолидированных современных полиархий: Великобритании, Германии, США, Швейцарии и др., где установление народовластия происходило зачастую вопреки актуальным формам общественного сознания и традиционным политическим институтам.

В завершение параграфа необходимо упомянуть о проблеме неудавшейся демократизации на пространствах Восточной Европы и Евразии (ядро и центр которого — страны СНГ) как части теории демократического перехода. Более подробно попытка транзита стран СНГ к демократии будет проанализирована во второй главе. Здесь стоит сделать лишь анонс научных подходов и взглядов.

Процессы, происходящие в СНГ, особенны по нескольким причинам. Во-первых, из-за уже отмеченного провала демократизации. Во-вторых, в силу наличия ряда специфик, среди которых: противоречивость, работа различных механизмов и разнонаправленность. Так, Майкл Макфол считает, что в ходе третьей волны демократизации наиболее востребованным и оптимальным стал консенсус между элитами как способ установления народовластия (процесс «замещения» в терминах С. Хантингтона), и в этом ее отличие от четвертой волны на посткоммунистическом пространстве, которая отмечена преимущественным использованием силового разрешения противоречий⁴² (процесс «замены» в терминах С. Хантингтона). Среди других особенностей российский политолог А. Мельвиль называет «необходимость одновременного преобразования политической и экономической сфер, а нередко — и обретения национально-государственной идентичности, всплеск этнонационализма, отсутствие либо аморфность гражданского общества и т. д.»⁴³.

Вместе с тем, есть характеристика, которая объединяет страны СНГ с другими государствами разных континентов, оказавшимися в «серой зоне» (пространство недемократических режимов) — это слишком незначительный период функционирования демократических институтов (не более 20 лет) в новейшую историю. За такой отрезок времени вряд ли возможно, чтобы ценности демократии получили широкую поддержку среди большинства населения, а демократические процедуры стали наиболее оптимальным способом нахождения компромисса и принятия политических решений консервативными и либеральными элитами.

Отмеченные и некоторые другие факторы обусловили результат перехода в странах СНГ — формирование авторитарных и «гибридных режимов»⁴⁴. К примеру, российский политический режим, по мнению российского политолога Владимира Гельмана, в настоящее время находится на стадии «недемократической консолидации», проводимой путем «свободных, но несправедливых выборов»⁴⁵.

Своеобразие восточноевропейского и евразийского раздела транзитологии иллюстрируют и результаты исследования американского политолога Джордана Ганс-Морса. Он изучил более 130 научных статей, посвященных трансформации политических режимов в Восточной Европе (включая СНГ) и опубликованных в период с 1991 по 2003 г. Согласно его данным, транзитологические методы обсуждаются только в 66 статьях, что составляет чуть менее 50% от общей выборки. При этом «значительное число ученых, которые явно обсуждают транзитологию, вовсе не собираются применять ее на практике, но скорее дают понять, что они находят транзитологический подход неприменимым или недостаточным для анализа основных проблем посткоммунизма»⁴⁶. Из всего массива только в семи статьях используется или обосновывается транзитологический подход. Исходя из этого, автор заключает, что «некоторые критики однозначно рассматривают транзитологию как литературу, появившуюся вследствие

исследования демократизирующихся режимов в Южной Европе и Латинской Америке... Другие же исследователи полагают, что транзитология... представляет собой не специфическую литературу, а скорее подход к изучению политических, экономических и социальных изменений, которые концептуализируют данные процессы как «переход» с заранее известными результатами»⁴⁷.

Таким образом, на сегодняшний день уже очевидно, что трансформационные процессы (из тоталитаризма в различные формы авторитаризма и «гибридные режимы») в бывших коммунистических странах, входящих или группирующихся вокруг СНГ, представляют собой отдельный кластер, как оказалось, имеющий не так много общего, с демократическим транзитом в группах государств Южной Европы и Латинской Америки, также вступивших на путь народовластия в период третьей волны.

Уход в авторитаризм и некоторые формы «гибридных режимов» вышеописанного кластера государства стало одним из поводов для некоторых авторов объявить о закате транзитологии⁴⁸. Однако представляется, что неуспех моделей демократизации, основанных на латиноамериканском, западно- и южноевропейском опыте может демонстрировать или их несовместимость с политической практикой ряда стран евразийского ядра (СНГ), или неправильный способ их применения в СНГ. Он однозначно показывает неприемлемость телеологизма и линейности, но не свидетельствует о крахе теории и методологии перехода в целом. Кроме того, провал демократических преобразований отнюдь не доказывает невозможность успешного установления демократии в рассматриваемой группе государств. Напротив, он может указывать на значительные резервы в сфере исследований причин и следствий неуспеха демократизации стран СНГ, среди которых ключевое место занимает Россия как страна-экспортер минеральных ресурсов. Еще одной захватывающей перспективой становится выявление истинных экономических, политико-культурных, исторических предпосылок, посылок, условий приближения к демократическим идеалам в СНГ, разработка перспективных методик установления демократии, свойственной именно социально-политическим системам евразийского ядра. Есть и ряд других направлений.

Как отмечает американский политолог Р. Бова, необходимо учитывать многообразие процессов демократических преобразований и внимательно относиться к общему и различному в ходе режимной трансформации на посткоммунистическом пространстве и за его пределами⁴⁹, придавая значение экономическому развитию, характеру национальной политической культуры, степени национальной интеграции и особенностям классовой структуры страны⁵⁰.

Итак, завершая аналитическое рассмотрение, можно сделать следующие основные выводы. В более чем полувековом периоде истории теории перехода к демократии выделяются четыре этапа развития, каждый из которых имеет свои особенности:

– первый (конец 1950-х — начало 1960-е гг.) — время первых теоретических изысканий и формирования таких основных элементов транзитологии, как изучение фактора социально-экономического развития (С. Липсет, У. Ростоу) и роли политико-культурных предпосылок (Г. Алмонд и С. Верба) в процессе установления демократия;

– второй (1970-е гг.) — оформление и развитие транзитологии в связи с созданием «динамической модели» (Д. Растоу);

– третий (конец 1970-х гг. — 1990-е гг.) — расширение и углубление теории демократического перехода; детализированные исследования практического опыта и обобщающие теоретические работы периода «третьей волны демократизации» в Южной, Центральной, Восточной Европе, Латинской Америке (Х. Линц, Г. О’Доннел, С. Хантингтон, Ф. Шмиттер и др.).

– четвертый (с конца 1990-х гг. по настоящее время) — критическое переосмысление теории демократического перехода в связи с неудачей моделей демократизации в значительном числе стран; обновление теоретического наследия и продолжение научного поиска (Т. Ванханен, К. Бойкс, Р. Инглхарт, Л. Даймонд, А. Пшеворский и др.).

Суммируя результаты транзитологических исследований, можно утверждать, что появление конкретной демократии (или, точнее, полиархии) происходит (порой случайно) вследствие комбинации ряда различных факторов путем трансформации, замены или замещения (в терминах С. Хантингтона). При этом основное значение имеют параметры экономического и/или политико-культурного развития, а также характер действия политических элит.

Попытки осмысления многочисленных эмпирических данных и формирования наиболее общей предписывающей и описывающей теории процессов, связанных с установлением демократии, наталкиваются на ряд значительных проблем: выработка адекватного современного видения политической модернизации взамен линейного и западочентричного подхода, нахождение оптимального баланса между экономическим и политико-культурным видами развития как основными предпосылками демократизации; обоснование релевантной процедуры обработки переменных для оценки практических результатов и параметров движения к демократии, а также для формулирования прогнозов; создание аналитического описания причин и факторов, под влиянием которых политические режимы прервали или исказили процесс и содержание демократических реформ, с выявлением социально-политических последствий и предложением сценарных планов дальнейшего развития таких режимов; ряд других.

В целом теория демократического перехода дает релевантную общую теоретическую рамку — модель «динамического перехода», при помощи которой можно комплексно анализировать предпосылки, послышки, условия, характер и сущность сложного, нелинейного процесса установления демократии с учетом характера решений и действий главных акторов демократизации, социальных, экономических, политико-культурных, исторических, географических и других факторов.

- ¹ *Lipset S.M.* 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // *American Political Science Review*. 53 (March). P. 75.
- ² *Wucherpfennig J., Deutsch F.* Modernization and Democracy: Theories and Evidence Revisited. *Living Reviews in Democracy*. Vol. 1. 2009 // www.livingreviews.org/lrd-2009-4.
- ³ *Lipset S. M.* Political Man. The Social Bases of Politics. N-Y., 1960. P. 41.
- ⁴ См.: *Lipset S.M.* 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // *American Political Science Review*. 53 (March). P. 84.
- ⁵ См.: *Kitschelt H.P.* Accounting for Postcommunist Regime Diversity: What Counts as a Good Cause? // *Legacies of Communism* / Eds. Grzegorz Ekiert and Stephen Hanson. Cambridge, 2003. P. 49–86.
- ⁶ *Ростов У.У.* Политика и подъем роста. М., 1973. С. 149–150.
- ⁷ Например, по данным Американского бюро переписи населения, в 1800 г. в сельской местности проживало 94% американцев. См. US Census Bureau. *Census of Population and Housing* // www.census.gov/prod/www/decennial.html.
- ⁸ Разумеется, эти фермеры Старого и Нового Света имели определенный уровень дохода, что соответствует концепции экономического роста.
- ⁹ *Алмонд Г., Верба С.* Гражданская культура. Подход к изучению политической культуры // *Полития*. 2010. № 2. С. 124.
- ¹⁰ *Алмонд Г., Верба С.* Гражданская культура. Подход к изучению политической культуры // *Полития*. 2010. № 2. С. 125.
- ¹¹ *Алмонд Г., Верба С.* Гражданская культура. Подход к изучению политической культуры // *Полития*. 2010. № 2. С. 126.
- ¹² Цит. по: *Wucherpfennig J., Deutsch F.* Modernization and Democracy: Theories and Evidence Revisited. *Living Reviews in Democracy*. Vol. 1. 2009 // www.livingreviews.org/lrd-2009-4.
- ¹³ См.: *Moore B.Jr.* Social Origins of Dictatorship and Democracy. N.-Y., 1966.
- ¹⁴ *Huntington S.* Political order in changing societies. New Haven; London, 1996. P. 7–8.
- ¹⁵ См.: *Apter D.* The Politics of Modernization. Chicago, 1965.
- ¹⁶ *Ростов Д.А.* Переходы к демократии: попытка динамической модели // *Политология: хрестоматия* / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. М., 2000. С. 659.
- ¹⁷ *Ростов Д.А.* Переходы к демократии: попытка динамической модели // *Политология: хрестоматия* / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. М., 2000. С. 659–670.
- ¹⁸ *Ростов Д.А.* Переходы к демократии: попытка динамической модели // *Политология: хрестоматия* / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. М., 2000. С. 656.
- ¹⁹ *Ростов Д.А.* Переходы к демократии: попытка динамической модели // *Политология: хрестоматия* / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. М., 2000. С. 661.
- ²⁰ *Linz J.* Crisis, Breakdown, and Reequilibration // *The Breakdown of Democratic Regimes* / Ed. By J.J. Linz, A. Stepan. Baltimore, 1978. P. 35.
- ²¹ См. *Share D., Mainwaring S.* Transition Through Transaction: Democratization in Brasil and Spain // *Political Liberalization in Brasil: Dynamics, Dilemmas, and Future Prospects* / Ed. by W.A. Selcher. Boulder, Colo, 1986. P. 177–179.
- ²² См. *O'Donnell G., Schmitter P.* Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore, 1986.
- ²³ См. *О'Доннелл Г.* Делегативная демократия // old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem01.htm.
- ²⁴ *Меркель В., Круассан А.* Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // *Полис*. 2002. № 1. С. 7.
- ²⁵ *Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. С. 26.
- ²⁶ *Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. С. 136.
- ²⁷ *Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. С. 156.
- ²⁸ *Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. С. 165.
- ²⁹ *Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. С. 49.
- ³⁰ *Przeworski A., Alvarez M., Cheibub J. and Limongi F.* Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. Cambridge, 2000. P. 109.
- ³¹ См.: *Boix Carles, Susan Stokes.* Endogenous Democratization // *World Politics*. 55. 2003. P. 540.
- ³² *Boix Carles, Susan Stokes.* Endogenous Democratization // *World Politics*. 55. 2003. P. 539–540.
- ³³ *Boix Carles.* Democracy and Redistribution. Cambridge, 2003. P. 2–3.

³⁴ *Boix Carles*. Democracy and Redistribution. Cambridge, 2003. P. 2–3.

³⁵ *Welzel Christian, Ronald Inglehart*. The Role of Ordinary People in Democratization // Journal of Democracy. 2008. 19 (1). P. 136.

³⁶ *Inglehart R., Welzel Ch.* Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge, 2005. P. 29.

³⁷ *Welzel C.* Democratization as an Emancipative Process: The Neglected Role of Mass Motivations // European Journal of Political Research. 2006. 45. P. 875.

³⁸ *Welzel C.* Democratization as an Emancipative Process: The Neglected Role of Mass Motivations // European Journal of Political Research. 2006. 45. P. 888.

³⁹ *Inglehart R., Welzel Ch.* Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge, 2005. P. 218.

⁴⁰ *Даймонд Л.* Нужно ли откладывать демократию на потом? // gelter.ru/archive/8286.

⁴¹ Цит. по: *Мельвиль А.Ю.* Задержавшиеся или несостоявшиеся демократизации: почему и как? // www.politstudies.ru/fulltext/2010/4/6.pdf; см. также: *Даймонд Л.* Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1. С. 5–13.

⁴² См. *McFaul M.* The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in the Postcommunist World // World Politics. 2002. Vol. 54. P. 212–244.

⁴³ См.: *Мельвиль А.Ю.* Демократические транзиты // Политология: Лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. М., 2007. С. 123–134.

⁴⁴ См.: *Diamond L.* Thinking about Hybrid Regimes // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13. № 2. P. 21–36.

⁴⁵ См.: *Гельман В.Я.* Эволюция электоральной политики в России: на пути к недемократической консолидации? // Вестник Института Кеннана в России. М., 2008. Вып. 13. С. 8. Также см. в кн.: Третий электоральный цикл в России, 2003–2004 годы / Отв. ред.: В.Я. Гельман. СПб., 2007. Вып. 14. С. 17–38.

⁴⁶ *Gans-Morse J.* Searching for Transitologists: Contemporary Theories of Post-Communist Transitions and the Myth of a Dominant Paradigm // Post-Soviet Affairs. 2004. Vol. 20. № 4. P. 328.

⁴⁷ *Gans-Morse J.* Searching for Transitologists: Contemporary Theories of Post-Communist Transitions and the Myth of a Dominant Paradigm // Post-Soviet Affairs. 2004. Vol. 20. № 4. P. 322.

⁴⁸ См.: *Карозерс Т.* Конец парадигмы транзита // Политическая наука. 2003. № 2. С. 42–65.

⁴⁹ *Bova R.* Political Dynamics of the Post-Communist Transition: A Comparative Perspective // World Politics. 1991. Vol. 44. P. 117.

⁵⁰ *Bova R.* Political Dynamics of the Post-Communist Transition: A Comparative Perspective // World Politics. 1991. Vol. 44. P. 126–127.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЛАСАНИЯ Кира Юрьевна	кандидат политических наук, доцент кафедры философии политики и права философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
АФНАСЬЕВ Валерий Владимирович	доктор политических наук
БЕЛОЗЁРОВ Василий Клавдиевич	доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Московского государственного лингвистического университета
БОЙЦОВА Ольга Юрьевна	доктор политических наук, профессор, зам. зав. кафедрой философии политики и права философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
ВАСЛАВСКИЙ Ян Ильич	кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории факультета политологии МГИМО МИД России
ГОБОЗОВ Иван Аршакович	доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
КИЙЧЕНКО Кирилл Игоревич	научный сотрудник кафедры философии политики и права философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
МОЩЕЛКОВ Евгений Николаевич	доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой философии политики и права философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
МУХАРЯМОВ Наиль Мидхатович	доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политологии и права Казанского государственного энергетического университета
МЧЕДЛОВА Мария Мирановна	доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, главный научный сотрудник Института социологии РАН
МЮРБЕРГ Ирина Игоревна	доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Сектора истории политической философии Института философии РАН

НИКАНДРОВ Алексей Всеволодович	кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры философии политики и права философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
РАСТОРГУЕВ Валерий Николаевич	доктор философских наук, профессор кафедры философии политики и права философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
СМОРГУНОВ Леонид Владимирович	доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политической управления факультета политологии СПбГУ
СЫТИН Андрей Георгиевич	кандидат философских наук, доцент кафедры философии политики и права философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
УСМАНОВ Рафик Хамматович	доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политологии и международных отношений Астраханского государственного университета
ФИЛИПЕНКО Евгений Валерьевич	аспирант кафедры философии политики и права философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
ШАМШУРИН Виктор Иванович	доктор социологических наук, профессор кафедры философии политики и права философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
ЯКОВЛЕВ Максим Владимирович	кандидат политических наук, докторант кафедры философии политики и права философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова